

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

**ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА**

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

П. В. Басинский (Москва)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Кристина Кармалита

редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Ю. С. Лаврова

Верстка: О. Н. Вялкова

**10/2018**

## Содержание

### ПРОЗА

- Александр ВЕГНЕР. Трудармия.** Повесть. .... 3  
**Евгений ЛАВАНОВ. В поезде времени.** Рассказы. .... 62

#### *Новые имена*

- Мария СТАРОДУБЦЕВА. Остров преткновения.** Рассказ. ....77  
**Юрий ФОФИН. Проснешься ночью...** Рассказ. ....95  
**Ирина ИВАСЬКОВА. Время красных птиц.** Рассказ. .... 103

### ПОЭЗИЯ

- Иван ПЕРЕВЕРЗИН. «Не зря замолкли соловьи...»** Стихи. .... 53  
**Евгений ЧЕМЯКИН. Ласточка на балконе.** Стихи. .... 60  
**Виктор КОВРИЖНЫХ. «За горьким хлебом в холода...»** Стихи. ....74

#### *Новые имена*

- «Я патриот придуманных миров...»** Михаил РАНТОВИЧ,  
Никита НОЯНОВ, Ирина ЧЕТВЕРГОВА, Павел КУРАВСКИЙ,  
Олеся ШМАКОВИЧ. Стихи. .... 108

### ДРАМАТУРГИЯ

- Кристина ГОРТМАН. Угольная пыль.** Пьеса. .... 114

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Анатолий ГЛАЗОВ. Чайки над свалкой.**  
*Чешские записки украинского батрака. Продолжение.* .... 157

#### *Книжная полка*

- Валентин СТРАХОВ. «Зеленое море тайги» и его лоцманы.** .... 186

#### *Картинная галерея «Сибирских огней»*

- Александр КЛУШИН. Искусство портрета Николая Смолина.** .... 188

- Авторы номера* ..... 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Александр ВЕГНЕР

## ТРУДАРМИЯ

П о в е с т ь

### Повестка

Ревел ветер, мел по двору пыль.

«С-с-с-с» — швырял ее в дверь землянки.

«У-у-ю-у» — выло в трубе.

В щель под дверью и в крохотное оконце уже начал пробиваться белесый свет.

Зябко. Мария встала, поеживаясь. Зубы тут же застучали друг о дружку. А что будет зимой, когда ударят морозы за сорок!

— Мария! С днем рождения! — шепотом сказали мать с отцом, оглядываясь на еще спящую восьмидесятилетнюю бабушку. — Желаем тебе, чтобы сбылось все-все, чего ты хочешь.

— Чтобы война закончилась и Андрей вернулся, — ответила Мария.

— И чтобы мы вернулись домой. — Мать подошла и обняла ее.

Отец расчувствовался, глаза увлажнились, он взял руку дочери и долго тряс.

Мария Гейне — тоненькая, невысокая черноволосая девушка с большими темно-кариими глазами. Сегодня ей исполнилось девятнадцать лет.

Быстро натянув на себя фуфайку, она вышла из землянки — вверх по земляным ступеням — в мир божий. Там низкое октябрьское небо. Ветер рвет то с запада, то с севера. Такой холод, что не только дождь может пойти, но и снег. Набрал с десятков поленьев из поленицы, Мария понесла их в землянку.

Мать с отцом тоже вышли и пошли в пригон Евдокии Рошупкиной — их бывшей хозяйки, у которой они провели зиму сорок первого — сорок второго годов. Там их корова, ее надо подоить и отогнать в стадо.

Землянку они построили весной из пластов дерна, а пригон так не построишь. Спасибо Евдокии: сама им предложила оставить корову у нее. Две коровы — курам теплее.

Бабушка тоже проснулась и приподнялась на кровати. Ей целый день сидеть одной. Ну, может, Катрине-вейс<sup>1</sup> Бахман из соседней землянки заглянет.

---

<sup>1</sup> Вейс — у немцев Поволжья почтительное обращение к пожилым женщинам.



Мария пойдет на ток молотить зерно, а мать с отцом в кошару — управляться с овцами, которых еще три дня назад выгоняли на пастбище, хотя они там давно выгрызли из земли не то что траву — даже ее корни.

Печь загудела, Мария поставила чайник.

Как хорошо, что они построили землянку! Все-таки сами себе хозяйева, и можно делать что хочешь! В начале осени отец раздобыл немного керосина и зажег керосиновую лампу, привезенную с Волги. Вышел из землянки во двор, посмотрел и вернулся очень довольный:

— Как в Саратове!

Сейчас лампу не зажигают: экономят керосин для особых случаев. Вечером темнеет рано, если надо — жгут лучинки, а чаще всего просто пораньше ложатся спать.

От плиты растекалось тепло. Мария вышла за новой охаккой дров. Глядь, а через двор идет отец: на плече веревка, другой конец накинут на рога корове, словно бурлак тащит баржу по Волге. Ну, не баржу, а лодку — какая из их коровы баржа. Следом мать — подгоняет животное прутиком.

— Что случилось? Тетя Дуся выгнала? — Мария испугалась, побежала навстречу.

— Да нет. У нее Стюрка Шашкова сидит. Так плачет, бедная! До этого знала только, что муж пропал без вести. А вчера пришло письмо от его друга. Пишет, что своими глазами видел, как ее муж погиб. Стюрка так убивается... Меня заметила — так страшно закричала! «Проклятые немцы!» Только я не поняла за что...

— На вас, что ли?

— Наверно. Дуся говорит: «Берите свою корову, у себя подоите».

Мать концом платка смахнула слезу. Отец искал, к чему бы привязать животное. А кроме трубы нигде ничего не торчит. Передал веревку дочери — Мария заметила, что руки у него дрожат. Вернулся из землянки с топором, быстро заострил полено и вбил в землю.

А ветер беснуется!

Мать села доить. Мария наконец набрала дров, напихала полную печь, прикрыла поддувало — теперь бабушке до обеда будет тепло.

Мать принесла в подойнике всего литра три молока. Коровам тоже голодно: трава после заморозков высохла, загубела, порыжела. Но пастух пока выгоняет стадо — председатель сказал пасти до снега. А что делать? Сена в колхозе дали совсем мало, тяни до весны как хочешь. Соломы, может, еще дадут... А может, и не дадут.

Мать смотрит отрешенно. Говорит сама себе:

— Как теперь Стюрке? У нее четверо детей.

Говорит она по-немецки. «Стюрка» у нее получается смешно. Мария и не хотела, а улыбнулась. Она и сама долго считала, что женщину так дразнят, а оказалось, местные уменьшают так имя Анастасия.

Мать вдруг заплакала:

— И от нашего Андрея больше года ни слуху ни духу...

— Ему просто не сообщили, где мы. Он живой, я чувствую! Только не знает, куда написать.

— У тебя вода кипит. Свари яичко, может, бабушка поест.

Яйцо вчера дала тетя Дуся — специально для бабушки. Бабушка елe живая. Хочет есть, а не может. От одного вида еды ей плохо:

— Не могу, не идет...

Взгляд у нее стал необычный. Не наружу, а внутрь себя смотрит и прислушивается к чему-то, что в ней происходит.

— Мама, — говорит ей мать, — мы вам яйцо сварили. Может, покушаете?

— Яйцо? — переспрашивает бабушка. — Нет, сейчас не хочу... Может, потом. Я еще полежу немножко. Холодно мне... — Она снова ложится.

Отец отогнал корову к тете Дусе, вернулся. Быстро позавтракали вчерашней картошкой и пошли на работу.

Сумрачно. Холодно. За оградой на току длинное гумно — деревянный сарай. Там стоит молотилка. Ворота уже открыты. Мальчишки едут с возом снопов. Один — Федька Гофман из их села, из Павловки — из Паульского по-немецки. А другой — местный, Петька Денисов. Федька и Петька за год подружились, стали не разлей вода. Да и как не подружиться: на одной лошади работают, одинаково голодают.

На Волге матери Федьки и Марии работали поварихами в одной бригаде. Но Мария по дому Федьку не помнит: жили далеко друг от друга, да и разница в возрасте большая.

Дом... Теперь для немцев это все, что связано с Волгой. И когда говорят: «Когда же домой?» — ясно, что спрашивают не о своем рубленом домике с летней кухней, сараем, дворовым погребом и амбаром, а о родном селе с речкой Караманом за огородами, с Волгой в трех верстах от него, о весенней степи, цветущей тюльпанами во все стороны до самого горизонта, и о другой степи — выжженной июльским пеклом, со стогами сена, пыльным запахом чабреца, свистом сусликов, кружащими в белесо-голубом небе степными орлами, о бахче за селом с полосатыми арбузами и мучнистыми дынями на сухой горячей земле. Дом — это место, где осталась душа. И попробуй кто сказать, что после войны они туда не вернутся! Надо только потерпеть... Тем и живы.

Комбайнер с МТС запустил свою молотилку.

Завтоком Платон Алексеевич поставил двух женщин из первой бригады подавать необмолоченную массу на приемный транспортер, а Марию — в одиночку, с огромными вилами — отбрасывать выползающую из молотилки солому.

Одна из подающих снопы, Катька Костюченко, сильно обидела Марию в прошлом году. В начале зимы тетя Дуся Рощупкина, у которой Гейне тогда квартировали, уехала на два дня по своим родственным делам, а когда вернулась, Катька ей рассказала, что, мол, только Дуся за дверь, «ее немцы» завесили окна одеялами, вытащили граммофон и давай веселиться и танцевать от радости, что фашисты наступают на Москву. И это вранье Катька растрепала по всему селу.

Тетя Дуся не поверила:

— Брешешь ты, Катька! Как всегда, брешешь! У меня дети дома оставались с этими немцами. Не веселились они и не танцевали, да и граммофона у них никакого нет.



— Ага, так они тебе его и показали!

— И где им танцевать? Когда их ко мне поселили, я к ним зашла, а их старенькая бабушка сидит и плачет. «Что, — спрашиваю, — бабушка, плачете?» А она отвечает: «Комната маненька. Вещи лежит, а мы сидит!» И правда: вещи на полу, а места только и осталось, чтобы на них сидеть... Не болтай языком, Катька, не наговаривай на людей! Им и без тебя тошно.

— А что ты их защищаешь? Немцы моего папку убили!..

— То другие немцы. А Мария твоего папку не убивала.

Но многие сельчане поверили Катьке.

В тот день, когда по радио объявили о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, народ собрался в клубе. Включили на всю мощь репродуктор, и из него зазвучал торжественный голос Левитана:

— ...перешли в решительное контрнаступление против ударных фланговых группировок врага. В результате обе эти группировки разбиты и спешно отступают, бросая технику, вооружение, неся огромные потери!

К Марии и ее родителям подбежал мальчишка, плачущий от счастья, и закричал им в лицо:

— Что — взяли Москву? Взяли?! Вот вам Москва! Вот! Вот!

Ах, как тогда было горько и обидно!..

Через длинный сарай тянуло сквозняком, но Марии стало жарко. Обмолоченная солома перла на нее из жерла молотилки, она сражалась с ней как могла: хватала вилами ворох за ворохом, откидывала в сторону, — но на их месте возникали новые, гораздо большие, лезли под ноги, наваливались на нее... В волосы и шаль впилась солома, одежда покрылась пылью. А Катька с подругой старались всюю!

Мимо шел Платон Алексеевич, в коричневом картузе, в фуфайке цвета осенней стерни. В картуз, в седые до белизны волосы тоже вцепилась солома.

— Платон! — позвал его комбайнер. — Людей не умеешь расставлять. Подают двое, а солому отбрасывает одна девчонка. Видишь, не успеваешь, замаялась уже! Поставь второго человека.

— А где я тебе его найду, второго? Нет у меня людей!

Платон Алексеевич — хороший человек. Всю жизнь был конюхом, в лошадях понимает хорошо, а когда все другие мужики ушли на фронт, стал заведующим током. Вот и приходилось ему теперь начальствовать над бабами.

— Тогда сам становись! — не унимался комбайнер.

— Без советчиков знаю, куда мне становиться, — пробурчал Платон Алексеевич в белые усы, сильно пожелтевшие по краям от курения трубки. — Ну-ка, дочка, дай вилы!

Хоть Платону Алексеевичу и под шестьдесят, а силы еще есть. Навильники у него побольше — не детские, как у Марии, — а какие следуют, но и он еле успевает. Убедился, что одного человека мало. Но не может же он целый день кидать солому! Он начальник, должен руководить. К счастью, опять Федька Гофман с Петькой Денисовым приехали — еще телегу пшеницы на обмолот привезли.

— Становись, Федька, с землячкой на солому! — сказал Платон Алексеевич. — А Петьке я своего внука дам в напарники.

Мария знает, что Генке, старшему внуку Платона Алексеевича, едва исполнилось двенадцать, в колхозе он не числится. Но кто на это смотрит сейчас, когда надо дать хлеб стране, а главное — воюющей армии, чтобы не голодала и побыстрее справилась с проклятыми фашистами!

Петька поехал за Генкой, а Федька остался с Марией. Вдвоем стало легче сражаться с соломой.

Федька с матерью не так давно в их колхозе. Им пришлось посолонее, чем Гейне. Со станции их привезли в колхоз «Прогресс» — это такая глушь, что и описать невозможно. И председатель там был злой пьяница. Изю всех сил старался не попасть на фронт. А это, по его понятиям, было возможно только через лютость к своим колхозникам: чтобы боялись его и работали с утра до ночи. Вот и с Федькиной семьей он сразу взял самую крайнюю степень зверства. У Федькиного отца была справка, что он сдал на Волге столько-то пудов пшеницы, которые ему выдали за трудодни. Председатель, конечно, никакого хлеба им не дал — так же, как и другие председатели. Какой может быть хлеб немцам-переселенцам, когда самим не хватает. Но корову взамен оставленной на Волге он обязан был предоставить. Долго злобствовал, потом все же дал — самую тощую, самую никчемную, какая сыскалась на колхозной ферме. Правда, Федькины родители ее вылечили и выходили. В конце концов она даже отелилась и стала давать молоко. А в феврале сорок второго года Федькиного отца забрали в трудармию. Тяжко ему было расставаться с семьей, оставлять на произвол судьбы жену и семерых детей.

Перед уходом он сказал:

— Пропадете вы тут. Как только будет возможность — бегите в Кочки, там люди получше живут. Может, и вы выживете. А этот дурак вас точно... — и заплакал.

Отца Федьки увезли в Кочки, а оттуда — неизвестно куда. Сначала он писал часто: попал на Енисей, на рыбную ловлю... Но с весны почтовый ручеек оборвался, и с тех пор от отца ни слуху ни духу. Впрочем, Федькина семья тешит себя надеждой, что письма приходят по старому адресу, в колхоз «Прогресс», и там уничтожаются.

Дурак-председатель, видимо, в самом деле не прочь был сжить их со свету — и весной не дал земли, чтобы посадить картошку. А без своей картошки — верная смерть. Тогда в одну безлунную майскую ночь Федька с матерью запрягли свою корову в колхозную телегу, посадили на телегу младших детей и уехали в Кочки, в колхоз «Красное знамя», в котором работала Мария.

Краснознаменский председатель Григорий Трофимович обрадовался и новым рабочим рукам, и нежданно обретенной ценной телеге. Прискакавшему на розыски председателю-пьянице беглецов не выдал:

— Нет у меня никакой телеги, не видел никаких Гофманов! Да ты, брат, пьян. Тебе поблазнилось, что они от тебя убежали. Поезжай-ка во свояси, они небось уже дома сидят и чай пьют... с картофельными очистками.



Трудно сказать, почему горе-председатель не проявил настойчивости и не сообщил в милицию. Скорее всего, он как раз ушел в долгий запой, а потом испугался, что начальство сурово спросит с него за промедление в розыске беглецов, и решил положиться на изворотливость Григория Трофимовича. И оказался прав. Григорий Трофимович уладил все с командатурой, Гофманы вместе с телегой остались в его колхозе, посадили картошку и вырыли себе землянку, а председатель «Прогресса» — продолжил руководить своим хозяйством.

Часа три сражались Федька и Мария с соломой. Запарились. Федька хотел даже скинуть фуфайку, из прорех которой клочками высовывалась желтая вата, но Мария отговорила. По сараю, сквозь открытые с обоих концов ворота, пролетал такой холодный и резкий ветер, что воспаление легких мальчишке было бы обеспечено.

Вдруг в ревущем агрегате что-то заскрежетало — и наступила тишина, будто все провалилось в другой мир. Человечьи голоса в этом мире звучали сказочно необычно без машинного аккомпанемента. Комбайнер бросился осматривать свою молотилку, а Платон Алексеевич дал команду затаривать намолоченную пшеницу в мешки.

А тут и Генка с Петьюкой Денисовым едут и новые снопы везут. Генка на самом верху воза сидит, улыбается, доволен — взрослое дело делает.

— Э, ребята! — говорит его дед. — Не пойдет! Сырые снопы, просушить бы надо. Везите на сушилку. А ты, Маруся (так Платон Алексеевич называл Марию), иди-ка растопи там, сделай все как надо.

Сушилка далеко — на самой окраине села. Мария отряхнула с одежды солому и полову, выдрала из платка цепкий репейник и пошла.

А на выходе секретарша из сельсовета с портфелем:

— Ты Мария Гейне? Знаю, что ты, для порядка спрашиваю. На вот, распишись. Повестка тебе.

Марию кольнуло в сердце. Развернула бумажку: «5 ноября 1942 года в 9 часов явиться в Кочковский райвоенкомат по адресу... в исправной зимней одежде с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и 10-дневным запасом продовольствия».

Давно говорили, давно ждала. Но все равно неожиданно. Словно по голове колотушкой. Прислонилась к воротам.

Подошел Платон Алексеевич:

— Что ты, дочка?

— Призывают... В трудовую.

— Гм... Ну что ж поделаешь... Страна на военном положении. А это значит — все мы солдаты. Куда поставят, там и стой. Эх... — Платон Алексеевич махнул рукой и отвернулся. — Ты, дочка, не обижайся на меня...

— Что вы! Мне на вас не за что обижаться, — искренне сказала Мария.

На Платона Алексеевича, действительно, обиду держать не с чего. Человечный он. Сколько раз приходила прошлой зимой его жена Мавра Егоровна в семью Гейне: то несколько картошин принесет, то пару оладышков. А ведь ее сын Иван, уходя на войну, оставил старикам на поечение четверых внуков. Ни один кусок не был у них лишним.



Вспомнила Мария доброту Платона Алексеевича. Сама не поняла, как получилось, обняла его и благодарно поцеловала в щеку.

— Ты того... — растрогался он. — Домой сходи, пообедай, в себя приди. Подождет сушилка...

Домой Марии так и так было положено: обеденный перерыв в войну никто не отменял. Очень хотелось, чтобы отец с матерью были там.

А они и в самом деле дома. А еще в землянке соседка — Катрине-вейс Бахман. Глаза у нее красные, заплаканные.

Мать у бабушкиной постели, кормит старушку супчиком — мучной затирухой.

— Мария, ты получила повестку? — смотрит тревожно, с надеждой на чудо: вдруг эта беда их минула.

— Только что.

— И наша Милька тоже, — говорит Катрине-вейс. — Совсем одни мы останемся с Соломоном Кондратьевичем! — и у нее опять бегут слезы. Она сморкается в платочек, вынутый из-за обшлага рукава.

— Садись, Мария, поешь gebrende Mehlsopp<sup>2</sup>, — говорит мать.

И они с Катрине-вейс плачут уже вдвоем. Беда-то общая, одна на всех.

С Катрине-вейс и Соломоном Кондратьевичем они соседи не только здесь. И на Волге жили на одной улице — через дом. Милька, то есть Эмилия, не дочь Катрине-вейс, а внучка. Еще у них есть внук Йешка, он уже в трудармии. Его призвали в январе этого года, в числе самых первых.

Родители Йешки и Эмилии умерли: отец — во время голода в тридцать третьем, а мать — еще раньше, при родах.

Череда трагедий в их семье началась в двадцать шестом году.

У Катрине-вейс и Соломона Кондратьевича был единственный сын Фридрих. И работящ, и умен, и все у него было для хорошей жизни. Но Бог его поразил нелепой и позорной страстью: он был вор. Крал все, что попадалось на глаза, и никак не мог от этого удержаться. Причем делал это настолько ловко и так искусно прятал украденное, что бока и прочие части его тела оставались целы гораздо чаще, а шевелюра страдала гораздо реже, чем он того заслуживал. Вскоре эта страсть передалась и его жене, скрепляя их союз сильнее всякой любви.

В то время, еще до колхозов, крестьяне нанимались к государству во фрахт. Перевозили разные грузы: товары в магазины, зерно на мельницу и прочее. Фридрих это дело очень любил и всегда возвращался в Паульский с добычей — так, бывало, являлся в родной дом, косясь по сторонам, Мариин кот Мурре с соседским цыпленком в зубах. За короткое время благодаря Фридриху его односельчане заработали славу отъявленных воров, и все в округе стали смотреть на павловских с подозрением: как бы после них чего-нибудь не пропало.

Однажды возвращались павловские домой из долгой поездки в Саратов. На постоялом дворе (тогда они назывались уже «домами крестья-

<sup>2</sup> Суп из поджаренной на сковороде муки. (Здесь и далее — диалект немцев Поволжья. — Прим. ред.)



нина») ночевали с орловскими<sup>3</sup>. Наутро собрались в путь, запрягли лошадей, погрузили товар, как вдруг один орловский мужик богатырского роста кричит:

— Держите их, братцы! Не пускайте! Шапка пропала! Дорогая шапка — меховая!

Окружили орловские павловских:

— Отдавайте шапку по-хорошему! Бить будем!

Павловские клялись, что не видели никакой шапки, но орловских было больше. До исподнего заставили раздеться, обыскали — нет шапки. Сбросили с саней поклажу, всю перетряхнули.

— Похоже, правда — не брали. Может, ты как-нибудь того... обронил? — засомневались орловские. — Мы ведь вчера крепко погуляли.

— Да вы что, мужики! — горячился богатырь. — Точно помню, в шапке я вчера вернулся! Они! Больше некому!

Обыскали еще раз. Снова ничего не нашли. Вывели на улицу к подводам:

— Давай еще раз перетрясем! Сами скинете свое барахло или помочь?

К счастью, у «Дома крестьянина» прогуливался милиционер. Павловские кинулись к нему:

— Товарищ милиционер! Это что же такое?! Не выпускают нас!

— Так! В чем дело, товарищи?

— Шапку они у нас украли, — сказали орловские, но уже тише и неуверенно.

— Уже три раза обыскали, нет у нас шапки! А нам ехать надо! — пожаловались павловские.

— Это что такое?! — милиционер строго оглядел орловских. — Вы что себе позволяете?! Какое право вы имеете обыскивать граждан? Вы свободны, товарищи, — обратился он к павловским. — Можете ехать. А до вас, — это уже орловским, — я еще доберусь!

Мужики мчались домой, не замечая ни восходящего яркого зимнего солнышка, ни синего неба, ни крепкого мороза. А впереди всех на долгогривой малорослой лошадке по кличке Брауни скакал, поминутно оглядываясь, Фридрих.

Только к обеду, когда показалось вдали родное село, успокоились.

— Признайся, Фридрих, ты спер шапку? — спросили мужики, когда сдали товар в сельпо.

— Что вы! Конечно, нет! — Вид у Фридриха был такой невинный, что все только плечами пожали.

А уже дома, в пригоне, Фридрих откинул густую длинную лошадиную гриву и вытащил из-под нее привязанную к шее животного меховую шапку.

И Катрине-вейс, и Соломон Кондратьевич не одобряли сыновье воровство, но и не препятствовали. Даже помогали ему прятать украденное, приговаривая:

<sup>3</sup> Из села Орловское в Саратовской области.

— Ох, попадешься! Кончай, пока не поздно! И нам горе принесешь... Чтобы это было в последний раз!

А что они могли еще сказать? Не доносить же на родного сына!

Но вот Фридрих заметил, что отец стал с возрастом хвастлив и болтлив. Как-то услышал, как старик приглашал соседа:

— Приходи ко мне. Чаю с сахаром попьем.

— Что ты, сахар нынче дорог...

— Будто я за него плачу! — ответил с надменностью Соломон Кондратьевич.

— Не обязательно отцу знать, что я привожу, — сказал после этого Фридрих жене, и они решили больше не посвящать родителей в свои дела.

И вот как-то раз везли фрахтовщики на трех саних товар в сельпо по первопутку. Дорога лежала по улице мимо дома Фридриха, а сам он ехал последним. Едва сани поравнялись с калиткой, как он с быстротой молнии выставил из них на снег ящик, в котором прятались десять банок с повидлом. В тот же миг калитка открылась, из нее высунулись длинные руки, и ящик исчез. Никто ничего не успел заметить. Фридрих и приемщику мозги заплел: тот насчитал ровно столько товара, сколько значилось в бумагах.

Но уже через час явились к Бахманам три милиционера и сказали, что должны провести обыск, потому что исчез ящик с повидлом.

На Соломона Кондратьевича нашло странное возбуждение.

— Пожалуйста, пожалуйста, товарищи милиционеры! Ищите, мы все понимаем: как говорится, служба есть служба. Вот посмотрите на кухне. За печку загляните. В спальне будете искать? Посмотрите, посмотрите... Ах, нет ничего? Какая жалость! Пройдемте тогда в чулан. Осторожно, не испачкайтесь! Здесь очень пыльно, а шинельки-то на вас новые. Позвольте, я вам с шапки паутинку сниму... В погребок теперь пожалуйста: там много чего можно спрятать. Спускайтесь по лесенке, не оступитесь. Ищите как следует... Да вам, может, посветить? Ну-ка, Фридрих, зажги товарищам милиционерам «летучую мышь»! Как? Видно сейчас?

Около получаса два милиционера шуровали под полом, а старший расспрашивал Фридриха: где ехали, когда, не было ли чего подозрительного... Наконец над люком показались две милицейские головы:

— Нету ничего! Жарко! Тесно, в шинелях не повернуться...

— Ну, нету так нету. Пойдем, — сказал старший.

— Как, уже уходите? Так быстро?! — не унимался Соломон Кондратьевич. — Такие приятные люди! Скоро ли опять увидимся... Может, на дворе поищите? У нас ведь и зимний погреб есть. А, понимаю: времени нету... Ну ладно, некогда так некогда. В следующий раз!

Физиономии Фридриха и его жены вытянулись и позеленели. Это не осталось незамеченным.

— Да нет, — сказал старший, — зачем же в следующий? Мы сейчас посмотрим. Где там у вас зимний погреб?

Фридрих сгорбился, еле попал в рукава полушубка и, скользя валенками в галошах по мокрому полу, как новорожденный теленок, вы-



шел впереди милиционеров из дома. За ним, обжегши тестя ненавидящим взглядом, выбежала и Фридрихова жена.

— А? Что? — пролепетал Соломон Кондратьевич, и тон его мгновенно поменялся с весело-издевательского на самый жалобный, какой только можно себе вообразить.

Едва закрылась дверь, как Катарине-вейс кинулась к мужу и стала бессильно бить маленькими кулачками в его грудь:

— Что ты наделал, старый дурак!

Вернулся Фридрих с милиционерами, поцеловал детей, жену, мать — на отца даже не взглянул — и ушел из дома на шесть лет.

Много чего случилось за эти годы — и только плохого. Весной умерла в родах жена Фридриха вместе с ребенком. Еле выкарабкались из кори Йешка с Эмилией. Совсем захирело хозяйство на плечах Соломона Кондратьевича. Сдохла длинногривая лошадь Брауни, сломала ногу корова — пришлось прирезать.

В тридцать втором вступили в колхоз, а в колхозе тоже есть нечего. К концу года и Фридрих вернулся. Не работник, не добытчик — лишний рот за пустым семейным столом. Уходил дерзкий молодой мужик, а вернулась его бледная тень. Отца он так и не простил, но больше винил себя. Глядел на опухших от голода детей и родителей и не ел — не мог отобрать у них кусок.

Дожили до весны. Под Пасху ушел Фридрих в степь за сусликами. День был солнечный, теплый. Но удачи охотнику не было. Прилег отдохнуть. Солнышко его пригрело, он разомлел и заснул. А проснуться сил не хватило...

Всю ночь ждали его в доме Бахманов: выла мать, чуя непоправимую беду, тряслись плечи у непростенного отца. Утром Соломон Кондратьевич поехал с соседом — отцом Марии — на поиски и привез в телеге домой мертвого сына.

Как ни хотелось старику после этого умереть, он не мог. Надо было им с женой двух внуков поднимать. Боялись, что жизни не хватит, но нет — успели. Выросли Йешка и Эмилия. И вдруг на тебе — война! Потом незнакомая, казавшаяся страшной Сибирь. Ни кола ни двора. Даже коровы им не дали, как Марииной семье, потому что дома не сдали — некого было уже сдавать. Потом забрали в трудармию внука, а сегодня и за внучкой пришли...

Плакала Катрине-вейс, плакала Мария, плакала ее мать, тяжело вздыхал отец. И никому не хотелось есть.

Но плачь не плачь, а на работу надо — хлеб сушить.

## Тюрьма

Сушилка находилась на самом краю села. Соломенная крыша на столбах закрывала от дождя и снега кирпичный пол над топкой. Федька Гофман с Петькой Денисовым уже разложили на кирпичах один воз необмолоченной пшеницы и поехали за новым. Задача Марии — растопить топку и поворачивать пшеницу вилами, чтобы та не перегревалась, а равномерно высыхала.

Загорелся в топке хворост, пополз дым из дымохода. Кирпичи нагрелись. Мария взялась за вилы.

Через час на вороном коне Алиме прискакал бригадир Семен Васильевич.

— Сушишь? — потряс ворошок. — Пожалуй, ничего! Годится! Можно молотить. Сейчас Федька с Петькой приедут, увезут.

К вечеру Мария высушила еще два воза. Уже темнело, когда она подмела пол сушилки. Попробовала кирпичи — теплые, но рука терпит. Если случайно что-то попадет — не загорится.

А вот и бригадир скачет.

— Семен Васильевич! — обрадовалась Мария. — Посмотрите, я все убрала. Можно идти домой?

— Все потухло? — спросил Семен Васильевич, щупая кирпичи. — Сколько сегодня высушила?

— Три телеги.

— Хорошо, иди.

Ветер, как показалось Марии, еще усилился, рвал с деревьев последние листья. Темнота сгущалась, но были видны бешено мчащиеся по небу тучи. Мария шла по улице с бедными, но настоящими домами. В них уже зажгли свет. Как хорошо тем, у кого есть свой дом со светом! А ей — в полутемную землянку с лучиной, с огромными тенями, прыгающими по неровным стенам...

Вдруг над головой — трах-тах-тах! — будто лопнуло что-то. Прямо перед Марией посыпался огонь. Это провода схлестнулись, успокоила она себя и перешла на другую сторону улицы, подальше от столбов.

Мать с отцом уже были дома. Мать плакала. Отец крепился, но Мария знала, что и ему тошно. Всего десять дней ей оставаться с ними.

Мать уже подоила корову, испекла оладий. Сегодня праздничный ужин. Праздничный, но невеселый. Пододвинули стол к бабушкиной лежанке.

— Мама, посидите с нами! — позвал отец.

— А что за праздник? — спросила бабушка.

— У Марии день рождения.

— Да? А какой сегодня день недели?

Отец посмотрел на календарь, привезенный из дому и прикрепленный к дощечке в красном углу землянки:

— Воскресенье.

«Боже мой. Неужели сегодня и правда было воскресенье?!» — подумала Мария.

За дверью раздался шорох. Постучали.

— Кто там?

— Das sein ich<sup>4</sup>, — голос Катрине-вейс.

Она вошла вся в слезах. В обед не так убивалась, а сейчас еле слова из себя выдавливает:

— Дайте, ради бога, немного молока! Хоть кружку, если есть...

<sup>4</sup> Это я.



Никогда она ничего у других не просила. Ох, наверное, опять у них горе — и не Эмилия ему причина.

— Что случилось? — спросила Мария.

Но Катрине-вейс только бессильно шевельнула рукой: мол, не спрашивайте. Взяла кружку молока и поспешно ушла.

Легли рано. На улице нечего делать, а в землянке темно. Заснули крепко: физическая усталость взяла свое. Мария провалилась в бесчувственную черноту. Век бы из нее не возвращаться!

Проснулись от грохота. Всегда тревожно, когда ночью стучатся к тебе в дом. А когда рядом с тобой подпрыгивает от ударов хлипкая дощатая дверь...

Обитатели землянки вскочили, ошалелые.

— Allmächtiger Gott, was ist doch los?<sup>5</sup> — голос отца.

— Слышим, слышим! — закричала Мария, натягивая платье. — Не стучите, дверь выбьете!

В ответ грубый мужской голос:

— А и выбьем, коли будет надо! Открывайте быстрее! Милиция!

— Господи Иисусе! Милиция! Лампу-то зажгите! Куда лампу спрятали?

Мария метнулась в угол землянки, нащупала на самодельной этажерке керосиновую лампу, поставила на стол, на печи нашарила спички.

Осветились стены их земляной комнатки. Заметались, заплясали по ним тени. Стало видно: отец прыгает, пытается попасть ногой в штанину, мать накидывает на себя пальто, бабушка села на лежанке, потерянно оглядывается, ничего не может понять...

— Чего возитесь? Сейчас правда дверь вышибем!

Мария отбросила крючок. В землянку ворвался холод, а следом зашел милиционер в шинели и форменной фуражке. За ним второй. Сразу заняли полземлянки.

Мария едва успела отскочить, чтобы ей не наступили на ноги.

— Кто тут Мария Гейне? — спросил первый.

— Это я, — ответила она чужим голосом, леденя от ужаса.

— Собирайтесь, вы арестованы!

— Ах-ха-ха-а-а! А-а-а-а! — завопила мать.

А у Марии даже сил не было спросить: «За что?»

Она машинально надела рабочую фуфайку, повязала шаль, в которую жалко и сиротливо вцепились два репья. Не помня себя, вышла из такой родной теперь землянки. Родители хотели броситься вслед за ней, но не посмели: уж слишком страшно звучало слово «милиция».

На северной окраине села небо было тускло-красным. Мария этого не замечала, переваривая внезапно свалившийся кошмар, пока милиционер не спросил:

— Твоя работа?

— Какая работа?

— Кончай придуриваться! Сушилку ты подожгла? — он мотнул головой в сторону зарева.

<sup>5</sup> Всемогущий Боже, что стряслось?

— Не поджигала я ничего! — выдавила из себя Мария и разрыдалась.

Пока шли к милиции, повалил снег. Бил в лицо, таял и перемешивался с ее слезами. Она не замечала ни ветра, ни снегопада. Ничего в мире не было, кроме огромного, удушающего ужаса.

«И-ии-и» — запели входные двери.

— Задержанная, проходи! — сказал второй милиционер, до этого не проронивший ни слова.

«И-ии-и-бум!» — раздалось за спиной.

Перед Марией открылись еще одни двери, и она оказалась в коридоре, освещенном несколькими тусклыми лампочками. За столом, недалеко от входа, сидел пожилой милиционер — наверное, дежурный.

— Принимай задержанную, Фадей Гордеич! — сказал ему второй милиционер, который, оказывается, был старше стучавшего в землянку.

— Призналась? — спросил, вставая, Фадей Гордеич. — Что говорит?

— Ничего не говорит, только воет.

— А чего выть? — ласково улыбаясь, сказал дежурный. — Не виновата — отпустим, а виновата — будешь отвечать по всей строгости военного времени. Пойдем! Поселю тебя рядом с землячком.

Долго шли по бесконечному коридору, который становился все темней, наконец свернули в закуток, где почти совсем не было света. Но дежурный без промаха вставил ключ и открыл перед Марией дверь камеры. Щелкнул снаружи выключателем и сказал, указывая на железную кровать, покрытую каким-то тряпьем:

— Располагайся!

Опять заскрежетал замок, свет погас, и в крошечной тьме Мария завывала так, что самой стало страшно. Под утро она то ли уснула, изнуренная, то ли потеряла сознание.

Очнулась, когда за окном уже стали видны заснеженные кусты и дальше, за забором, труба кирпичного завода. Совсем далеко — белые крыши домов и сараев. В эту ночь наконец наступила зима. Как Мария еще совсем недавно любила первый снег! А сейчас всё — жизнь сломана, кончилась... Ее колотил озноб. В камере, действительно, было холодно. А на воле ветер утих и небо прояснилось. Вставало солнце. Все заискрилось — так же, как и в позапрошлом году, когда Мария со своими однокурсниками шла пешком по такому же чистому первому снегу в педучилище...

Она вздрогнула от звука открываемого замка. Дежурный милиционер — не вчерашний, но тоже пожилой, почти старичок, — сказал буднично, по-домашнему:

— Гейне, тебе передача — картошка-лепешка, — и улыбнулся всеми своими морщинами: мол, я не передразниваю, мне так сказали — я передаю.

Их красная чашка. А в ней несколько картофельных лепешек. Золотистая корочка с двух сторон. И пахнет, наверное, вкусно, только Мария сейчас ничего не чувствует — ни вкуса, ни запахов. Во рту все



пересохло, язык деревянный, и в глотке ком — ничего не пролезает. А чашка еще теплая. «Встали, наверное, до свету, нажарили и сразу с печки мне понесли... А может — ничего; может — обойдется, разберутся... Ведь я не виновата».

Только так подумала, а замок уже снова скрежещет.

— Гейне, на допрос!

Кабинет. В другом конце того же здания. Солнце в окно. За столом молодой милиционер. Гимнастерка, красные петлицы на воротнике.

— Младший лейтенант Чалов. Веду ваше дело, — посмотрел на нее. Долго смотрел, выжидающе. — Ну, рассказывайте!

— Что рассказывать?

— Как сушилку подожгли.

Ее снова затрясло, полились слезы:

— Не поджига-а-ала я! Я ушла... всё... уже потухло...

— Потухло, говоришь? А кто это может подтвердить?

— Бригадир приезжал, Семен Васильевич... Он сам кирпичи щупал. Они уже еле теплые были. Спросите его...

Хорошо, что в кармашке платья оказался носовой платок. А то сидела бы сейчас, размазывая сопли и слезы.

— И когда же он щупал?

— Перед тем, как я домой пошла. Он пощупал и отпустил меня.

Чалов усмехнулся и сказал:

— Ну ладно, а в котором часу?

— Не знаю, темнеть стало. Сумерки были. Где-то в семь.

— В семь... А загорелось в двенадцать. Выходит, ты пошла домой, потом вернулась и подожгла?

— Не поджига-а-ала я! Мы поужинали и спать легли-и-и!

— Не поджигала? А отчего же тогда загорелось? Или она сама себя подожгла — сушилка-то?

— Не зна-а-аю!

— Может, ты туда сунула что-то, чтобы тлело, а потом разгорелось?

Или спички как-то так разложила, чтобы огонь пополз?

— Ничего я не делала-а-а! Я и не умею... и не знаю...

— А может, бригадир поджег?

— Не-е-ет! Я пошла, и он ускакал... Он был на коне.

— Ну хорошо, устрой тебе очную ставку с бригадиром. Подожди пока.

Чалов позвонил в правление колхоза, и через десять минут Мария уже видела в окно, как Семен Васильевич мчится галопом и сырой снег комьями вылетает из-под Алимовых копыт. Еще через минуту бригадир уже входил в кабинет. Да, серьезная организация милиция!

— Ну что, бригадир, — сказал Чалов. — Вот гражданка Гейне утверждает, что ты последним видел сушилку перед пожаром. Говорит, в семь часов вечера ты все осмотрел, проверил, пощупал, ее отпустил, а сам остался.

— Не говорила я так! Мы вместе ушли.

— Вместе, что ли, подожгли?



— Да вы что, товарищ младший лейтенант! Я вчера один раз там был... В обед, — глаза Семена Васильевича забегали, будто он не знал, куда их деть. — Приехал, посмотрел, как сушится. Сказал: сейчас ребята еще воз привезут... И всё. Вечером я ее не видел и не отпускал. Она сама знала, когда можно уйти.

— Понятно, так и запишем. Гражданку Гейне не видел, уходить от сушилки не разрешал. Правильно?

— Да, так и было.

— Семен Васильевич! — закричала Мария в отчаянии. — Разве вы не помните, как щупали кирпичи? Сказали мне: «Иди домой...»

— Нет, товарищ младший лейтенант, клевета! Не видел я ее.

— А может, все же видели, товарищ бригадир? А? Может, вы по-дожгли?

— Да что вы, товарищ младший лейтенант! Мне-то зачем?

— А ей зачем?

— Ну... она того... немка... — руки Семена Васильевича заматались так же суетливо, как глаза. — Может, своим помогает...

— Так и запишем: «Считаю, что сушилку подожгла гражданка Гейне из вредительских побуждений». Верно?

— Выходит, так.

— «Выходит так» или просто «так»?

— Ну, так, наверно...

— Ладно, идите.

Когда Семен Васильевич ушел и ее последняя надежда рухнула, Мария заголосила уже не сдерживаясь.

— На вот, подпиши протокол, — сказал Чалов.

Но Мария еще ночью решила ничего не подписывать, тем более не понимая, под чем именно ставит подпись. А сейчас она вообще не способна была соображать.

— Ладно, — сказал Чалов. — Так и напишем: «Подписать протокол отказалась».

— Что теперь будет? — все-таки смогла спросить Мария.

— Судить тебя будут. Суд и решит, что с тобой делать.

Услышав слово «суд», Мария совсем ополоумела и стала кричать уже по-немецки.

Она не помнила, как шла в камеру, как очутилась на кровати с тряпьем. Кричала и плакала весь остаток дня. А поздно вечером вдруг услышала глухое постукивание в стену. Этот еле слышный стук вернул ее к действительности. Мария стала воспринимать звуки, обращать внимание на свет автомобильных фар за окном и вскоре уснула так крепко, будто умерла.

Утром пришел тот же старый милиционер. Принес ложку овсяной каши и светло-желтую жидкость в алюминиевой кружке — наверное, чай.

— Ох и кричала же ты вчера, дочка! У меня самого глаза на мокром месте были. Чего, думаю, девчонку мучают? Ты только никому не говори, что я так сказал. А то... — Он махнул рукой. — Можешь и сказать. Мне, старику, все равно, я свое прожил. Но лучше все-таки не говори... А картошку-лепешку что же не съела?



— Не могу... Хотите — съешьте.

— А что, давай, пожалуй! Не пропадать же. Смотри только не пожалей.

— Не пожалею.

Чай Мария смогла выпить, а кашу есть не стала. Наступило какое-то оцепение: ну и пусть, будь что будет...

Вскоре опять пришел милиционер, в руках другая — синяя — их чашечка:

— Новая картошка-лепешка приехала. Ты уж того... поешь.

— Берите себе.

— Нет-нет, больше не возьму! За ту спасибо. Вкусная картошка-лепешка. А эту обязательно съешь сама. Не бойся, ничего тебе не будет за сушилку: ей грош цена, копейки. Да и председатель ваш вроде как за тебя просил. Точно не скажу, но слышал краем уха.

Оставшись одна, Мария принюхалась — от жареной в масле картофельной лепешки исходил аромат, чудеснее которого не было в ее жизни. Она отломил кусочек, а потом с жадностью проглотила все три «картошки-лепешки».

В стенку опять постучали, как вчера вечером. Но Мария опять не решилась ответить.

А вскоре пришел дежурный и принес ведро с тряпкой:

— На-ка, помой полы — время веселей пройдет.

Она вымыла весь коридор, а когда заканчивала тереть пол в закутке возле соседней камеры, из-за двери донесся хриплый, простуженный голос:

— Мария! Это ты?

— Я. А вы кто?

— Я Йешка Бахман.

— Йешка! Но ведь ты в трудармии!

— Я убежал. Меня позавчера вечером поймали. Я страшно хочу есть. Передай своей маме, пусть мои мне что-нибудь принесут. Поняла?

— Да.

— Что ты, дочка? Разговариваешь с кем? — спросил появившийся дежурный.

— Нет, я так... Головой о косяк стукнулась.

На следующее утро ее вызвал Чалов.

— Ну вот что, Мария... Фридриховна... Маруся, Маша, Марейка — как там тебя? Приходил вчера этот ваш бригадир, Семен Васильевич. Отказался от своих показаний. «Струсил, — говорит. — Но не смогу жить, если буду знать, что девчонку погубил». Председатель ваш был, тоже хорошо о тебе отзывался. «Давай, — говорит, — лейтенант, спешем на провода. Ветер, мол, сильный был, захлестнуло, искры попали на соломенную крышу». Далековато, конечно, до проводов, но чем черт не шутит: может, так оно и было... Я все это начальству доложил. Начальство решило: «Раз у нее на руках повестка, пусть отправляется в трудармию. Там разберутся, вредитель она или нет». Так что бери свои манатки — и брысь отсюда, пока не разложила мне все кадры своими воплями!

Марии принесли ее фуфайку и шаль. А на шали — те же два репья из родного дома. Она даже срывать их не стала, надела шаль на голову вместе с ними.

Открылась дверь на пружине, и так же раздалось за спиной: «И-ии-и-бум!» — как той несчастной ночью.

## Жигули

Морозы в этом году быстро принялись за дело. Днем двадцать градусов с обжигающим ветром. Снегу сразу выбросило глубиной в полва-ленка, и пастух перестал выгонять коров на утренней заре.

Катрине-вейс теперь бывала у них каждый день. Нечего больше та-иться. Рассказала, как пришел Йешка.

Бахманы сидели втроем в землянке и ужинали, когда снаружи тихо-тихо постучали. Она открыла дверь, а там ее внук — грязный, обросший щетиной, без шапки, в одном пиджачке.

— Боже мой, — говорила Катрине-вейс, всплескивая руками, — что он рассказал! Да и рассказывать не надо — все по нему видно. Кожа да кости. Он говорит, в трудармии такой голод! Хлеба дают четыреста граммов, а вареного — пустой суп, и то не каждый день. Не выдержал он. Терпел, пока лето и еще можно было что-то в лесу найти — грибы или ягоды. А осенью стало совсем плохо. Решил убежать. Я говорю: «Йешка, да как же ты осмелился на такое? Ведь за это тюрьма, а может, и хуже!» А он говорит: «Хуже ничего не может быть. Мне и так и так смерть. А от голода она страшней всего, потому что медленная». Десять ночей ехал на крышах вагонов. Днем прячется, ночью едет. А ведь холод! Его продуло. Говорит: «У меня все болит, грудь изнутри опухла, я ни дышать, ни кашлять не могу». Ну что делать?! Такого кашля я никогда не слышала! Говорю: «Подожди, я тебе вскипячу молока, чтобы кашель стал мягче». Пошла к вам за молоком, вернулась, а там уже милиция. Йешка еле успел одну картошечку съесть. Я заплакала, говорю: «Позвольте мне его покормить и напоить кипяченым молоком — слышите, как он кашляет! Потом заберете. Он не убежит». А они: «У нас его и накормят, и напо-ят!» Ох-ох, за что нам такое? Неужели Бог нас все еще карает из-за того, что Фридрих был вор? А дети-то его чем виноваты? Какие муки Йешка вытерпел! Не понимаю, как он живым добрался. Десять дней без еды... Еще нашел силы пешком от Каргата дойти — сто километров! Такой ве-тер был в последний день, а он в одном пиджачке, без пуговиц... Бедные мои внуки! — и Катрине-вейс принималась рыдать, а слушая ее, не могли не заплакать и Мария с матерью.

— Зачем мучить людей? Ведь он работал, делал все, что надо. Зачем не давать людям кушать? — всхлипывала несчастная старушка.

И в этих всхлипах Марии слышалась жалоба на несправедли-вость всего того, что обрушилось на семью Бахманов. Но, уходя домой, Катрине-вейс непременно просила:

— Вы уж, ради бога, никому не рассказывайте, что я тут говорила! Конечно, не расскажут.

Ох, беда, беда! В тюрьме трудармия казалась спасением, а сейчас, после Йешкиного побега...

Так Мария маялась до отправки. Сама чувствовала себя отрезанным ломтем, и родители смотрели на нее так, словно на смерть провожали.

В последний день Платон Алексеевич отпустил ее с работы пораньше. Мать с отцом пожарче натопили землянку. Мария помылась, оделась в чистое и стала ждать завтрашнего дня. Утром простилась с матерью, с безучастной ко всему бабушкой и отправилась в военкомат. Отец пошел ее провожать, а мать осталась дома, потому что бабушка могла умереть с часу на час.

В десять подошли машины, мобилизованные расселись по кузовам. Отец, до последней минуты не выпускавший руки Марии, вдруг показался ей таким маленьким и старым, что его стало жальче, чем себя. Вот и моторы завелись... Ну еще минутку дайте побыть дома! Нет, тронулись. Поехали. Отец бежит следом. Зачем-то снял шапку и машет ею. Все, отстал... Но еще мелькают знакомые дома. Вот уже и они позади. Выехали за село на каргатскую дорогу. На дорогу в неизвестность...

Полдороги плакали о том, что осталось там, в Кочках, где теперь их дом, их землянки. А потом стало не до слез. Замерзли — «задубели», как говорят в Кочках, — даже под тентом. Два раза останавливались в придорожных селах отогреться. Сто километров ехали до самого вечера. Несколько раз застревали в рыхлом снегу переметов. Спрыгивали, выталкивали машины. Залезали назад все в снегу. К концу путешествия нанесли его столько, что весь пол им утоптали.

Мария сидит на скамейке рядом с Эмилией Бахман. Милька красивая: высокая, стройная. Лицо румяное, ямочки на щеках, а волосы — в косы заплетены — чистое золото. Они в позапрошлом году вместе ходили в Маркштадт<sup>6</sup>. Мария, Эрн Дорн и Сашка Муль — в педучилище, а Эмилия — в техникум механизации, на первый курс. Втемяшилась ей в голову блажь с машинами возиться.

Сегодня Мильке невесело. Мария ничего не спрашивает: знает, что Милькины мысли — о Йешке. Если Марии копеечная сушилка простилась, то дезертирство во время войны точно не простят.

Приехали в Каргат при свете фар, переночевали в школе прямо на полу, рядом со сдвинутыми партами. А наутро — на вокзал. Над вокзалом красные знамена. Ах да! Завтра же праздник — двадцать пятая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!

Народу в помещение набилось — яблоку негде упасть. А за окнами проносятся поезда. Сначала слышится шум, вибрирует пол, пролетает паровоз, высоко выплевывая клубы черного дыма, следом летят вагоны, ветер наконец приносит дым из уже далекой паровозной трубы и швыряет в окна. А вагоны все мелькают один за другим: высокие — с углем, низкие платформы, заставленные чем-то, укрытым брезентом и, видимо, секретным, теплушки с людьми...

Спешат, спешат поезда! На запад, на запад — к фронту!

<sup>6</sup> *Маркштадт* (после 1942 г. — город Маркс в Саратовской области) — центр Маркштадтского кантона АССР Немцев Поволжья (автономия существовала до 1941 г.).

Вот еще люди прибыли.

— Откуда?

— Из Довольного.

— А мы из Чульма.

Хотят войти, но их встречают мужчины в форме:

— Нет места! Не толпитесь, подождите на улице. Сейчас будет посадка.

На самый дальний путь почти незаметно прокрался паровоз с теплушками и встал.

— Наверно, наш!

Команда:

— Выходи!

На улице кто-то хватается за руку:

— Maria! S' bist wohl du?!<sup>7</sup>

Тетя Эмма Кригер — мамина сестра! Хоть один родной человек будет рядом с ней!

Обнялись, поцеловались.

— Тетя Эмма! А вас-то почему призвали? Вам ведь уже сорок пять.

— Еще нет, только через две недели будет.

— Знаю, но я думала, что две недели не считаются...

— Сейчас каждый день считается.

Пошли, действительно, к тому поезду с теплушками. Переключка. Кого называют — два шага вперед. Один военный выкрикивает по списку. Другой стоит рядом, следит, выходят ли названные.

— Рядом становиться! Рядом с предыдущей!

Ох, долго! Подальше, к хвосту, такая же толпа. Тетя Эмма успела рассказать, что живет в деревне, далеко от райцентра. Осенью или весной грязь непролазная. В прошлом году четыре дня ехали из Каргата на лошадях. Телеги вязли по самые оси. Все безотрадно: болота да камыши и серое небо над головой.

— Ну да теперь привыкли. Овец пасем... А вы как? Слышала, что в Кочки попали.

— Да. До весны на квартире жили, теперь в землянке. Бабушка совсем плохая. Может умереть с минуты на минуту. Или уже умерла...

— И я отца оставила на эту... на Давидкину жену. Мужа и Давида еще той зимой забрали в трудармию, а у нее ребенок — два года. Из-за ребенка и не взяли. Я уехала, так на ней теперь двухлетнее дитя и наш отец восьмидесяти пяти лет. А она бестолковая — боюсь, обоих уморит. Ох, помню я маму: как она сидела за столом и грызла сусличью ножку... Эта картина со мной будет до смерти. Тогда она умерла от голода, теперь, видно, очередь отца.

— Моя мама тоже это вспоминает. До сих пор мучается, что ничем не могла помочь. Она же тогда у вас была, видела...

— На ней были родители твоего отца. Что она могла? Так уж, наверно, Бог хотел.

<sup>7</sup> Мария! Это ты?!

Наконец первый военный передал списки, по которым выкликал фамилии, второму — тому, кто следил. Тот расписался, подложив планшет. Ага! Первый их всех сдал, второй принял.

— По вагонам!

Полезли в вагоны. Напротив входа — печка-буржуйка. С обеих сторон от нее двухэтажные нары. Занимай места! Где лучше? Рядом с печкой? Но и дверь недалеко, а плотно ли заделаны щели? Нет, лучше посередине. Это не Мария решила, а тетя Эмма, которая даже сейчас сохранила способность рассуждать. Она займет место снизу, а Мария с Милькой — над нею. Все из Паульского будут вместе.

Снаружи что-то застучало, заскребло по стене вагона. Хлоп — упала крышка, закрывавшая окно. Хлоп — упала вторая. Повезут с комфортом. Даже зимними пейзажами можно любоваться. Если, конечно, будет охота...

Вот и двери закрыли.

«И-и-и!» — завизжал гудок, и по соседнему пути помчался поезд, загрохотал сотнею колес. Замелькали в двух окнах чужие вагоны. Все невольно потянулись вверх, чтобы посмотреть. А когда тот состав пронесся, оказалось, что они сами уже едут. Куда? Пока на запад.

Расселись по местам, которые успели занять. Стали знакомиться.

— Кто из Паульского? — спросила тетя Эмма.

Никто не откликнулся.

— Из Фишера есть кто-нибудь? — громко позвала девушка лет двадцати пяти.

— Я из Фишера, — сказала высокая рябая женщина, откинув с головы на плечи шаль.

— А почему я вас не знаю?

— Как тебя зовут?

— Ирма Шульдайс.

— Я знаю твоих родителей. А ты была еще маленькой девочкой, когда я уехала из Фишера. Меня зовут Фрида Кениг.

— Слышала. Родители что-то о вас говорили. А мы вот с сестрой едем, с Эллочкой. Ей еще восемнадцать лет. Мама сказала: смотри за ней как следует — чтобы не простудилась, не голодала, не надорвалась...

— Не надорваться у нас вряд ли получится, — невесело засмеялась Фрида.

— А из Маркштадта кто-нибудь есть?

— Есть!

— Из Филиппсфельда?..

— Из Нидермонжу<sup>8</sup>?..

— А из Москвы есть? — статная блондинка в красивом пальто словно бичом щелкнула среди птичьего гомона.

Все мгновенно стихли, не понимая, серьезно спрашивает или шутит.

— А вы из Москвы? — смотрели как на чудо.

<sup>8</sup> Фишер, Филиппсфельд, Нидермонжу — названия немецких поселений Маркштадтского кантона.

— Из Москвы.

— Из самой Москвы? — восхитилась Эмилия. — А как вас зовут?

— Ольга Цицер.

— А меня Эмилия. Миля.

— Вот и познакомились, — сказала Фрида. — Давайте-ка печку затопим да чай вскипятим.

Жарко горят дрова в печке. Стучат колеса. Женщины приспособили на печку ведро с водой. Ждут, когда вскипит. А уже и есть хочется... Не пора ли обедать? Раз хочется, то пора.

— Ну-ка, доставай кружки! — командует Фрида. — Получай кипяток!

Попили кипятка. Каждому досталось всего по кружке, но по намерзшему телу сразу пошло тепло. Мария достала кусок хлеба с холодной картошкой, сваренной в мундире.

— Был бы стол — вообще ехали бы как в плацкарте...

В три встали на неизвестной станции. Дверь открылась.

— Принимай обед!

— Так вы и обедом будете нас кормить?!

— А как же! Раз в день положено горячее питание.

На вагон — почти двухведерная кастрюля супа. Не ахти какой суп, но картошка в нем есть, и крупа, и даже капельки жира на поверхности золотятся.

Если так и дальше пойдет, можно жить!

Трое суток стучали колеса. Иногда в их перестук вплетался металлический звон — и все знали: едут по мосту. Кое-где стояли подолгу. Тогда от начальства приходили с охраной, выпускали из вагона по двое.

На четвертые сутки среди ночи почувствовали: поезд сбавляет ход. Вместо привычного «тук-тук-тук, тук-тук-тук» колеса стучали: «тук-тук, тук-тук». Все тише, тише... Потом: «у-у-у» — загудели тормоза, и всех качнуло вперед. Встали.

Кто-то бежал вдоль состава, хрустя снегом. Дверь отъехала. Пахнуло холодом.

— Выходи из вагонов!

Неужто прибыли? Нервная дрожь спросонья. Темно — хоть глаз выколи.

— Господи, зажгите же кто-нибудь спичку! Шаль не могу найти...

— Тетя Эмма, да вот же она! Вы ее под голову клали.

— Ах да...

Женщины-тудармейки быстро собираются: суетливо заталкивают в мешки и рюкзаки свои платки, куски хлеба про запас — и все вместе — к двери. Внизу белый снег — прыг в него.

— Ой, нога!

Вверху черное небо. Ни луны, ни звездочки. Тишина.

«Ту-у-у!» — паровоз — откуда-то с края земли.

«Ух!» — порыв ветра в лицо и грудь. Ледяной. Со снегом.

Сейчас бы в вагоны, к железным печкам! Еще вчера вечером было так хорошо, уютно, так пригрелись...



— Где мы?

Батюшки! Ни людей, ни строений. В степи выгрузили!

— Ах, Мария и Йезус!

Вздروгнули от железного лязга — их поезд тронулся.

— Постойте! А мы?!

Но вагоны — мимо, как родные дома, — навсегда. Какое сиротство!

Эшелон ушел, вокруг ветер и глушь...

А за путями-то не степь — фонарь горит, башня водонапорная. Еще дальше — пакгаузы. Окраина какой-то станции, причем далекая окраина.

— Чего ждем?

— Кома-а-анды, — кто-то очень жалобно.

— А где командиры?

Вчера еще было полно сопровождающих! Где они?

— С поездом уехали. Нас бросили! В ночи, в степи!

— А может, специально — чтобы мы замерзли?!

— Как это? Невозможно!

— Все возможно...

Четыреста человек топчутся в отупении — снег стонет. Ветер порывами прожигает пальто.

— Мама, я замерзаю!

Сколько времени так прошло — неизвестно.

— Женщины, да пойдете же на станцию!

— А где станция?

— Да вон же!

— Нельзя уходить. Не велено. Засу-у-удят!

Опять молчание. Снег уже скрипит меньше — утоптали.

— Как хотите, а я пойду! — это та девушка в красивом пальто, что спрашивала, нет ли кого из Москвы, — Ольга Цицер.

Толпа распалась. От нее потянулась человеческая струйка к башне, к складам... Наконец и в самых робких страх наказания пересиливается страхом остаться одним. Двинулись и Мария с тетей Эммой и Эмилией.

Кажется, светает. Снег стал белее. Следы от колес — похоже, на дорожку вышли. Вдалеке три точки, движутся навстречу. Кто бы это ни был, а всё не одни на свете! Ближе... Двое верхом и санная упряжка.

— Эй! Вы немки? С поезда?

— С поезда.

— А куда претесь? Сказано же, на путях обождать! — Из саней встал военный — из их поезда.

— Никто ничего не говорил.

— Ишь, растянулись на версту... Стой! Подравняйся!

Верховые спешили, пошли вдоль строя, считают. Назад идут — опять считают. Не сходится у них, что ли? Ну давайте же быстрее! Холодно, замерзнем до смерти! Кажется, всё — садятся. В санях на коленках опять подписывают бумаги.

Пошли. Наконец-то утро. Край неба забелел. Ветер бьет, а идти далеко... Трудармейки не чувствуют ни рук, ни ног. Никто не отстал? Да кто знает — не оглядывались.



Наверное, только через час пришли в город не город, село не село...

- Спросить, что ли, где мы?
- Товарищ военный! Какой это город?
- Какой надо!
- Военная тайна, что ли?

Привели в баню. Выдали по куску нестерпимо вонючего мыла. Приказ: обязательно вымыть им голову — от вшей.

В предбанниках раздевались партиями. Народу — не протолкнуться. А в помывочной вода еле теплая: не то что не согреешься — а наоборот, все трясутся.

У Марии коленки обморожены, у тети Эммы — пальцы на руках и ногах. Гусиным жиром бы смазать да закутать махровым полотенцем... Ага! Даст им сейчас кто-то и жира, и полотенце! А снаружи уже торопят: быстрее, быстрее, многим еще надо помыться...

В предбаннике кажется еще холоднее, чем когда заходили. От мокрых тел поднимается пар. Челюсти сводит дрожью, зуб не попадает на зуб. Господи, и обсушиться нечем! Одежду — прямо на мокрое тело. И опять на улицу, на мороз и жгучий ветер.

— Стройся!

А как строиться? Большинство — колхозницы. Конечно, немало и горожанок, из Энгельса<sup>9</sup> и Маркштадта, но и они на заводах да в учреждениях никогда не строились. А в холодной Сибири тем более всех тянет сбиться в кучу, а не растягиваться в ряд.

— Не толпись, не толпись! В шеренгу становись! Эх, бестолковые бабы!

Двое военных кое-как построили женщин.

— Налево!

Это куда? Одни в одну сторону повернулись, другие в другую...

— Links, Emma-Tante!<sup>10</sup>

— Вот именно! Линкс! Шагом марш!

Пошли. Хоть трудовая, но все же армия. Только жалкая: солдаты ее в пимах, повязаны платками по самые брови, да еще и носы норовят спрятать. Кто в чем: в старых и не очень старых пальтишках, в ватниках, а кто и в тулупе. Правда, одна в щегольском пальто. Красивая, стройная, высоко держит голову — та, что про Москву спрашивала...

За плечами мешки: ведь в приказе о мобилизации было сказано явиться с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и десятидневным запасом продовольствия.

Рубленый барак, над входом надпись: «Столовая». Один военный вклинивается посередине колонны, растопыривает руки, загораживая путь, другой командует:

— Передние, заходи!

Прочие остаются снаружи, топчутся на морозе.

Народу много. Вдоль окон в два ряда столы, столы, столы... В углу слева три раздаточных прилавка. На среднем алюминиевый бак, над

<sup>9</sup> Энгельс — город в Саратовской области, в 1923—1941 гг. столица Автономной ССР Немцев Поволжья.

<sup>10</sup> Налево, тетя Эмма!



ним пар. Трудармейки подходят, не раздеваясь, затылок в затылок. Три женщины-раздатчицы разливают суп в алюминиевые миски, наполняют почти до краев. С другого прилавка дают кусочек хлеба — черного как смоль. Суп горячий — радость для замерзшего организма, — но почти пустой: несколько картошинок на дне, да немногочисленные листочки капусты гоняются друг за другом.

— *Lauder Wasser, lauder Wasser!*<sup>11</sup> — говорит высокая пожилая женщина-трудармейка.

Едят долго, приятное тепло растекается по телу, добирается до самых ступней. У кого-то даже испарина на лбу. Хлеб черный, но такой вкусный — сладкий-сладкий. Только его мало. Не удержались: достают из мешков сухари десятидневного запаса — что в поезде не съели. Но пора и честь знать: снаружи мерзнут подружки по несчастью.

Трудармейки сдают миски на третий прилавок, тянутся к выходу. Навстречу идет следующая партия — замерзшие.

— *Лаудер вассер! Лаудер вассер!* — встречает их одна их раздатчиц.

Она уже выучила новое выражение, и ей весело повторять необычные слова.

Согрелись, но голод остался, только слегка утишили его.

Тучи между тем разошлись, выглянуло низкое зимнее солнце.

Дождались, пока все поедят. Опять команда строиться — теперь в две шеренги.

— *Направо!*

*Повернули направо.*

— *Шагом марш!*

*Пошли — уже из города... Или из села, так и не поняли.*

— *А куда идем?*

— *Куда надо, туда и идем!* — отвечает один военный.

— *Далеко хоть?*

— *Недалече, девяносто километров. Дня за три-четыре дойдем.*

— *Да ладно, старшина, тайны-то нету, — вмешивается дружкой. — В село Отважное идем. Нефтепровод будете строить.*

— *Отважное — это где?*

— *Жигули. Слышали?*

*Жигули?! Господи! Там Куйбышев, потом Саратов, через Волгу — Энгельс, а между Куйбышевым и Саратовом — Маркштадт. Это же почти рядом с домом!*

## Ольга Ивановна

В поселок Отважный пришли только на четвертый день к обеду. Поселок строился. Проходили мимо каких-то котлованов; каркасов, ждущих обшивки и засыпанных опилками и стружками; рубленых и кирпичных строений.

Пустыри, бараки, за ними двухэтажные дома — наверное, центр поселка. Потом низкие деревенские дома села Отважное. А дальше на се-

<sup>11</sup> Одна вода, одна вода!

вере надо всем этим возвышались заснеженные горы, с лесом и без него. Они казались громадными, а домики у их подножия — сказочно крохотными, для гномиков, а не для людей. В просветах между горами блестел лед Волги.

Наконец их привели к рубленным баракам, по виду довольно новым, но построенным наспех, для временного проживания.

Бараков было четыре. Трудармейки построились на площадке между ними. Откуда-то явилась женщина в тулупе, теплой шаля и вязаных варежках. Сопровождающие военные опять выкрикивали новоприбывших по списку, и те делали два шага вперед. Женщина крыжила их в своих бумагах карандашом. Открыжив сотню, скомандовала:

— В первый барак.

Открыжив вторую:

— Во второй барак.

Марию и тех, кто был ей знаком по поезду, отправили в последний, четвертый.

Вход в него был точно посередине. Из тамбура двери вели налево и направо в две длинные комнаты. В каждой вдоль стен двухэтажные нары. Разобрали места. Марии досталось верхнее. Снизу устроилась тетя Эмма. Слева от нее на верхних нарах Эмилия, а справа — сверху и снизу — сестры Шульдайс.

Вскоре за ними пришла женщина и повела обедать. Столовая — такой же длинный барак, только вдоль стен не нары, а столы и скамейки.

На обед дали суп с несколькими крохотными кусочками какой-то рыбы. На второе — кашу из крупы, происхождение которой было сложно определить.

Вернулись в свой барак. Тетя Эмма расположилась поспать. Эмилия, порывшись в вещевом мешке, достала гребень, распустила косу и принялась расчесывать густые, золотого цвета волосы.

Вдруг хлопнула дверь и в комнату вошла женщина, которая принимала их на площади. Увидев Эмилию, удивленно замерла и воскликнула:

— Рапунцель! Живая Рапунцель!<sup>12</sup>

Но, спохватившись, сказала уже громко и властно:

— Слушай сюда, девчата! Я начальник вашей колонны Ольга Ивановна Зоммер. Вы прибыли в распоряжение строительно-монтажного управления номер три треста «Востокнефтестрой». Будете копать траншею для нефтепровода. Дисциплина военная. Подъем в шесть часов. В семь пятнадцать завтрак в столовой, где вы только что были. В семь тридцать идете получать кирку, лом и лопату. В восемь часов — начало рабочего дня. Обед — полчаса: с тринадцати до тринадцати тридцати. Конец рабочего дня в девятнадцать ноль-ноль. С девятнадцати до девятнадцати тридцати — ужин. В столовой же будете получать и порцию хлеба на следующий день. Кто выполняет норму, получает шестьсот граммов, кто не выполняет — четыреста.

— А норма какая? — спросил кто-то.

<sup>12</sup> Рапунцель — красавица с длинной золотой косой, персонаж сказки братьев Гримм.



— Норма — четыре кубометра. Невыполнение приказа, невыход на работу — сначала карцер. Я вам, девчата, не советую туда попадать. Так что слушаться обязательно! Если карцер не будет помогать — суд и тюрьма. Поняли меня?

— Поняли.

— Еще есть ко мне вопросы?

— Есть, — сказала Ольга Цицер. — Вы работали в Маркштадском кантоне?

— Я много где работала.

— Вы не были в тридцать втором и тридцать третьем годах уполномоченной по коллективизации?

— Я тебе не обязана рассказывать, где я работала.

— А все-таки?

— А все-таки — ты будешь первая, кто узнает, что такое карцер! Как твоя фамилия?

— Цицер Ольга Георгиевна.

— Сейчас за тобой придут.

— У меня еще просьба есть. Не называйте нас девчатами. Какие мы вам девчата? Здесь есть женщины намного старше вас. Учтите.

Ольга Ивановна повернулась и выбежала вон, хлопнув дверью. За Ольгой Цицер, действительно, вскоре пришли. Вернулась она через трое суток.

## Валенки

Конец сентября. За огородами медленно течет навстречу великой Волге речка Караман. Где-то далеко за Волгой скатывается в тучи красное солнце. По-осеннему холодный воздух толкается в открытую дверь летней кухни. Мерно и убаюкивающе гудит ручной сепаратор. Это мать перегоняет надоенное молоко. У двери сидит серый полосатый кот Мурре, довольно облизывая усы.

Мария с отцом только что приехали с бахчи. В руках у нее корзинка с пасленом. В этом году его видимо-невидимо.

Отец переносит с телеги в амбар желтые тыквы. В амбаре заработанное отцом и матерью на трудодни зерно. В зерне уже закопаны дыни и арбузы. Тыквы отец закапывает туда же: это лучший способ сохранить бахчевые деликатесы до зимы. Последнюю — самую большую тыкву — вкатывает в летнюю кухню.

— Смотри какая! — говорит он матери. — Не поднимешь. Больше тележного колеса!

Отец любит преувеличивать.

Тыква перекачивается через порог и сотрясает пол. Звенит посуда в шкафу. Мурре испуганно порскает под стол и некоторое время сидит, посверкивая оттуда тревожными желто-зелеными огоньками. Потом, прижав уши, на полусогнутых лапах осторожно крадется из кухни, в ужасе косясь на тыкву. Выбравшись наружу, пускается стрелой и одним махом перепрыгивает через соседский забор.

Мать заканчивает сепарировать молоко. Сепаратор продолжает по инерции петь свою грустную вечернюю песню, но все тише, тише... Наконец смолкает.

Завтра паслен рассыпят на противнях, поставят на плиту в летней кухне и будут сушить. Зимой распарят в воде, загустят крахмалом, добавят сахара, и мать испечет пасленовые пироги — шварцбернкухе. Вытопит печь, посадит их на деревянной лопате на под, закроет заслонкой. Запах тогда! Какое счастье, когда в доме пахнет пирогами!

Сумерки. В доме прохладно. Бабушка уже спит в своей комнатке.

Мать включает на кухне свет. Отец приносит большущий арбуз и прямо светится от удовольствия, что сможет потешить любимую дочь.

— Таких у нас еще не было. Послушай, как звенит! — Он щелкает по полосатому боку. — Дай-ка нож!

Нож с трудом пробивает корку, и раздается треск. Трещина бежит впереди лезвия.

— Хорош! — говорит отец, любуясь на качающиеся на столе половинки. — Попробуй! — И отрезает огромный ломоть.

Арбуз необыкновенно сладкий.

— Ой, как вку-у-усно! — Мария стонет от удовольствия и от ломящего зубы холода, и отец просто счастлив.

Он вырезает самый лучший кусочек — сахаристую сердцевину — и подает дочери. Мария переполнена сладким холодом, от которого начинается приятный озноб. Она прыгает в постель. Сейчас свернется калачиком, подберет коленки к подбородку, согреется... Как здорово засыпать в тепле и сытости! А впереди целая жизнь — яркая, как летний солнечный свет...

Но почему же никак не согреться? Случилось что-то страшное — вокруг нее не тепло, а жуткий холод. Он становится все сильнее, достает повсюду, вот уже пробирается к ногам... И что-то еще тревожит Марию: какой-то отвратительный запах. У них в доме никогда такого не было! Она просыпается — и вываливается из счастливого сна в ужасное настоящее.

Уже две недели она в селе Отважном — вернее, в поселке нефтяников с тем же названием — и вместе с другими трудармейками копает траншею под нефтепровод.

Ночь. Сквозь маленькие окна бревенчатого барака светит луна. Ее саму не видно, она разбилась во льду замерзших стекол на множество разноцветных огоньков и освещает ряды двухэтажных лежанок, сбитых из досок. Лежанки расположены так же, как в плацкартном вагоне места в смежных купе, только там между ними стенка, а здесь ничего нет, и вши с одной головы свободно путешествуют на соседнюю.

В бараке спят около ста женщин, может, чуть больше — три бригады. Кто храпит, кто стонет, кто бормочет во сне. В дальнем конце большая печь с железной трубой, которая тянется под потолком к середине барака и, переломившись коленом, выходит через потолок наружу.

На каменные стенки печи, как солдаты на приступ, карабкается сто с лишним пар валенок. Они сушатся с вечера, и, наверное, один коснул-



ся плиты или дверки — от этого и разбудивший Марию запах горелой шерсти. Дрова в печи догорели, и в бараке холодно. Никому не хочется скинуть злосчастный валенок, ведь для этого надо вылезать из-под шуб, пальто и другого тряпья. Каждая надеется, что валенок не ее, и жадно старается сохранить тепло, чтобы его хватило на завтра, не выдуло без остатка лютым ветром, не выжало морозом. А Мария уже потеряла уйму этого драгоценного тепла. Во сне ее пальто сползло и ноги вылезли из-под шали. Она поправляет все это, натягивает пальто поверх головы, оставляя для дыхания узкую щель у самого носа.

«Мамочка, как мне плохо! Как все болит, и какие кровавые мозоли у меня на руках... Я еще ни разу не выполнила норму и получаю только четыреста граммов хлеба. И ем я из первого котла. Ты даже не знаешь, что это значит — есть из первого котла. Если бы ты знала, как мало из него дают! Как хочется есть...»

Марии становится отчаянно жаль себя. Она плачет — тихо, чтобы никого не разбудить. Она понимает, что это плохо, что надо спать, ведь сон — такая же ценность, как хлеб и тепло, но ничего не может с собой поделаться. Лицо и руки становятся мокрыми, от слез замерзают щеки и нос, втягивающий наружный воздух.

«Мамочка, если бы ты знала, как прав был Йешка! Он ничуть не соврал. Здесь все хотят есть, а я больше всех».

Потихоньку Мария опять согревается, успокаивается, и приходит тупой тяжелый сон, на этот раз без сновидений.

Она просыпается от резких металлических ударов. Уже горит свет, и бригадир Фрида Кениг кричит:

— Подъем, подъем! Вставайте!

Мария встает, сразу надевает пальто, чтобы не выпустить из него ночное тепло. С ужасом смотрит на свои руки. Как такими руками долбить киркой смерзшуюся в камень землю?

Снизу на нарах тетя Эмма. Она замечает, как Мария разглядывает свои руки.

— Allmächtiger Gott! Geb mol dej Hände... Lieber Gott!<sup>13</sup> Ты же без рук останешься! — говорит она, доставая из своих многочисленных карманов платочки разных размеров. — Setz dich doch!<sup>14</sup> — приказывает, видя, как Мария переступает с ноги на ногу на ледяном полу.

Она перевязывает Марии руки, да так ловко — повязки не съезжают и надежно прикрывают стертые места.

Справа собираются на работу Ирма и Элла Шульдайс. Ирма почти на восемь лет старше сестры. У нее темно-каштановые волосы. По сравнению с тоненькой светлой Эллочкой она кажется широкой, сильной. За сестрой ходит так, как велела мать: кутает в шаль, повязывает шарф, придирчиво оглядывает, не осталось ли щелочки, куда мог бы пробраться мороз. Наконец достает кусочек хлеба — кладет ей в руку: покушай. Это она на себе сэкономила. Первое время Элла отказывалась, но потом стала брать: все равно ведь не отстанет.

<sup>13</sup> Всемогущий Боже! Дай-ка свои руки... Милый Боженька!

<sup>14</sup> Садись же!

А Мария свой хлеб съела еще вчера. Так и не смогла удержаться.

Хлебный паек они получают в столовой после работы. По совету тети Эммы Мария разделила его на три части: на вечер, утро и обед.

По дороге в барак она нащупала в кармане вечернюю порцию, аккуратно отщипнула кусочек и стала медленно его рассасывать. Потом не выдержала, отщипнула другой и тоже съела. Когда пришли к бараку, от порции оставалось совсем чуть-чуть и не было смысла беречь ее на потом. «Ничего, — думала Мария, — удержусь. Не буду сегодня есть остальные кусочки». Но не удержалась, как и в предыдущие дни.

В бараке холодно-холодно, дневальные лишь недавно начали топить. От дыхания изо рта идет пар. На плиту поставили воду. После работы кто чем занимается: кто подметает пол, кто обустраивает свое место на нарах... Все что-то делают, копошатся, но Мария чувствует, что думают только об одном — о хлебе, который лежит в их пальтишках, шубейках, кофточках, согреваемый телами, самая большая ценность на свете, за которой сама жизнь.

Наконец на плите закипела вода, по бараку расплозлось тепло. Достали из своих походных мешков кружки, расселись вокруг столов, а больше по своим местам на нарах, вынули пайки. Мария села на лежанку рядом с тетей Эммой. А напротив — Эмилия Бахман. Они едят. Неудобно не есть, когда все кругом едят. Ладно! Хлеб на завтрак оставлять не обязательно: суп и ложку каши можно съесть и без хлеба. Зачем мучиться?

Мария вынула второй кусок и стала есть медленно, с наслаждением, запивая хлеб кипятком и стараясь растянуть удовольствие. Ну вот и всё. Назавтра остался маленький кусочек — третья часть пайка. Но вечер длинный, а заняться нечем. И думать невозможно ни о чем другом, кроме еды.

— Э-э-эх! — восклицает наконец самая нетерпеливая трудармейка. — А я и завтрашний хлеб съем! Кто со мной?

Многие не выдержали. Не научились терпеть. И Мария тоже съела весь хлеб, который должна была оставить на следующий день, то есть на сегодня...

Уже хлопают двери: трудармейки выходят по своим делам. Возвращаются, впуская в барак клубы пара из тамбура.

— Холодно сегодня. Градусов двадцать пять!

Ну вот, руки перевязаны, теперь к печке — обуваться. Валенки у нее хорошие. Еще дома, в Павловке, их скатал мамин брат дядя Карл. Он мастер на все руки: и корзинки плел (одну из них — с пасленом — она видела сегодня ночью в счастливом сне), и валенки катал. Сейчас он тоже в трудармии, а где — бог знает.

Обувь почти вся разобрана. Осталось десятка полтора пар. Но где же ее валенки? Вот тетя Эмма надела свои — широкие, грубо подшитые.

— Тетя Эмма, моих валенок нету!

— Да что ты! — говорит тетя Эмма. — Куда они могли пропасть? Не эти?

— Нет, это Эллы, это Ирмы... Моих нет!



Наконец разобраны все валенки. На печи одна пара. Но какая! У правого валенка в подошве огромная дыра, обрамленная коричневой кромкой жженой шерсти. Так вот какой валенок тлел сегодня ночью! А Мария не думала не гадала, что эта вонь касается именно ее!

— Тетя Эмма! Ведь подменили валенки! Мои взяли, а горелые оставили! Как же я без валенок? — заплакала Мария, осознав лютую отчаянность своего положения.

— Женщины! Ну-ка, подождите! Не выходите никуда! — на весь барак закричала тетя Эмма. — Признавайтесь, кто взял валенки Марии?

Никто не признается. Подошла Ольга Цицер. Взяла горелые валенки, подняла высоко и спросила властным голосом:

— Кто знает, чьи это валенки?

Заинтересовались несколько человек.

— А что случилось, Мария? Подменили? — подошла Эмилия Бахман. — Это они, наверное, сегодня ночью горели.

Пожилая женщина в ватнике посмотрела и сказала неуверенно:

— Я такие валенки видела у Инны Андерс. Но точно не скажу. Может, они, а может, нет. Не знаю... Как будто они. А может... Ой, зря я сказала!

— А где Инна?

— Послушайте! Кто видел Инну?

Женщины-трудармейки пожимают плечами.

— Вот только что здесь была...

— Вышла, назад еще не возвращалась. Кажется, она сегодня дневальная.

— Слушайте меня! — командует Ольга Цицер. — Выставляйте ноги! Мария! Смотри, нет ли на ком твоих валенок!

— Господи! Неудобно-то как...

— Неудобно в дырявом пиме по морозу ходить, — отрезает Ольга.

Женщины охотно показывают обутые ноги — видно, что скрывать им нечего. Но все ли в бараке — попробуй проверь!

А тут уже командуют:

— Первая бригада, выходи!

Трудармейки выходят из барака, строятся на улице.

Вслед за первой выходит и их вторая бригада. Мария торопливо захихивает в валенок шерстяной платок и вприпрыжку бежит за своими. Над селом черное небо и полная яркая луна, а слева, низко над соседними бараками, огромная голубая Венера — Утренняя звезда. Впереди колыхается темная масса — это уходит первая бригада.

— Вторая бригада, стройся! — командует Фрида Кениг. — Рассчитайсь!

— Первая, вторая, третья... тридцать шестая... тридцать девятая.

— Вторая бригада, в столовую шагом марш!

— Может, Инна еще в столовой, — успокаивает Марию тетя Эмма.

Мария идет словно хромя, стараясь как можно быстрее переносить вес с правой ноги на левую. Вскоре она понимает, что плотный войлок валенка сильно отличается от шерстяной ткани мамино платка (в самый последний момент прощания в землянке мать сняла его с себя и отдала ей).



Несколько шагов — и стопа уже чувствует холод скрипящего под ней снега, нетронутые волны которого в лунном свете вспыхивают холодными искрами по сторонам натоптанной дороги.

Инны в столовой уже нет. Позавтракала и ушла со второй дневальной за водой и дровами. За дровами ходить — не слаще, чем копать траншею. Это в первые дни все старались остаться в бараке на дежурство. Потом ползали в лесу по глубокому снегу, порубили молодые деревья на дрова, потаскали хворост, облились водой, вытаскивая ведра из колодца, намерзлись — и решили дневалить по очереди.

Мария получила миску супа, в другую миску — ложку каши. Суп совершенно пустой. Съешь, а голод тот же, с каким садилась за стол. Его ценность только в том, что он горячий. Мария не ждет, пока остынет, не дует на ложку, а старается проглотить, едва не обжигаясь, чувствуя, как течет по телу тепло, пробираясь до самых малых клеточек намерзшего тела.

Но сегодня голод отступил. Мысли только о валенках. Мария старается не пропустить ни одной из мелькающих перед глазами пар и надеется на чудо. Но ее валенок нет.

— Вторая бригада! — доносится голос Фриды. — Давайте на работу! Строимся на улице.

— Хочешь идти? Не будь душой. Ты же ногу отморозишь!

— Как же не идти? Посадят!

— Не посадят, — подходит Ольга Цицер. — Пойдем скажем Фриде.

На улице все еще ночь. Небо на востоке едва заметно посветлело, но луна горит в вышине все так же ярко.

— Ой, попадет мне! — отвечает Ольге и тете Эмме бригадир Фрида. — Мне же надо за нее отчитаться. Если я не поставлю Марии выход — ей не дадут паек, а если поставлю — значит, надо ей приписать кубометры за чей-то счет.

После недолгих уговоров соглашается:

— Ладно, придумаю что-нибудь. Доложу, что отпущена из-за того, что одежда пришла в негодность.

— Смотри же, — напутствует Марию Ольга, — увидишь Инну, сразу требуй валенки!

— Может, не она?

— Она, больше некому. Видишь, она убегает от тебя.

Бригада уходит к трассе. Сначала зайдут в инвентарную, получат по кирке и лопате. Потом к траншее. Там уже горят смола и дрова, отогревая замерзшую землю. Если присмотреться, за поселком видны всполохи пламени. Мария хромает в барак.

В бараке она одна. Села на свое место на нарах, поджав ноги. Тишина до звона в ушах. Дневальные еще не пришли. Да и не должны были: хорошо, если к обеду вернутся. С дровами на стройке плохо. Заранее никто не позаботился.

На душе у Марии муторно до ужаса. «Лучше бы я сегодня землю копала!» Но время идет, и ему нет дела до Марииных терзаний. Вот и совсем рассвело.



Хлопнула дверь, заскрипели шаги в тамбуре. Мария вскочила. В клубах морозного пара вошла в барак сама начальница колонны Ольга Ивановна — в тулупе, голова укутана толстой шалью. Увидела Марию, уставилась удавом.

Мария не выдержала:

— Ольга Ивановна, я...

— Was?! — перебила та тоном, который не сулил Марии ничего хорошего. — Du bist nicht auf der Arbeit?!<sup>15</sup>

— Ольга Ивановна... — торопится Мария. Ей кажется, что чем быстрее она объяснит свое горестное положение, тем вернее ее поймут. — Ольга Ивановна, у меня украли валенки. А мне вот эти оставили... — Мария показывает начальнице дырявый пим. — Я... я ведь...

— Hab ich dich gefragt, warum du nicht auf der Arbeit bist?!<sup>16</sup> Если не хочешь в карцер — марш на работу, и чтобы через пять минут тебя тут не было!

Мария поспешно поправляет платок на дырке, надевает валенки и в ужасе бежит вон из барака на мороз, к траншее.

Солнце между тем взошло. Вздыхающаяся над селом Могутова гора ослепительно сверкает заиндевелыми лысыми скосами, белеет лесом, который растет на ее макушке и необыкновенно красиво вырисовывается на фоне голубого неба. Но Марии некогда на это любоваться, не для нее сегодня красота. Все, что ей сейчас неоспоримо принадлежит, — это дырка в валенке и пробирающийся к стопе мороз, да еще голод, о котором она ненадолго забыла.

Траншея уже выбралась из Яблоневого оврага и протянулась за Отважное. Путь не близкий.

Пока Мария бежит к траншее, платок несколько раз выбивается из дыры и начинает волочиться за валенком. Приходится останавливаться, разуваться и впихивать его обратно.

Над траншеей стелется дым от костров и пар от дыхания. Равномерно взлетают и опускаются со стуком и звоном кирки, шир-шах — ширкают лопаты, выбрасывая выдолбленный грунт и камни.

— Что Ольга — шибко разорялась? — встретила племянницу тетя Эмма.

— Ой, тетя, я ногу немного погрею...

— Давай-давай, я тебе помогу.

Мария сняла валенок, протянула ногу к огню. Тетя Эмма стала колдовать над валенком.

— А откуда вы знаете, что меня Ольга Ивановна прогнала?

— Мы ее встретили по дороге. Она как будто чувствовала, сразу потребовала: «Бригадир! Доложить, все ли на работу идут!» А Фрида испугалась, не стала тебя покрывать. Говорит: «Один трудармеец отсутствует, потому что обуви не имеет». Ольга давай орать. Потом сказала: «Я ей сейчас покажу обувь!» Ведь тоже немка, но ей нас нисколько не жаль.

— Что ж, тетя Эмма, она за свое место боится. Это же не землю долбить!

<sup>15</sup> Что?! Ты не на работе?!

<sup>16</sup> Разве я тебя спрашивала, почему ты не на работе?!

— А! — махнула рукой тетя Эмма. — Человек такой. Sie hat Haare auf die Zähne<sup>17</sup>. Надевай-ка!

Мария всовывает ногу в валенок. Тетя Эмма достает из кармана веревку, обматывает дыру, закрепляя каждый виток на голяшке.

Мария берет кирку и начинает долбить отмеченный участок. Норму ей сегодня, конечно, не выполнить: она сильно отстала от своих. Те уже почти по колено углубились в землю. Хорошо, хоть руки сегодня не так болят, как вчера. Тетя Эмма перевязала их плотно и надежно. Да и рукавицы — тьфу-тьфу! — хорошие.

Через полчаса она разогрелась, даже пот выступил под шалью. Отложила кирку и взялась за совковую лопату. Сейчас нужно обозначить кромку траншеи. Мария забывается, руки механически поднимают и опускают кирку. Перед глазами мелькают камни, комья выворачиваемой земли...

Порыв ветра возвращает ее к действительности. С запада как-то незаметно напоззли тучи, закрыли солнце. Мороз стал мягче. Как нога? Вроде терпимо. Можно опять погреть у костра, но боязно нарушить тети-Эммину конструкцию. Лучше потерпеть.

И грунт стал полегче. Или только кажется? Мария начинает рубить киркой изо всей силы. А вот этого не надо! Мышцы быстро наливаются тяжестью. Приходится отдыхать. Нет, нужно долбить размеренно, не быстро, но и не слишком медленно. Поймать ритм. Она ведь уже несколько дней назад это поняла.

Ударили в рельс — обед. Сколько сделала? Немного — даже трети нормы нет. А сейчас идти в столовую. Говорят, что скоро их переведут в барак, что построен в четырех километрах отсюда. Тогда они будут получать котловое довольствие и дневальные будут сами варить и завтрак, и обед, и ужин.

Начался снегопад. Лес на горах едва виден сквозь белую завесу.

В столовский барак нанесли снегу. Он тает на некрашеном полу. Мария прошла к столам, стараясь ступать на уцелевшую пятку валенка, чтобы не намочить свою эрзац-подошву. Села на скамейку и, разувшись, принялась растирать ногу. Слава богу, не подморозила ее. Когда утром Ольга Ивановна выгнала Марию из барака, та была в полном отчаянии, думала: пропала нога. Оказалось, все не так уж страшно. Полдня продержалась. Стопа после растирания отошла, потеплела.

Рядом верная спутница — тетя Эмма:

— Ну как ты?

— Ничего, — простонала Мария.

Тетя Эмма пошла получать свою и ее порции. Они обе не выполняют норму, поэтому тетя Эмма идет к столу, где дают обед по норме номер один. Это называется «питаться из первого котла». Второй котел — для тех, кто выполняет норму. Таким положено в полтора раза больше картошки и овощей, мяса или рыбы — девяносто граммов против их шестидесяти, а крупы или макарон — аж в два с половиной раза больше: сто граммов против сорока. Есть еще третий котел, он для стахановцев — тех,

<sup>17</sup> Ведьма, очень злая женщина (буквально: «У нее волосы на зубах растут»). — Прим. авт.



кто перевыполняет норму более чем на пятьдесят процентов. Но у них в бригаде таких нет. Выбрать за смену больше шести кубометров мерзлой каменной земли просто нереально.

На обед тот же суп, что был утром, только дают побольше: очень жидкий, с картошинками и капустными листиками. В миске и положенные Марии шестьдесят граммов мяса — косточка с жилками и связками. Дома такие собакам выкидывали. Зато сегодня еще кусочек хлеба дали! И чай, кажется, сладкий... Впрочем, не разобрать.

Мария ест и в то же время внимательно осматривает проходящие мимо ноги. Валенки в галошах, подшитые валенки, растоптанные вдрызг... и вдруг — изящные чесанки, как у нее! Вздогнула, но не обрадовалась — испугалась: что делать? Она страшно боится ругаться, даже за свое. Быстро успокоилась: это Ольга Цицер. У нее такие же валенки, как были у Марии до сегодняшнего утра, только побольше размером.

— Ненавижу эту Ольгу Ивановну! Посмотрела, как она пишет, — ошибка на ошибке: «Прашли за день 1050 метаров»... Дура неграмотная, ничтожество, а власть над нами имеет такую, будто мы ее рабы! Всех нас уничтожит, и ничего ей за это не будет.

— Ее тоже проверяют, — сказала Мария, по привычке входя в положение другого человека.

— Она до войны была у нас уполномоченной по коллективизации. Вызвала отца. «Я тебя, — говорит, — насквозь вижу. Ты хитрый враг советской власти. Но я выведу тебя на чистую воду. Если завтра не вступишь в колхоз, *werde ich dir Max und Moriz zeigen!*<sup>18</sup>» Немало наших тогда в Сибирь отправила. И здесь она такая же.

— Ja... *Der Wolf verliert das alte Haar, aber nicht die alte Nupe*<sup>19</sup>, — задумчиво замечает тетя Эмма.

— У меня отец тоже сначала не хотел идти в колхоз, а перед войной уже не жалел, — говорит Мария. — У нас был хороший колхоз, богатый.

Как не хочется снова выходить на холод! Конечно, после такого обеда никакой сытости нет, будто и не ела. Сесть бы в уголке и подремать, а уже опять кричат:

— Первая бригада, выходи! Вторая бригада, выходи!

На улице метель, но тепло. Неизвестно, что лучше — мороз или снег. Снег набивается в дырку сквозь валенок, тает там. Нога промокла. Пришли к трассе, Мария сразу кинулась к костру — греть. Потом копать. Опять машинально: поднять кирку, опустить, поднять, опустить... Взять лопату: шир — наполнила; шах — выкинула из ямы вверх. И так до вечера.

Незаметно стемнело. У Марии яма глубиной метра полтора. Земля уже не мерзлая, копать стало легче.

— Ну что, Мария? Как дела? — это бригадир Фрида. — Давай помогу план выполнить.

— А вы свой выполнили?

— Да-а! Я перевыполнила уже! — Фрида хватает кирку.

<sup>18</sup> Я тебе покажу Макса и Морица! (То же, что русское: «Я тебе покажу кузькину мать!»)

<sup>19</sup> Да... Волк теряет старую шерсть, но не старые повадки.

Руки у нее длинные, сильные. Один удар киркой — выворотила огромный камень, второй удар — Мария две лопаты земли выбрасывает. Так ловко получается у Фриды! Вслед за бригадиром еще и Эмилия Бахман с Ольгой Цицер пришли помочь.

— Так, Мария, — радостно говорит Фрида, — есть сегодня план! Вторая бригада, конец рабочего дня! Становись в строй! На ужин шагом марш!

— Еще один день прошел! — говорит тетя Эмма. — Как нога, не замерзла?

— Замерзла, но не отморожена. Еще чувствую.

Уже совершенная ночь. Метель. На небе ни звездочки. Даже Жигулевских гор не видно. Если бы не огни Отважного, была бы полная тьма.

Мария с тетей Эммой плетутся в самом конце строя. Ранее прошедшие бригады уже протоптали дорогу, но снег все равно рыхлый — набиивается в рваный пим.

Но вот и столовая. Дошла!

Мария, как и в обед, бросается на скамью, срывает валенок. Все мокрое: подложенный платок, носки, сама нога. Тискает ступню, стараясь вобрать из нее в ладони как можно больше холода.

— Инна! Ну-ка, иди сюда! — раздается громкий и повелительный голос Фриды. — Посмотри, Мария, твои валенки?

— Смотри! — равнодушно говорит Инна. — С чего бы на мне были твои валенки?

Мария видит, что валенки точно не ее. Размер подходит, но не такие валенки — помятые какие-то, а главное, у нее красным карандашом на каждом валенке была тщательно выписана буква «М», а на Инниных валенках ее и следа нет.

— Нет, не мои, — говорит она, чувствуя огромную вину перед Инной.

— Точно не твои? — спрашивает Фрида.

— Точно.

Пока Мария ест свою кашу из первого котла (то, что она выполнила план, на кухне станет известно только завтра), Фрида получает карточки на хлеб для своей бригады. Марии впервые выдают шестьсот граммов. День, начавшийся страшно, заканчивается не так уж плохо.

Вечером в бараке она вызывается мыть пол с дневальными: под видом мытья можно заглянуть под все нары. Но валенки из родного дома, любовно скатанные для нее дядей Карлом, пропали навсегда. Как сказали бы в Кочках, «будто мга их съела».

## Сны и реальность

Среди немногих радостей трудармейской жизни — проснуться ночью и увидеть, что небо еще черно, луна и звезды горят — значит, можно спать дальше.

И снится Марии, что она тринадцатилетняя девочка. Лето. Они с братом Андреем — в Энгельсе. Брат учится там в музыкальном техни-



куме. Он прекрасно играет на кларнете, и его уже взяли в оркестр. Сегодня у него особенный день. Вечером их оркестр выступает со знаменитыми гостями. В Энгельс приехали Эрнст Буш и Эрих Вайнерт<sup>20</sup>. Они коммунисты, и когда к власти пришел Гитлер, бежали из Германии. Андрею очень хочется, чтобы кто-нибудь из родных видел его выступление. Ему можно пригласить на концерт кого-то одного, и он специально приехал за сестрой.

И вот Мария сидит в актовом зале техникума. Вокруг нее празднично одетые люди — в основном это студенты, их родственники, преподаватели. Занавес раздвигается, в глубине сцены хор, а перед ним на стульях — оркестранты с музыкальными инструментами. Мария не сразу узнает Андрея: никогда не видела его таким торжественным.

Нарастая, поднимается целая буря аплодисментов. Выходит стройный светловолосый мужчина в сером костюме — Эрнст Буш и с ним поэт Эрих Вайнерт — крупный, с густой, начинающей седеть шевелюрой. Они приветствуют зрителей жестом всех антифашистов: «Рот Фронт!»

— Рот Фронт! — восторженно отвечает зал.

Первым берет слово Вайнерт. Он рассказывает о фашистской угрозе в Европе, о путче в Испании, поддержанном Германией и Италией, о терроре, развязанном гитлеровцами в самой Германии, и вожде немецких коммунистов Эрнсте Тельмане, уже четыре года томящемся в фашистской тюрьме.

— Наше дело говорить об этом языком искусства. Сейчас Эрнст Буш исполнит для вас «Тревожный марш».

Звучит песня, сначала похожая на раскаты грома, а потом — на призывный и настойчивый набат. Голос певца требует: «Услышьте!»

Es flüstern die Kohle — und Stahlproduzenten.  
 Es flüstert die chemische Kriegsproduktion.  
 Es flüstert von allen Kontinenten:  
 «Mobilmachung... gegen die... Sowjetunion!»<sup>21</sup>

А в конце зал в едином порыве подхватывает припев:

Pflanzt eure roten Banner der Arbeit  
 Auf jede Rampe, auf jede Fabrik,  
 Dann steigt aus den Trümmern  
 Der alten Gesellschaft  
 Die sozialistische Weltrepublik!<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Эрих Вайнерт (1890—1953) — немецкий поэт-антифашист, переводчик и общественный деятель. Эрнст Буш (1900—1980) — немецкий актер театра и кино, певец.

<sup>21</sup> То шепчут военных магнатов агенты,  
 То шепчут зачинщики новой войны,  
 Шепот идет со всех континентов:  
 «Мобилизация... против... Советской страны!» (нем., перевод автора).

<sup>22</sup> Знаменем красным рабочим украсьте  
 Каждую фабрику, каждый карниз —  
 И встанет из праха  
 Отжившего мира  
 Всемирной республики социализм! (нем., перевод автора).

Какой счастливый был вечер! Вспомнили и «Песню рабочего фронта», и «Левый марш», и «Песню болотных солдат»... Пели уже без оркестра, поднявшись из зала на сцену и взявшись за руки. Каждый старался подойти к Бушу и Вайнерту и сказать им хоть несколько слов. И Марии хотелось, чтобы антифашисты в Германии знали, как она их любит... Нет, не то... Как она ими восхищается... Нет, тоже не так. То, что она чувствует, вообще не передать словами! Ей хотелось сказать им, какое это счастье — жить на одной земле с такими замечательными, умными и мужественными людьми и вставать с ними плечом к плечу на зов набата...

— Вставайте, вставайте, вставайте! Подъем!

Ах, боже мой! Ночь кончилась, и начинается новый мучительный день: мерзнувшая нога в дырявом валенке, четыре кубометра стылой земли... Какое горе!

Трудармейки уже вылезали из ночных гнездышек, которые обмяли, согрели своими телами.

Мария достала запасную пару носков и надела оба на правую ногу, а шерстяной платок не подложила вместо подошвы, а обмотала им ногу как портянкой. Получилось немного тесно, но подкладка уже не вывалится из дыры. Приходится экспериментировать, к обеду будет видно, что лучше.

С утра ей повезло. В столовую она зашла, хромая по приобретенной вчера привычке — чтобы меньше наступать на дыру.

— Ногу, что ли, повредила? — спросила молодая женщина, разливавшая суп.

— Нет. У меня дыра в валенке — половины подошвы нет.

— Ого! Да как же ты ходишь?

— Да как-то так... Плохо хожу.

— Подожди, сейчас я к тебе подойду. Светка, побудь за меня минутку! — обернулась женщина в глубину раздаточной.

— Меня Галей зовут, — сказала она, подходя. — Ну-ка, покажи пим... Да ты, считай, босиком по снегу ходишь! Знаешь, лишних пимов у меня нет, а галоши я тебе принесу. Старые, правда, но целые. А ноги у нас с тобой одного размера? Дай-ка, померяемся... Ну, точно, одинаковые — глаз у меня верный. Ты потерпи до обеда, а в обед я тебе принесу. Вот сейчас вас покормим, и сбегаю. В галошах тебе способней будет. И еще подруг своих поспрашиваю: может, найдутся у кого старые валенки.

Есть еще добрые люди на свете — это первая удача, а вторая — Мария получила суп и кашу по второй норме. И суп сегодня больше похож на суп, а не на баланду, потому что Галя со дна зачерпнула ей погуще.

Когда шли на работу, Мария подошла к Фриде.

— Тетя Фрида, спасибо! Я вам очень благодарна. Вчера как-то неудобно было...

— Не за что, Мария. Послушай, что я тебе расскажу. Еще совсем девчонкой я заболела оспой. Из-за этого у меня такое лицо. Я думала, что никогда не выйду замуж, и пошла учиться в Энгельс на трактористку. Но потом встретила хорошего человека, и он меня увез в Сталинград. Там я стала работать обкатчицей на тракторном заводе.



В тридцать третьем году меня послали в Унтервальден, в командировку — чтобы я на МТС поучила мужиков работать на тракторе. Вечером я села на пароход, а утром надо было сходить. Я вышла на палубу со своими вещами. Села на чемодан и решила позавтракать. Развязала мешок, достала оттуда хлеб и кусок копченой колбасы: на заводе давали неплохой паек. Ела и не смотрела ни на что вокруг.

Вдруг кто-то сказал по-немецки:

— Moder, kukt mol, was die narbig Sau frisst! Moder, die frisst Brout mit Worscht!<sup>23</sup>

Я посмотрела и увидела девчонку лет десяти. Мария, какая она была худая! У нее были кости, обтянутые кожей, вместо лица и вот такие большие голодные глаза... Рядом стояла старушка и смотрела на Волгу.

— Moder, der narbig Sau schmeckt's gut<sup>24</sup>, — говорила девчонка, глядя на мою еду.

У меня кусок застрял в горле, я чуть не подавилась. Отвернулась, чтобы они не увидели мои слезы. Потом вытерла глаза, достала кулек с леденцами, отрезала полбулки хлеба, переломила пополам круг колбасы, подошла к этому ребенку и вложила еду в холодные ладошки. И говорю:

— Da, Kind, und lass dir's grad so gut schmecken, wie's der narbig Sau!<sup>25</sup>

— Боже всемогущий, вы немка? — воскликнула ее бабушка. — Вы все поняли? Простите нас!

— Я не обиделась, — ответила я. Потом обняла девочку и сказала: — Und dass ich narbig bin — das ist nicht meine Schuld — so wollte es der Liebe Gott<sup>26</sup>.

Мария, я вот почему тебе это рассказываю... Ты такая же черноволосая, темноглазая и худая, как та девчонка. И по возрасту ей ровесница. Давно хотела спросить: это, случайно, была не ты?

— Нет, тетя Фрида. Мы в тот год на пароходе не плавали.

— Дай бог, дай бог, чтобы она выжила!

Рабочий день начался так же, как и все предыдущие дни. Но когда рассвело, Мария вдруг увидела, как далеко они ушли от Отважного. Домики казались совсем маленькими, почти игрушечными. Зато панорама Жигулевских гор развернулась во весь горизонт: и гора Отважная, и хребет Могутовой горы с утесами Два Брата, а справа — Лысая гора и село Моркваша под нею.

Там, куда они тянули трассу, ясно виднелись временные бараки для их колонны. Говорили, что в Александровке работают трудармейцы-мужчины и продвигаются дальше на юг, к Сызрани, а оттуда им навстречу прокладывают нефтепровод другие отряды. И скоро пойдет жигулевская нефть на перерабатывающий завод — и полетят на бензине наши самолеты, помчатся на солярке наши танки. Разобьют разбойничьи орды, придет с фронта Андрей, и вся семья Марии вернется домой...

<sup>23</sup> Бабушка, посмотри, что жрет эта рябая свинья! Бабушка, она жрет хлеб с колбасой!

<sup>24</sup> Бабушка, а рябой свинье вкусно!

<sup>25</sup> На, дитя, и пусть тебе будет так же вкусно, как рябой свинье!

<sup>26</sup> А что я рябая — это не моя вина, так захотел Бог.



Когда окончательно рассвело и над землей поднялось солнце, стали возить трубы и укладывать рядом с траншеей. Трубы были диаметром около метра и входили в траншею почти впритирку. Там, где они сваривались между собой, были выкопаны специальные ниши — карманы для сварщиков. Но рассматривать все это было некогда, надо выполнять норму.

На обед шли почти полчаса.

Галя выполнила свое обещание и принесла галоши.

— Ну-ка, примерь.

Галоши, действительно, были не новые, но подошли.

— Спасибо тебе, Галя, ты меня так выручила!

Раздатчица смутилась:

— Было бы за что! Они нам все равно не нужны. Мамкины галоши были, да она недавно померла. Как получила в один день две похоронки: на папку да на Ванюшку, брата моего, — так почернела вся, и через месяц самой не стало.

Как много хотелось сказать на это Марии! Больше всего — оправдаться в чем-то большом и важном. Но в чем? Объяснить, что ее брат Андрей с самого начала войны в Красной армии и она не знает, жив ли он? Что если он погиб, то погиб и за Галю в том числе?

Понимая умом, что ни в чем не виновата, сердцем Мария чувствовала ужасную вину за всех немцев и стыд за то, что сама немка. Поэтому она ничего не сказала Гале.

В галошах, конечно, было намного лучше, но нога все равно мерзла.

## Чудесное спасение

В тот же день Мария чуть не погибла.

На их участке заканчивали трубоукладку. Все шло прекрасно. Но одна из последних труб легла на траншею и осталась сверху. Сколько ее ни толкали, ни стучали по ней, она не желала проваливаться и ложиться в предназначенную ей канаву.

— Безобразие, халтура! — возмущался бригадир укладчиков. — Не выдержали размера! И карман для сварщика вырыли не там, дураки!

Как на грех, подъехала Ольга Ивановна. Она в последнее время редко появлялась у траншеи, а тут на тебе — вылезает из кошевки<sup>27</sup>!

— Сейчас, сейчас! Подождите, товарищ начальник, сейчас исправим! Девчата! Кто копал этот участок?! — завопила она на самой высокой ноте. — Чья бригада?

— Наша, — созналась Фрида.

— Кто из вашей бригады копал?

— Да кто ж сейчас скажет? Мы свои подписи там не ставим.

— А вот она и копала! — закричала Ольга Ивановна, указывая на Марию. — Я давно замечаю, что ты стараешься вредить! Норму не выполняешь, вчера на работу не вышла. Я тебе покажу! Марш под

<sup>27</sup> Кошёвка, кошева — легкие парадные сани.



трубу — пробеги и посмотри, где она держится! Дождешься у меня... Под суд пойдешь за вредительство!

Мария тут же вспомнила тюрьму в Кочках и затряслась всем телом.

— А если труба упадет на нее? Du bringst ja s' Mädels ums Leben!<sup>28</sup> — Фрида от волнения перешла на немецкий.

— Молчать! Все в карцер пойдете! Всех зарплаты лишу! В трибунал буду писать! Марш под трубу, мерзавка!

— Тетя Фрида, я пойду, — сказала Мария, бледная как снег. — Я сейчас...

— Подожди, Мария! Подожди... мы тебя спустим. Ирма, неси веревку!

Вдвоем женщины медленно опустили Марию вниз. Встав на дно, она отвязала веревку, которая, словно испуганное живое существо, тут же выскочила из траншеи. Мария осталась одна и осмотрелась. Труба нависла низко-низко. Согнувшись пополам, Мария полезла под нее. Там было темно как ночью. Свет впереди обозначал конец трубы, а свет сзади Мария заслоняла собой. Она наступила в темноте на камень, невольно чуть выпрямилась и сквозь шаль ощутила затылком металлический холод. Это был холод смерти. Он пробрался в самое сердце, растекся под кожей и жег как огонь. Мария судорожно глотнула, и в горле хрустнуло, потому что оно было сухим, как дерево. Машинально посмотрела налево — просвет между трубой и краем канавы, посмотрела направо — то же самое. Шаг вперед, взгляд налево, взгляд направо, еще шаг вперед. Еще шаг... А может — все не так страшно, может — обойдется? Взгляд налево, взгляд направо, шаг вперед...

И вдруг Мария с запредельным ужасом поняла, что раз везде есть просвет, значит, труба держится на честном слове и в любой момент, даже прямо сейчас, может рухнуть и раздавить ее, как мышшь! И тут же увидела впереди квадрат тусклого вечернего света. Отчаянным прыжком она метнулась в этот квадрат — а позади нее ухнула вниз труба.

Выдавленный из траншеи воздух рванул пальто, обдал Марию глиняной пылью. Откуда-то издали слышались крики, визг, кто-то истерически рыдал. Она стояла, прижавшись к стенке кармана, и боялась шелохнуться, даже когда кто-то пробежал сверху, совсем рядом.

— Она здесь, здесь! — донесся голос — девичий, звенящий. Мария не сразу вспомнила, чей он. А, Эллочка...

— Живая? — густой, низкий голос. Это тетя Эмма.

— Живая! Стоит... Сама стоит!

Прибежала вся бригада. Загалдели все разом:

— Wahrhaftig lebendig!<sup>29</sup> Мария! Господи Иисусе! Мария... Gott sei dank!<sup>30</sup>

Вдруг твердый мужской голос — бригадир укладчиков:

— Расступись, бабье! Ишь, стрекочут, бестолковые! Ты, дура-девка, вылезать-то собираешься? Ошалела, что ли, от испуга? На трубу за-

<sup>28</sup> Ты же погубишь девчонку!

<sup>29</sup> Действительно, живая!

<sup>30</sup> Слава богу!

лезь... Брюхом ложись... Ногу закинь. Так... Теперь вставай. Давай руку! Хоп! Ну вот, до ста лет жить будешь! День-то запомни — можешь праздновать. Второй раз на свет родилась.

Подошла Ольга Ивановна. Все замолчали, старались не встречаться с ней взглядами.

— Ну что вы раскричались? Живая ведь. Все хорошо, что хорошо кончается.

— Эх, Ольга Ивановна, Ольга Ивановна! — в сердцах сказала Фрида.

— Пятьдесят лет уже Ольга Ивановна, — ответила та, садясь в кошевку.

Не завопила на этот раз, не грозила карцером и прочими неудобствами трудармейской жизни. Лошадь передними ногами обошла танцующие на месте задние, развернула сани и побежала прочь.

— Мария! Как же ты спаслась? Мы все были уверены, что тебя трубой задавило!

— Не знаю, — отвечала все еще не пришедшая в себя Мария. — Почувствовала, что вот сейчас она упадет... Прыгнула — а там, откуда ни возьмись, ниша.

— Это Бог тебя спас, — сказала Милька Бахман. — Мой тата<sup>31</sup> часто рассказывал, как он еще в прошлую войну бежал против турок в атаку — и вдруг на него сверху налетел орел и сорвал с головы фуражку. Тата так и сел. И тут впереди него взорвался снаряд! Если бы не орел, быть бы ему как раз на том месте. Он потом всегда говорил: «Нет, это не орел! Это мне Бог ангела-хранителя послал!»

— Что ни говори, все же кто-то над нами есть, — подтвердила Фрида. — У меня муж был партийный, ругал меня, а я все равно говорила: кто-то есть! Он мне: это совпадение. Но, послушайте, какое совпадение? Не должно быть здесь ниши, а вот она! Как это могло случиться? Правда, Мария, это все твой ангел-хранитель...

И много еще таких же воспоминаний разбудило в трудармейках чудесное спасение Марии. Ирма рассказала, как, будучи десятилетней девочкой, решила сварить двухлетней Элле кашу, но никак не могла растопить печку. Решила, что бутыл с керосином, которую мать хранила в чулане, — это как раз то, что ей поможет. Но сколько ни искала, так и не нашла. Потом оказалось, что бутыл стояла на прежнем месте, просто мать набросила на нее старое пальто, а Ирма не догадалась под ним посмотреть. А если бы отыскала — давно бы не было ни ее, ни Эллы, ни их дома.

Фрида вспомнила, как однажды на аэродроме в Энгельсе у парашютиста не раскрылся парашют, но человек так упал в овраг, что долго катился по склону и остался жив...

Всем отчего-то было легко и радостно, и только Мария, которой надлежало радоваться больше всех, трясась от пережитого, и даже вздохнуть полной грудью у нее не получалось.

<sup>31</sup> Тата — распространенное у немцев Поволжья обращение к отцу или деду.



А через несколько дней Мария и Эмилия получили первые письма из дома.

В тот же день, как Мария уехала, умерла бабушка. Мать писала на русском, на котором и говорила-то плохо. В конце сделала приписку: «Мария, болже кужат».

Эмилии писал Соломон Кондратьевич. Писал грамотно, потому что еще в начале двадцатых годов был секретарем в сельсовете. Он сообщил, что Йешке за побег дали десять лет, но, так как у него открылась тяжелая форма туберкулеза, освободили и отправили домой. Он живет с ними в землянке и совсем плох.

От Андрея не было ни слуху ни духу.

### Старики из Александровки

Вскоре колонна, руководимая Ольгой Ивановной Зоммер, переехала из Отважного в бараки, построенные на трассе нефтепровода. Теперь каждая бригада получала котловое довольствие и дневальные варили на всю бригаду. За котловым довольствием ходили сами.

Мария все еще носила порванный валенок с галошами. Однажды вернувшиеся из Александровки трудармейки сказали, что там в магазине есть валенки. В тот же день бригадир Фрида Кениг принесла Марии такую бумажку:

«Увольнительная.

Настоящая дана мобилизованной Гейне Марии в том, что она действительно работает в СМУ-3 и отпущена в село Александровка на 20/II-43 г. (для покупки валенок).

Нач. колонны О. И. Зоммер».

В этот день, то есть двадцатого февраля тысяча девятьсот сорок третьего года, Мария, Ирма Шульдайс и Ольга Цицер втроем пошли в село Александровку. Ирма и Ольга шли по казенной надобности. У Ольги было требование к кладовщице такой-то «отпустить бригаде номер два первой колонны СМУ-3 “Востокнефтестрой” на котловое довольствие через Цицер О. Г., с подотчета на 39 человек на 21, 22, 23 декабря, картофеля — 37,5 килограмма, крупы — 10,5 килограмма». Ирма должна была помочь нести полученные продукты.

Ольга Ивановна трепетно относилась к рабочему времени и все считала:

— В три пойдете, в пять будете в Александровке. Получите, потом час туда-сюда, в восемь вернетесь... Еще светло будет, девчата! — подбодрила она, как будто они не знали, что уже в пять — тьма хоть глаз выколи.

Трудармейки, конечно, отправились пораньше. День был пасмурный, но теплый. Поднимался ветер.

Ольга возмущалась:

— «Девчата!» Какие мы ей девчата? Терпеть ее не могу!

Ольга была красивая: высокого роста, прекрасно сложенная, с серо-голубыми глазами и густой копной золотистых волос. Все в ней, от осанки и походки до манеры произносить слова, говорило о чувстве собственного достоинства и уверенности в своем превосходстве над окружающими, которая порой доходила до надменности. Ольга Ивановна помешалась на идее «сбить спесь с этой Цицер», но ей это так и не удалось. Особенно она старалась вначале: несколько раз отправляла Ольгу в карцер, где давали только двести граммов хлеба. Но Ольга продолжала открыто выказывать ей свое презрение. В словесных стычках она всегда умела выставить начальницу в смешном виде, так что та начинала заикаться, забывать русские слова и переходить на такой диалект, какого и не придумаешь. К тому же у них были старые счеты. Ольга постоянно напоминала Ольге Ивановне, что та многих погубила в бытность уполномоченной по коллективизации. Это особенно выводило начальницу из себя, она начинала кричать, что Ольга, мол, тогда была соплячка и ничего этого знать не может, что это выдумки. Но оправдывалась она так неуклюже, что все только убеждались: совесть у Ольги Ивановны, действительно, не чиста. Поэтому в конце концов начальница почла за лучшее не связываться с Ольгой Цицер — чтобы лишний раз не всплывало то, что ей самой, возможно, хотелось забыть.

Ирма Шульдайс была прямой противоположностью Ольге: мягкая, покладистая. Единственным ее больным местом была младшая сестра Элла. За Эллу она могла броситься в любую драку, с кем угодно.

Ольга вдруг усмехнулась:

— Сказали бы мне до войны, что я буду спать на голых досках и мечтать о соломенном матрасе, что башка у меня будет полна вшей, а руки черны и тверды, как подошва...

— А где ты жила? — спросила Ирма.

— Сначала в Саратове, я там окончила пединститут. А за год до начала войны уехала в Москву... И знаете, куда меня взяли на работу?

— Куда?

— В германское посольство.

— Как это?

— Да вот так!

— И кем ты там работала?

— Ну, скажем так, прислугой. Убирала у них, меняла постельное белье... Весь военный атташат поголовно ходил у меня в поклонниках! В посольстве мне выделили комнатку. Возле кровати был столик, а на нем всегда коробки с шоколадными конфетами. Я их ела, лежа в постели, только руку протягивала. Был там один офицер — Вальтер Тютцер. Звал меня замуж.

— И пошла бы?

— Думала, почему нет? Но прикинула: возмутся же за отца, за брата... А в начале июня мои поклонники стали куда-то один за другим исчезать. Опустело посольство. Пройдешь по коридору — и не встре-



тишь никого. Ну а мне обо всем таком надо было сообщать куда следует. Я и сообщала. За два дня до войны и Тютцер мой испарился. А двадцать второго июня последний посольский люд вышел из своих комнат с упакованными чемоданами.

— Так ты разведчицей, что ли, была?

— Горничной я была. И в мои обязанности входило сообщать обо всем подозрительном. Немцы об этом знали, поэтому ничего секретного при мне не говорили. А когда началась война, меня потянули сами знаете куда: мол, почему не сообщила? А я им говорю: «Как это не сообщила? Я же сказала, что посольские разъезжаются. Надо было делать выводы». Согласились: да, действительно, говорила. Отпустили на все четыре стороны. Дай, думаю, к родителям съезжу. Тут выселение подоспело, и меня вместе с родней — в Сибирь, а потом, как и вас, — в трудармию...

— Да, Ольга, необычная у тебя судьба! — сказала Ирма.

— Она у всех необычная, — возразила Цицер.

Около часа шли бодро. Галоша на прожженном валенке Марии держалась крепко. Но вскоре ветер стал усиливаться, пошел снег и покрыл дорогу настолько, что ноги стали в нем утопать. Галоша начала сваливаться, и скорость продвижения заметно снизилась.

Поднялась метель, быстро смеркалось.

Путниц успокаивало то, что дорога стала шире и уже близко впереди были огни Александровки. Заблудиться невозможно.

— Как бы кладовщица не ушла домой! Не получим сегодня наше «котловое удовольствие», что тогда? — беспокоилась Ольга.

К счастью, кладовщица оказалась на месте и даже подробно рассказала Марии, как найти магазин, где продаются валенки.

И вот Мария в новых валенках, а в руках у всех троих мешки с картошкой и крупой.

Пошли назад. Встречный ветер валил с ног и гнал вдоль улицы стада снежных хлопьев. Спустилась ранняя зимняя ночь.

За околицей стало страшно: ничего не видно! Снежинки впивались в лицо, не давали открыть глаза. Подруги устали и еле волочили ноги.

— Не дойдем, — сказала Ольга. — Надо возвращаться, пока не поздно.

С ней было трудно не согласиться.

Вернулись, постучались в ставни крайнего дома. Вышедшая женщина спросила, кто такие, и, узнав, молча захлопнула перед ними калитку. Путницы пригорюнились. В следующий дом постучали очень скромно — просто поскреблись. Вышел старик — высокий, широкоплечий, с огромной белевшей на груди бородой — настоящий Илья Муромец в старости.

— Чего вам, девчонки?

— Дедушка, пустите переночевать! — взмолилась Мария.

Старик задумался.

— Да у нас облавы бывают. Вот вчера только была. Собирали нас тут недавно... Никого чужого на ночлег пускать не велено.

— Дедушка, а как же нам быть?

— Оно, конечно, под открытым небом, на таком буране вас оставлять — не по-людски... Вот что. Заходите, погрейтесь. Бабушка моя в баню пошла. Вот придет — как скажет, так и сделаем.

В доме было опрятно и тепло. В комнате, в которую старик привел девушек, стены были бревенчатые, нештукатуренные. На них висел портрет Сталина, а еще картины «Охотники на привале» и «Утро в сосновом бору», вырезанные из журналов и вставленные в рамки.

— А вы, судя по говору, нерусские? — спросил старик.

— Мы немки, из трудармии, — сказала Ирма и робко посмотрела на хозяина из-под ресниц.

— А хоть бы и немки. Немцы тоже люди. Бывал я и в Марксштадте, и в Энгельсе — аэродром там строил. Хороший народ. Я ведь, девчонки, все понимаю. Сын у меня есть — Михаил, на фронте воюет. Так он с немецкими фашистами воюет — не с такими, как вы.

— У меня брат тоже на фронте, — сказала Мария. — Последнее письмо получили в самом начале, в июле. Он из эшелона написал. Их уже бомбили немецкие самолеты.

— Вот и я говорю. Всем нам достается.

В это время стукнула входная дверь.

— Ты с кем разговариваешь, дедушка? — послышался мягкий старушечий голос. — Ай есть кто у нас?

— Да вот, бабушка, девчонки из трудармии просят переночевать. Я говорю, облавы у нас бывают. Чужих не разрешают пускать. Если узнают — посадят. Ты как думаешь? Я им сказал: как бабушка скажет, так и будет.

Вошедшая старушка, закутанная шерстяным платком, размягченная после бани, смотрела на неожиданных гостей лучистыми глазами. Они замерли, ожидая своей судьбы.

— Нам, дедушка, бояться уже нечего. Может быть, и наш Мишенька вот так же ходит... Мы девчат пустим — и нашего сыночка кто-нибудь обогреет.

— Ну вот и хорошо! — с облегчением сказал старик. — Я, бабушка, знал, что ты так решишь. Раздевайтесь, девчонки! — И, подмигнув, добавил: — Кашу будем есть.

И вот они сидят за столом без скатерти, добела выскобленном ножом. Посередине стола большая глиняная миска. Все по очереди запускают в нее ложки и вытаскивают горячую пшеничную кашу. Перед каждым стоит кружка с молоком. Молока немного, но всем поровну. Старик оживленно о чем-то рассказывает. Его борода то и дело попадает в кружку, и с нее падают на стол белые капельки, но он этого не замечает. Марии кажется, что он отчего-то счастлив. Старушка вообще ничего не говорит, но ее лучистый взгляд, обращенный на них, красноречивей всяких слов. Это материнский взгляд. Она смотрит на них, а видит своего Мишеньку.

Потом старушка стелет на полу постель. Девушки укладываются. Мария засыпает, и ей всю ночь снятся счастливые сны.



## Прощайте, Жигули!

Трудармейцы ломали слоистые стены горы и грузили куски на усталый грузовичок, который сновал между горой и пристанью.

Широкий белый клин разрабатываемого известняка ступенями поднимался по отлогому склону, раздвигая темно-зеленый лес. Острие клина немного не доходило до вершины горы, все еще поросшей густым лесом.

У подножия сорок женщин с завязанными по самые глаза лицами долбили камень кирками, топорами, ломами. Над горой стоял непрерывный приглушенный стук.

И дорога из села к горе, и дорога от горы к пристани, и всё вокруг горы было белым от известковой пыли. И сам грузовичок тоже как будто побелили.

Уже три месяца трудармейки бились с горой, а она оставалась все такой же, какой была в тот день, когда они увидели ее в первый раз.

— И на сколько нам хватит этой горы? — проворчала тетя Эмма.

— Пожизненно, — ответила Ольга Цицер.

Стоял конец июня, и лето словно хотело как следует обогреть женщин, намерзшихся за долгую зиму на строительстве нефтепровода. Было жарко, небо без единого облачка празднично сияло насыщенной синевой и только к горизонту оплывало светлеющей акварелью. Далеко-далеко виднелся горизонт, и там, закрывая его линию, были лес, потом дома, опять лес, а потом горизонт разрывался, и из этого разрыва широко и мощно вливалась в мир Волга. Она неслась прямо на гору и работавших там женщин и только у самой пристани, словно разглядев их, сворачивала в сторону и текла мимо медленно, широко и мирно. У берега вода — чистое зеркало, в котором отражались и белый клин, и лес по его сторонам.

В теплом воздухе, радужно посверкивая крыльшками, носились стрекозы. Их сегодня было много, и этот мир им очень нравился.

Из-за леса над горой с резким хохотом вылетели две чайки. Увидев под собой столько людей, машущих своими орудиями, они испугались и, спешно набрав высоту, понеслись над Волгой, все дальше и дальше — к противоположному берегу.

Сколько чаек уже здесь повидали трудармейки, а тут вдруг все, как по команде, опустили свои долбежные инструменты и стали смотреть им вслед, пока они не растаяли в пронизанном солнцем небе. И, наверное, никто не смог бы сказать, что такого необычного было в этих чайках.

К реальности женщин вернул звук подъезжающего грузовичка, такого старенького и больного, что на фронт его не взяли. О его приближении издали предупредил мотор, жалобно скуливший: «Вау-ау-ау!»

Останавливаясь у надолбленной за время его отсутствия кучи известняка, грузовик сначала чихал, потом взвизгивал, и что-то внутри него хрипело даже после того, как переставал работать двигатель.

Трудармейки сыпались с горы ему навстречу, и пока одноглазый шофер Петр Пантелеевич сворачивал и выкуривал цигарку, руками и лопатами загружали в кузов куски известняка.

Покурив, Петр Пантелеевич говорил:

— Но!



Грузовичок отвечал на это криком своего стартера: «Ой-ей-е-е-ей!» Двигатель начинал кашлять, нехотя заводился, машина разворачивалась и отправлялась на пристань, изо всех щелей рассыпая на дорогу известковую пыль.

В этот раз ему навстречу ходкой рысью бежала приземистая рыжая лошадка, неся под синей дугой широко разведенные оглобли.

— Что-то рано сегодня Ольга Ивановна едет, — сказала тетя Эмма.

Ольга Ивановна была не одна. Позади нее на телеге, свесив ноги через грядку, сидел мужчина в гимнастерке, галифе, хромовых сапогах и военной фуражке.

Привязав лошадь к коновязи, которую трудармейки устроили специально для этого, Ольга Ивановна направилась к ним. Военный следовал за ней.

— Девчата, слушайте сюда! — сказала Ольга Ивановна. — Вот приехал человек набирать людей. Вербовщик на лесоповал... Ну, он вам сам все скажет.

Военный выступил вперед, нервно поморгал. Он был высок, худ, виски, видневшиеся из-под фуражки, а также усы — ржаного цвета. Левую руку, согнутую в локте, он прижимал к груди, и скоро стало понятно, что она у него не разгибается.

— Товарищи трудармейцы! Нашей стране, конечно, нужна известка, но еще больше ей нужен лес. Нужны железные дороги, нужны шпалы. Наш леспункт делает заготовки для шпал. Людей не хватает. Нужно хотя бы десять человек. Добровольцы есть?

— А ехать-то куда? — спросил кто-то.

— В Камчатку... Но не пугайтесь, товарищи трудармейцы, не пугайтесь: это не то, что вы думаете! Гейзеров и вулканов у нас нет, и уезжать далеко не надо. Вверх по матушке Волге до Рыбинского водохранилища. Пошехоно-Володарский район, деревня Камчатка. У нас, товарищи трудармейцы, непроходимый лес. Чистый воздух. Грибов и ягод видимо-невидимо. Не пожалеете!

Военный смотрел на женщин и ждал. А они занимались каждая своим делом, будто его речь их никак не касалась: раскутывали лица, снимали платки, подставляя ветру спутавшиеся, мокрые от пота волосы. Кто-то сосредоточенно обивал на себе одежду, каждым шлепком поднимая в воздух белое облачко.

— Нет, значит, добровольцев? — спросил военный, снял здоровой рукой фуражку и передал негнущейся руке.

Ну какие могут быть в трудармии добровольцы! Все прекрасно знали, что десятеро из них никуда от этой Камчатки с лесоповалом не денутся. Они пережили голодную зиму сорок второго — сорок третьего года, строительство нефтепровода с каждодневной нормой в четыре кубометра мерзлой земли, с водой вместо супа, с горькими думами о родных. Уже ко всему привыкли, и к ним привыкли. Проклятый нефтепровод они построили, долбить известку полегче, да и нормы сносные. Если бы не разъедающая глаза и легкие известковая пыль, так вообще было бы хорошо. А чем лучше на лесоповале? Лес, мороз, волки, тяжелая работа, и неизвестно еще, как с питанием...



— Ну что ж, — сказал военный и вытер лоб рукавом, — придется, так сказать, назначать... Давайте, Ольга Ивановна.

Ольга Ивановна вышла, раскрыла свою книжку, обвела строй строгим взглядом и сказала:

— Цицер, два шага вперед!

Ольга трянула копной вьющихся волос и, окатив Ольгу Ивановну целым ушатом презрения во взгляде, вышла из строя.

Начальница, будто не заметив этого, старательно водила в книжке карандашом.

— Ты тоже поедешь, — сказала она, подняв взгляд на Марию и ткнув в ее сторону карандашом.

Мария сделала два шага.

— Тогда я тоже поеду. Пишите и меня, Ольга Ивановна! — сказала тетя Эмма, становясь рядом с Марией.

— Ich fahr'n aach, sonst loss ich hier mei Lungen und Augen<sup>32</sup>, — прошептала тетя Эмма, но Мария знала, что она вызвалась, чтобы не расставаться с ней.

— Шульдайс Ирма, — продолжала Ольга Ивановна.

— Без Элочки никуда не поеду! — Ирма обхватила Элочку, как мать, у которой хотят отнять ребенка.

— Ну вот еще! Будешь ты мне тут условия ставить! Марш два шага вперед!

— Не поеду, хоть убейте!

— Это что такое! — начала заводиться Ольга Ивановна — Не слушаться приказа? Я тебе покажу! Пять суток карцера!

— Элочка ей кто? — спросил военный.

— Сестра, — буркнула начальница.

— Ну так пусть вместе едут, — решил военный. — Сестры ведь! Вдвоем им веселее будет. Пишите Элочку тоже.

В глазах Ольги Ивановны блеснул злобный огонек, столь знакомый трудармейкам, но спорить она не решилась.

Остальных женщин выбрали уже спокойно.

— Доротей Шварц... Эмилия Бахман... Алиса Франк...

Женщины выходили, покорно становились в новый строй.

— Завтра придете в контору, получите документы и паек на три дня. А теперь работать, работать! Рабочий день еще не кончился!

И вот бригада снова долбит гору, но что-то уже пробежало между ними — они больше не одно целое. Десять отобранных — теперь другие, не свои, отрезанный ломоть. Завтра их уже здесь не будет.

Из-за Волги выплыли облака: сначала едва вырисовывались над белесым горизонтом, но чем выше поднимались в синеву, плывя над рекой в сторону горы, тем белее клубились вершинами. Рванул ветер — прохладный, влажный, приятно охладил лица, заполнил грудь. По реке прошла баржа. Через несколько часов она проплывет мимо Маркштадта... У Марии все внутри сжалось.

В восемь часов пошли домой. Облака потемнели, слились, заполнили все небо. Похолодало.

<sup>32</sup> Я тоже поеду, а то потеряю здесь свои легкие и глаза.

Ночью разразилась гроза, а когда она ушла дальше, разбушевался ветер и гремел на крыше оторванным листом железа.

Наутро все краски померкли. Серая мгла измазала небо, и дождь из нее чертил по воздуху косые линии. Порывы ветра ломали, дробили их и бросали в окна барака. Было зябко, словно осень заблудилась и пришла не в свой срок.

Бегом побежали в столовую. Там отъезжающим в последний раз выдали по миске супа и ложке каши. А хлеба не дали: получите как паек на дорогу.

Прощались с остающимися: бог знает, увидятся ли еще когда-нибудь...

Опять же бегом в контору, чтобы меньше промокнуть. Под крыльцом нахохлился куст репейника: уже выкинул серые головки, но они еще не распустились, не расцвели розовым. Пол в сенях сплошь покрыт жидкой грязью — сколько ни очищай обувь на вбитом у входа скребке, разве все счистишь?

В конторе уже сидели Ольга Ивановна и вчерашний военный из Камчатки. Поехал в свою командировку в одной гимнастерке, весь промок.

— Вот распоряжение выдать вам по три буханки хлеба, в столовой получите, — это сказала Ольга Ивановна.

Опять идти и мокнуть под дождем! Не могли сразу дать?

— А продовольственные аттестаты<sup>33</sup>?

— Почтой перешлем.

— Как почтой? Когда?

— Когда доедете, тогда и аттестаты придут. Девчата, давайте вы не будете про аттестаты! Как есть, так есть, по-вашему все равно не будет, — усмирила их Ольга Ивановна.

Действительно, не будет — в этом они давно убедились.

— Товарищи трудармейцы! Я буду ждать вас на пристани, — сказал военный. — Поторопитесь, пароход через сорок минут.

Через полчаса они были в назначенном месте. Дождь не переставал. Мокрый причал отражал тусклое небо. Гимнастерка военного потемнела от влаги. Ремешок фуражки был застегнут под подбородком, с козырька падали капли.

У причала, готовый к отплытию, стоял пароход «Валериан Куйбышев». Из трубы валил черный дым. Пахло гарью и машинным маслом.

— Давайте знакомиться! — сказал военный. — Меня зовут Володя Поляков. Я бригадир Камчатского участка Пошехоно-Володарского мехлеспункта.

— Володя, — сказала Ирма Шульдайс, — ты весь промок. Возьми мой дождевик. Мы с Эллой одним обойдемся.

— Что вы, товарищи трудармейцы! Я офицер, не размокну. На фронте и не такое бывало.

— Вы были на фронте? — спросила Эмилия.

— Да. Жаль, недолго пришлось повоевать. Под Москвой руку покалечило — списали вчистую.

<sup>33</sup> *Продовольственный аттестат* — документ, который дает право военнослужащему получать довольствие на новом месте службы, а также в служебной командировке, в отпуске и во время стационарного лечения. — *Прим. ред.*

Марии вдруг стало легко и спокойно. Почувствовала, что начальник у них хороший, человечный.

Поднялись на пароход. Волга кипела от дождевых струй.

Володя пошел к капитану:

— Узнаю, куда нас.

В это время матросы приняли швартовы, и «Валериан Куйбышев» отошел от пристани, взбивая воду лопастями колес. Пароход был древний, может, даже дореволюционный.

Пришел Володя с человеком в плаще и флотской фуражке.

— Да куда же мне вас? Свободных помещений нет. Все забито народом.

— Мы же не можем под дождем до самого Пошехонья-Володарска плыть, — сказал Володя.

— Да я понимаю... Постойте здесь. Сейчас что-нибудь придумаем.

Прошло еще четверть часа. Трудармейки мокли на верхней палубе. Пароход вышел на самую середину Волги. С левой стороны поплыли Жигулевские горы — прекрасные, несмотря на дождь и мрачный день. Одни от подножия до вершины были покрыты темными лесами, склоны других желтели обвалами, белели известняковыми выработками. Эмилия смотрела на эту панораму и счастливо улыбалась.

Наконец опять появились Володя с флотским.

— Пойдемте, товарищи трудармейцы!

Пошли, а Милька будто не слышала.

— Рапунцель! Заснула, что ли? — крикнула Ольга.

— Что еще за Рапунцель? — усмехнулся Володя.

— Так, кличка ее, — коротко ответила Цицер.

Спустились вниз по лестнице. На поручнях готическим шрифтом выгравировано: «Schiffsbesitzer Braun»<sup>34</sup>. Флотский открыл дверь и впустил их в совершенно пустое помещение. На медной дверной ручке Мария заметила все ту же гравировку. Интересно, кто был этот судовладелец Браун?

Сели прямо на пол — больше было не на что. Через несколько часов Марию укачало. Пришлось выбраться на палубу.

Матросы, проходившие мимо, улыбались кто сочувственно, кто насмешливо. Один сказал:

— Смотри, девка, за борт не упади!

Дождь продолжался.

Вскоре Ирма привела Эллочку, которой тоже приспичило поблехать.

Потом пришла Милька:

— Тетя Эмма послала посмотреть, не свалилась ли ты в Волгу, — и вдруг сказала, глядя вдаль: — А гор-то уже не видать! Ну что же... Прощайте, Жигули! Что-то нас ждет в Камчатке?

— Если бы знать, если бы знать... — отозвалась Ирма.

(Окончание следует.)

<sup>34</sup> «Судовладелец Браун» (нем.).

Иван ПЕРЕВЕРЗИН

**«НЕ ЗРЯ ЗАМОЛКЛИ СОЛОВЬИ...»**

\* \* \*

Светотени пестрят на тропинке,  
ветер горный играет с листвою...  
И не зря небо в синей косынке —  
стих родится высокий, живой!

Вот и думай теперь спозаранку,  
как подальше сбежать от тревог  
хоть на ту же лесную полянку,  
где периною взбит пышный мох...

Я шучу... Быть не может такого,  
чтоб надежды мои не сбылись,  
если «жизнь» — настоящее слово,  
если слово рассветное — жизнь!

\* \* \*

Темно, не темно — ровно в восемь  
электрик засветит свечу...  
О том, какой будет осень,  
вновь душой промолчу...

Пусть душу мою будоражит  
глубокая память весны  
и ярко цветы мне расскажут,  
каким они цветом полны.

Синим, оранжевым, красным,  
теплым, прохладным, густым,  
чтоб жизнь не казалась напрасной,  
чтоб сердце было живым...



Такое пиршество разных  
лесных вдохновенных цветов  
больше похоже на праздник,  
к которому вновь я готов.

Довольно беглого взгляда  
на это цветенье, мой Бог,  
чтоб душу объяла мне радость,  
чтоб правил душою восторг!

Каким быть на этом свете,  
не больно и важно теперь...  
Цветы доцветут до лета,  
и в сердце не смолкнет свирель.

### Тот день

Тот день, когда, успев сказать:  
«Мне плохо, доктор, я скончался», —  
не стоит все же вспоминать,  
довольно, что я повстречался  
со смертью, ей глядел в глаза,  
возможно, чтоб навек воскреснуть  
с бессмертной верой в небеса,  
где никогда любви не меркнуть.

Но этот день мне не забыть,  
он, в жизнь мою влетев неожиданно,  
стал той границей, может быть,  
петь за которой так желанно,  
но страшно — вдруг не хватит сил,  
а смерть проклятая-то рядом...  
Но Бог не зря же воскресил  
меня для жизни, не для ада.

Не зря... Но где мне силы взять,  
чтоб через страх слепой проклятый  
перешагнуть и прежним стать,  
ни в чем вовек не виноватым,  
смотрящим через тьму вперед  
с надеждой радости и счастья?..  
О время! Как угрюм твой ход.  
О время! Как ты безучастно...

\* \* \*

Вперед! По тропке! Через поле  
в объятых солнечных лучей,  
так пахнущих теплом мозолей  
и терпким потом косарей...

Как будто повстречаю юность  
и с ней войду в сосновый лес,  
где раззвенелись птичьи струны  
до самой глубины небес.

Внимать им — вечная услада,  
и самому всем сердцем петь!  
Как будто мне осталось в радость  
все молодеть и молодеть...

И с юностью под ручку дальше  
пойду на чистый звон ручья.  
Он, меж камней вдоль скал журчащий,  
напомнит мне, что жизнь — моя!

Пусть сил, быть может, и немного,  
но ровно столько, чтоб душой  
я победил и боль-тревогу,  
и радость, бьющую грозой...

\* \* \*

На светоносном, вечном рубеже,  
где горе горькое не редко,  
вдруг что-то дрогнуло в душе  
и обломилось, словно ветка.

А был всего-то нежный взгляд,  
но прямо в сердце обращенный!  
Вернуть бы враз его назад —  
и дальше жизнь ковать прощено.

Но нет сполна на это сил,  
и на любовь мне не ответить,  
но счастье я не раз хранил  
всей честной памятью поэта.





А мне она кричит: «Не смей  
забыть, предать или отторгнуть  
все то, чем в звонком беге дней  
взрывало душу до восторга!..»

Что будет дальше — неизвестно...  
Но, остро ощущая грусть,  
и сам себя я даже в песне,  
ну хоть убей меня, боюсь...

\* \* \*

Твое, страшней мороза, «нет»,  
как туча, мой закрыло свет.

Одна звезда мне поводыр —  
по марям, сквозь снега в Сибирь.

Нет, это не медведь ревет,  
а снеговой стеной встает.

Из года в год, из края в край —  
ложись в снега и умирай!

И умер бы, да вот невмочь:  
«Вставай!» — зовет из мрака дочь.

\* \* \*

Не зря замолкли соловьи,  
завял сиреневый цветок...  
Равно и в горе, и в любви  
я был печально одинок.

Но жизнь не числил за беду,  
отважно прорастая ввысь,  
где вечер запалил звезду,  
где стала праведною мысль...

Мне нет важнее ничего —  
полезным оставаться всем,  
кто знал бы счастья торжество,  
когда бы ни ярмо проблем.





Без них, конечно, никуда,  
да только не любой из нас  
исполнен светом, как звезда,  
причем с лихвой и про запас.

А я, хотя и бит, и гнут,  
но тем не менее стальной,  
и потому зовусь — якут,  
крещенный стужей ледяной.

Я одиночество, как грусть,  
сумел использовать с умом —  
для становленья вечных чувств —  
на этом свете и на том...

### Сибирская любовь

Выйду в поле, а там ни следочка,  
только звезды, снега и метель.  
И на горестях ставится точка,  
и я слышу ночную свирель...

Запеваю в надежде на то, что  
все грехи мне подруга простит,  
но опять на свиданье нарочно  
с опозданьем большим прилетит.

Нет, она не подвержена фальши,  
просто мало ей зимнего дня...  
Но ее на три года я старше,  
а она — в счастье старше меня...

Только нет мне от века дорожке  
наших встреч на морозе зимой...  
Взгляд поднимет она — и по коже  
будто вихрь пролетит огневой!

И опять я от счастья красивый,  
как при свете влюбленной луны,  
и совсем, видит Бог, не ревнивый,  
ибо полон заветной весны!..

И лик светлый ее что икона!  
И на миг замирает мой взгляд.



Будто лед голубой у колонок,  
поцелуи в снегах зазвелят...

И откроются выше и шире  
чувства те, что душой берегу.  
Вот какие свиданья в Сибири!  
Вот как любят в мороз на снегу!

\* \* \*

Сквозь мрак светила синева  
огнем полуночных светил,  
а на рассвете дождик лил,  
пел соловей, росла трава.

Своим обычным чередом  
весенний мир мужал и креп —  
и старый пахарь сеял хлеб,  
и старый плотник строил дом.

А ты все ноешь, что душа  
готова напрочь околеть,  
как будто жизнь твоя прошла  
и всюду торжествует смерть.

Устал от схваток роковых  
и хочешь обрести покой?  
Так обретай! Но в жизни той,  
где нет ни близких, ни чужих...

\* \* \*

Безбрежные разливы света  
лучатся розово, как снег,  
на небе, с чем душа поэта  
пребудет молодой навек.

Высоким словом, как набатом,  
она вселенной возвестит  
о красоте таежных скатов,  
где эхо вечности звенит...

Где на полянках вспышки ягод,  
в чащобах сытое зверье,  
где приютит от многих тягот  
с еловой крышей зимовье.

Я там не просто жил, охотой  
кормясь, как прадед дорогой,  
но и считал любовь работой —  
равно небесной и земной.

И просто радоваться мало,  
что удалось мне злу в ответ  
свести грядущие начала  
с концами уходящих лет.

\* \* \*

То вдруг плачет душа, как дитя,  
то летает, счастливо свистя...

Жизнь, меняя и запах, и цвет,  
протекает рекой в бездну лет...

Кто я есть на земле, ясно мне,  
но кем буду, уйдя, — не вполне.

Ведь и смерть я могу, знает Бог,  
завернуть не шутя в козий рог!..

Только я не с войной бы хотел  
без сомненья шагнуть за предел...

И еще — не хотел бы я вновь  
верить в счастье, не веря в любовь...

То рыдает, то свищет душа —  
не с того ли, что жизнь хороша?!

Евгений ЧЕМЯКИН

## ЛАСТОЧКА НА БАЛКОНЕ

\* \* \*

Раскаты каменной гряды  
Коуровских обсерваторий:  
здесь, на Урале, было море —  
еще видны его следы.

Еще темна его вода  
в сентябрьских тучах над домами,  
еще расходится кругами,  
еще вздыхает иногда.

«Мы на Урале — моряки,  
моря же вечны и безбрежны», —  
шепчу тебе, стирая нежно  
соленый след с твоей щеки.

\* \* \*

Еще немного тишины...  
И шмель вонзается, как чудо —  
со звуком лопнувшей струны —  
в заросший сад из ниоткуда.  
И возникают имена,  
и нарекаются  
растения.  
И замирает тишина  
на все шмелиное  
мгновение.

\* \* \*

Человек лишился сна —  
на него глядит луна,  
из крошечной темноты  
на него глядят кусты.  
Смотрят пристально в упор  
стены, ветви и забор...

Смотрят ночи напролет —  
человек не ест, не пьет.  
Человек лежит впотьмах,  
страх свой комкает в руках,  
будто знает,  
что от взглядов  
не сбежать ему никак.  
Человек и есть луна.  
Человек и есть луна.  
В круглых зеркалах озер  
на себя глядит в упор  
из крошечной темноты.  
Человек и есть кусты.

\* \* \*

Посреди июльской ночи  
вдруг цикада застрекает.  
Скрипом выдавит слезу,  
покачнется на весу  
между музыкой небесной,  
между музыкой земной,  
между прозой неизбежной,  
между лирикой сплошной.

Струны дергает чуть слышно —  
как бы песенки не вышло.

\* \* \*

Ласточка на балконе,  
бабочка на стене —  
кто-то все время помнит,  
думает обо мне.

Смотрит с небес украдкой  
тихую жизнь мою:  
вот я сижу с тетрадкой,  
вот у окна стою.

Вот наступает осень,  
щедрая на слова.  
Мне уже двадцать восемь.  
Мне уже тридцать два.

Я уже переполнен  
музыкой-тишиной...  
Ласточка на балконе,  
ты пригляди за мной.

Евгений ЛАВАНОВ

## В ПОЕЗДЕ ВРЕМЕНИ

Р а с с к а з ы

### Круговорот

Я потерял сон. Ночь лишает меня опоры. Мир наваливается, рушит системы координат, разматывает зацепки, которые так бережно выстраивались.

Когда-то жизнь была проста. В ней был Бог, сидящий на престоле, ад и рай. Справедливость. Или нет, в ней был густой бульон перерождений и закона, стоявшего за ними. Впрочем, там был Будда. И да, там был Кришна, я помню лучи его глаз.

Но что осталось теперь? Лишь эхо в груди, колодезь, в который падает мир. Без всплеска, без звука, в сухой тишине.

Вопросы смыкаются в кольцо, выются зудящим хороводом. В эти часы я завидую тем, кто уверен: над Северным полюсом — верх Вселенной, под Южным — низ. Кто следует за догматами, которые люди установили, отмерив Бога по своим лекалам и даже определив его пол.

Может ли быть для Него добро и зло? Для Него, создавшего небо и землю, галактики и барионы, из которых они состоят? Что вообще такое зло? Не в человеческом понимании — в глобальном. Вселенском.

Когда волк убивает ягненка — разве это зло для мироздания? Почему же человекоубийство — это зло и грех? Не потому ли, что социуму нужно было развиваться и устанавливать рамки, сдерживать природное в человеке? Каждый закон от Бога, каждый закон выстраивает вертикаль. Не убий, не укради, не переходи улицу на красный.

Но только ли это, только ли? Ты же знаешь: мы выделились из природы, осознали себя. Ах, Адам, что ты наделал! Вкусил — и начались проклятые вопросы.

Для чего мы живем?

Что будет после смерти?

В чем мой, личный смысл?

А ответов нет. Или, наоборот, их сколько влезет. Из Египта, из Греции, из Мексики, Индии, Израиля и Австралии. Выбери любой. Да, но какой верный? Любой верный. Любой? Но это же значит: все неверно.

А вдруг после смерти ничего нет? Совсем ничего. Все краски смешиваются, образуя черный. Однако и этого там не будет. Даже слово «пустота» туда не поместится. Ничего. Выходит, что и смысла никакого нет.

Тогда я вспоминаю историю человека, которого в детстве прозвали — Три Складки. Она пугает меня, зато возвращает веру в возможность добра и зла. В возможность Бога или внутреннего закона мироздания. В веру в существование справедливости.

Мы познакомились в восемьдесят девятом году. Не могу сказать, что помню те дни хорошо. Была зима, высосавшая краски из окружающего мира. Вагон раскачивало, серая картина за окном тянулась и плыла. На столе стоял огромный стакан, обернутый в обжигающую сталь. К чаю полагалась вытянутая плиточка сахара с локомотивом на обертке. Все казалось мне необычным. Вероятно, оно таким и было, ведь больше на столь удивительных поездах я никогда не путешествовал. Впрочем, и четыре года мне уже никогда не было. Цифры только увеличивались, унося за собой то время, когда мы с мамой ехали в далекий Киров, где вырос мой дед.

По окончании школы дед переехал в Москву, поступил в институт, женился. Хотел перевезти к себе и брата Володю. После службы в армии тот проезжал столицу и должен был зайти в гости. Дед купил брату костюм, договорился о месте на своем заводе. Но Володя не позвонил. Застеснялся, испугался, не захотел — осталось неизвестным. Не теряя времени, он взял билет в родной город.

Прошло около тридцати лет. Родители деда умерли. На Вятке оставались только дядя Володя, его жена и сын. Вот и вся родня. К ним мы ехали.

На перроне нас встречала пурга и кутаный человек в большой мохнатой шапке. Он улыбался и говорил так, что не было понятно, рад он тебе или неумело прикидывается. Его манера вызывала смесь страха, отвращения и интереса.

Дядя Володя мне не понравился. Как и его приторная жена. Их квартира была такой крошечной, что могла бы уместиться на ладони. В проходной комнате едва хватало места для моих фантазий и двух кубиков Рубика — квадратного и треугольного. С тех пор я мечтаю найти похожую пирамидку, однако нигде не встречаю ее.

Зато я был очарован их сыном. Сережа только что вернулся из Афганистана. Возможно, это и было причиной нашей поездки. Теперь уже не узнать. Он дышал молодостью и жизнью, показывал армейские фото и рассказывал, что автомат Калашникова оставляет синяки на плече. Но больше всего завораживала цветомузыка, которая была в его комнате. Самодельная установка мерцала в такт, наполняя пространство синим, зеленым и красным свечением.

Я забивался в угол и часами глядел на Сережиных гостей. К нему приходили ровесники. Они танцевали в лучах крашенных ламп. И я помню, что, несмотря на всю излучаемую уверенность и силу, Сережа выглядел гораздо раньше этих молоденьких ребят, не видевших того, что видел он. Мне казалось, он что-то большое, но хрупкое и сухое, сломанное внутри. Гости же были круглым и мягким, наполненным, влажным. Девушки смотрели на Сережу с интересом, но, верно, не находили внутри него ту силу, которую искали.

Перед нашим отъездом Сережа свозил меня в магазин игрушек. Воспоминания о нем на долгие годы заслонили все остальные детали поездки. В провинциальном Кирове жили чудеса. Здесь были радужные лягушки, которых следовало ловить на специальную удочку, машинки на заводе и пульте управления, пистолеты, карточные игры. Ничего этого я не видел на своей запруженной зеленью окраине Москвы. В том магазине я бы мог остаться жить, если бы мне разрешили. Но нужно было выбирать тех друзей, которые уедут со мной, и это было сложнее всего.

Наконец, груженные пакетами, мы отправились на вокзал. Комок впечатлений, которые я увез с собой, мог уместиться в трех предложениях. В Кирове самые лучшие игрушки на свете. Там живет мой дядя, он воевал в Афгане. Я им горжусь.

Сережин образ, скорее всего, был мною выдуман. Высокий, крепкий. Сильный и добрый, с блеском голубых глаз. Годы шли, и даже эта условная картинка размывалась. Краски текли, оставляя скорее тактильные, чем визуальные воспоминания. Вот мы идем в гараж, где я откручиваю гайку у мопеда. Вот крепкая рука жмет мою на прощание.

Киров тонул в моей памяти, смешиваясь со смехом маминих рассказов о детстве, когда Сережа был настолько толстым, что кожа на его животе складывалась гармошкой. За что он и получил прозвище, которого очень стыдился, — Три Складки.

— Ты обманываешь, — смеялся я в ответ. — Он не мог быть таким.

Май девяносто седьмого года был особенно жарким. Я заканчивал шестой класс и не мог дождаться июня, когда со своим школьным другом должен был поехать в пионерский лагерь. Правда, назывался он пионерским лишь потому, что лучшего эпитета так и не было придумано, однако это никого не смущало. Мы ждали свободного от родителей воздуха, мяча, взлетающего над огромным полем, и первых дискотек с девочками.

В один из вечеров мои мечты прорвал звонок. Телефон завизжал на тон выше обычного — было понятно, что это межгород. Звонил Сережа. Случилось горе.

За три месяца до этого у Сережи родился сын. У него нашли врожденный порок сердца. Операция стоила несусветных денег, к тому же могла быть проведена только в Москве. Им удалось найти благотворительную организацию. Теперь предстояла дорога и ожидание места в больнице.

Когда они приехали, я долго не мог поверить, что меня не обманывают.

— Это правда тот самый Сережа, — спрашивал я маму, — мой дядя, который был в Афганистане?

Вместо силача десантника передо мной сидел худой мужчина среднего роста с салными волосиками, скользящими по шее, и щеточкой усов над неровными, желтыми от сигарет зубами. Его жена Наташа была выпита горем. Ее лицо не имело цвета, а речь — индивидуальности, но от нее растекалось то человеческое тепло, которое часто можно почувствовать в людях из глубинки.



Ребеночку собрали мою детскую кроватку. Он лежал в ней практически не двигаясь, лишь иногда издавая короткий писк. Цвет его кожи был землистым, даже, скорее, коричневым с синеватыми отливами. А может быть, это выдумал мой страх. Я знал, что этот человечек — мой брат, что у него очень сложная болезнь. Но я никак не мог понять, за что она этому маленькому тельцу, в чем оно провинилось.

— Бог может все исправить, — шептал я ему в темноте. — Я буду за тебя молиться.

И я стал молиться. Плакать и шептать просьбы перед иконой Казанской Божьей Матери, которая много лет без внимания стояла в шкафу. У бабушки я нашел книжицу с молитвами и начал их разучивать. Я верил, что Бог обязательно поможет: стоит Ему только узнать об этой несправедливости — Он обязательно совершит чудо, ведь всё в Его власти. Он любит нас и не допустит, чтобы ребенок безвинно страдал.

Время шло. Маленького Николашку, несмотря на все необходимые бумаги, не брали в больницу.

— Наверное, врачи боятся ответственности, — тихо говорил я в темноте. — Дай им сил, Господи. Пусть они помогут.

Врачи были обязаны помочь. В этом и состоит их работа. Думаю, они хотели еще денег. Но их у Сережи не было.

Я дал себе слово, что буду молиться каждое утро и каждый вечер, пока Николеньку не вылечат. Так прошел май. В начале июня я уехал в лагерь.

Нас было двенадцать мальчиков в одной комнате. Становиться на колени, чтобы обратиться к Господу, мне было стыдно. Вначале я просто беззвучно шептал молитвы в потолок. А потом детство захватило меня.

Костры. Игра в футбол. Первые медленные танцы. Новые друзья. Радость закружила меня и оторвала от того огромного, но все же чужого горя, которое я оставил дома.

Вернувшись, я нашел письмо. Его трясущиеся первые строчки мне не забыть: «Здравствуй, Женька! Как ты, наверное, уже знаешь, твоего брата Николашки больше нет с нами...»

В душном летнем городе малыш начал задыхаться. На «скорой» его отвезли в больницу и наконец-то приняли, чтобы сделать операцию. Однако день ото дня она откладывалась. Вечерами Наташу выгоняли, оставляя маленькое существо на попечение грубых нянь. Крохотное сердце не выдержало.

Не знаю, как у молодой женщины, которой несколько часов назад отдали ледяное тельце ее ребенка, хватило сил написать мне письмо, но она сделала это. Она писала, чтобы я никогда не разочаровывался в мире. Что так случается, только в этом никто не виноват. Чтобы я не терял веру в добро.

Но я потерял ее. Я не мог понять, как это Бог не услышал, не спас этого человечка, который так хотел жить. Почему какие-то зажавшиеся, черствые люди лишили его последнего шанса. А теперь родители везли его оболочку домой, чтобы похоронить в земле, которую он едва-едва мог бы назвать родной.

«Может быть, вина во мне? — думал я. — Дал зарок и не исполнил».

Пусть ребенок мог верить в подобное обещание. Но для Бога оно не должно быть значимым. Выходит, в мире скрыт изъян, тайное уродство, которое делает возможным рождение обреченного на скорую смерть в муках. Раз такое допущено — оно предусмотрено. Или недосмотрено, что страшнее.

После того лета Наташа стала невидимой частью нашей семьи. Она звонила по праздникам и на дни рождения. Присылала забавные подарки, письма. Задавала в трубку теплые вопросы, от которых кололо где-то глубоко. Ее доброта должна была иметь смысл. Забеременеть второй раз у нее так и не вышло. Психика бывает сильнее физиологии. Пройдя через горе, Сережа с Наташей больше не смогли зачать.

И все же ребенок у них появился. Через несколько лет они удочерили годовалую девочку, дальнюю родственницу, от которой отказалась пьяница мать. Малышка умерла бы с голоду в темной кировской деревне, если бы ее не забрали вовремя. Девочку звали Аленкой.

Аленка росла. Теперь, когда Наташа звонила, можно было услышать и ее пугливый звонкий голосок. В 2004-м я решил провести летний отпуск в Кирове: казалось, что так можно будет отплатить за ту теплоту, что дотекала до нас по телефонным проводам.

Ночь плацкартный вагон встретил на длинном мосту через Волгу, за ним искрился огнями оставленный Нижний Новгород. Шумящее молодой листвой утро ждало меня на Вятке. Здесь было мягко и уютно, словно возвращаешься домой из далекого большого города.

Мы обнялись с Наташей. Сережа выхватил мои сумки и усадил в старую «шестерку». Лавируя между дорожными провалами, мы отправились на окраину Кирова, которая была больше похожа на пригородную деревеньку.

— Нет, нет, — сказала Наташа, — это часть города. Сюда даже автобусы ходят.

— Ну раз автобусы ходят, — улыбнулся я, — тогда, точно, город.

Здесь ждал нас одноэтажный дом, зажатый с правого фланга парниками, а с левого — баней. Земля перед ним была густо посыпана опилками. Невысокое крыльцо скрывалось за грубо сколоченной конурой, из которой выскочил черный пес.

— Валет, ну-ка на место! — крикнул Сережа.

Крыть было нечем, пес вернулся в колоду.

Посередине кухни стояла беленная известкой печь. Из-за нее выглядывали угольки слегка раскосых глаз, от которых к носу убегала россыпь веснушек. Темноволосая Аленка оказалась совсем непохожей на приемную мать. За те семь лет, что мы не виделись, Наташа наполнилась жизнью и расцвела. Густые пшеничные волосы были убраны в косу, волны молодого тела легко угадывались под тканью платья. Рядом с женой Сережа выглядел старшим братом, задымленным годами, готовым дать совет.

На обед были постные щи.

— Мясо мы нечасто едим, — сказал Сережа. — Раз-два в неделю.

Жизнь Кирова стала разительно отличаться от московской. Заводы закрыли, дороги покрылись россыпью ям. Работать по специальности было большой удачей. Сереже с Наташей это не удалось, они трудились на водоочистительной станции. Зарплата маленькая, зато сменный график. Свободное время Наташа посвящала цветам.

— Я же агроном по образованию. Вот и выращиваю цветы, продаю.

Она ушла на смену. Мы с Сережей уложили Аленку спать и открыли обжигающий местный коньяк — «взбрызнуть встречу». Оказалось, что за своей спокойной жизнью я ничего про них, в сущности, не знал. Они звонили, желали приятных вещей, а я даже не помнил, когда у них дни рождения. Только сейчас открылись какие-то подробности. А ведь чего сложного — позвонить, поинтересоваться.

Я попытался хоть чем-то компенсировать и, захмелев, стал расспрашивать Сережу. Им было трудно, но вот появился просвет — маленькая девочка, ради которой они теперь жили. Наташка садом занялась. Дай бог, дай бог, наладится еще.

— Помню, приезжали, мне года четыре было. Ты еще рассказывал, что автомат синяки на плече оставляет.

— Ого, даже так? Я и забыл совсем.

Дни текли. Мы успели съездить в город. Побывали в квартире с кубиками, которые стояли на той же полке, что и пятнадцать лет назад. Выгоревшие обои украшала поблекшая репродукция трех богатырей: раздутый Илья, морозный Добрыня, женственный Алеша. Всё как тогда. Жеманные улыбки за столом. «Что там в Москве?» Вино в рюмочках на тонких ножках. Желание понравиться и едва скрытый холодок в глазах.

Город пьянил красотой девушек и провинциальной дешевизной кафе. В такой обстановке можно было закружиться надолго, найдя себя ближе к осени уже женатым. Люди говорили на певучем утробном языке, который только по форме напоминал привычный. Слоги тянулись, звонко взлетая на конце, от чего становилось смешно и радостно.

— Ты, поди, на реке-то не был? — говорил Сережа, и мы ехали купаться.

С Аленкой я быстро подружился. Она каталась на моих плечах и мокро целовала перед сном. Я читал ей книжки, сажал на печку, когда сильно баловалась. Угольки глаз только сильнее лучились и просились обратно, обещая больше не хулиганить.

В выходные устроили шашлыки. И все сломалось. Приехали братья Наташи с женами и Сережин друг, который, расплывшись от теплого пива, рассказал, как они везли Николашку из Москвы.

— Приехал, значит. Забрали мы его из больницы. Глазки закрыты, будто спит. Что ж, говорю, теперь нужно без остановок мчать. А лето, жарко. Думаю, нет, не проскочим, пойдет запах дорогой. Выехали на шоссе, ну, пронеси господи. До самого Кирова не сбавляя — больше ста

постов! — и никто не остановил. Даже испортиться не успел. Привезли как новенького. На следующий день и похоронили.

Сережа стоял в нескольких шагах от меня. В его глазах были слезы, и он сделал вид, что отошел за дровами.

Наконец я попросил Наташу сходить со мной на кладбище. Она заметно растерялась. Тут бы не настаивать, да казалось, что приехал я именно за этим. Чувство прошлой вины не давало покоя. Хотелось сходить на могилку не только чтобы показать, что помню, но и для того, чтобы попросить прощения. За то, что не достучался и не уберег.

Идти решили рано утром. Деревня еще спала. Наташа дорогой молчала и скашивала глаза. Кладбище не имело внешней ограды, могилы тоже ничего не разделяло. Я искал глазами самую ухоженную, засаженную цветами, однако рука указала в другую сторону:

— Вот и он, Николушка.

Перед нами лежал участок сухой земли, поросший полынью. Мне показалось, что Наташе даже не хочется подходить, и вертевшееся на языке слетело, не встретив преград.

— Что ж ты, мать, — горько усмехнулся я, — совсем не следишь?

Она бросилась к земле, вырвала несколько стеблей и зарыдала. Я отошел к дороге. Желтое солнце плавало над деревьями.

Вечером Наташа пропала. Уехала провожать коллегу, который зашел в гости. Вернулась уже ночью, когда Сережа, плюнув, ушел спать в баню. С его слов я понял, что это случилось не в первый раз. Они почти потеряли контакт и, если бы не Аленка, потеряли бы и друг друга. Через несколько дней я уехал домой.

Моросило. Воздух был наполнен водной пылью. Мы сухо попрощались на перроне.

Сидя в купе, я долго не мог оторвать взгляда от окна. Пейзаж струился, уносясь вдаль. Поля перетекали в леса, становились поселками, станциями, заброшенными деревнями, затем снова густело зеленью. Я вспоминал историю, которую Сережа рассказал мне в тот длинный вечер...

Он очутился в Афганистане в восемнадцать лет. Вокруг были такие же, как он, ничего не понимающие, юные. Им не хотелось умирать. Но не все зависело от желания. Как-то утром их отправили в кишлак. Такое уже бывало. Нужно было осмотреть дома. Чаще всего в них ничего не находили. Иногда парни наступали на мины и возвращались без ног. Могла ждать засада — тогда домой тебя отвозили в цинке.

На краю кишлака отряд разделился. Сережа вошел в липкую тишину одного из домов. Каждый угол пугал темнотой. Фонарь выхватывал тени, в которых мерещилась смерть. За спиной раздался шорох. На инстинктах Сережа развернулся и ударил короткой очередью.

По земле к его ботинкам потянулась темная струйка. Придя в себя, он увидел тело маленького мальчика. Взгляд еще влажных глаз уходил сквозь ветхую крышу за облака. В небо.

## Сердце Родины

Галина проснулась в прозрачных сумерках. За окном серый мешался с коричневым. До треска будильника оставался еще час, до прихода поезда — три с половиной. «Неужели это произойдет сегодня?» — подумала она.

Вставать было страшно. Что-то фатальное чувствовалось в горьковатом утреннем воздухе, совсем непохожем на залитые солнцем мечты. «Вот бы спрятаться на весь день. Очнуться завтра, когда все закончится».

Она осторожно просунула мысок в холод комнаты, вздохнула и махом отбросила одеяло к стене. Кожа вдоль позвоночника моментально съежилась, защекотала. Верный утренний способ не давал сбоя.

Босые ноги по холоду крашенных досок. Щелчок выключателя. Комната разделилась на белый электрический свет и темную густоту предметов.

Соблазн вновь взглянуть на платье был непреодолим. Галина подошла к бочковидному шкафу, стоявшему у окна. Распахнула правую створку. За ней горело алым.

Светлой ткани достать не удалось. Магазины предлагали только серую и темно-синюю байку. Время шло. Тогда генерал-майор Советской армии, кавалер ордена Ленина Михаил Семенович Зуров позвонил знакомому в горком. Долго спрашивал о делах, слушал, мял губами папиросу и в итоге обратился с просьбой. Ткань для Галины Михайловны нашлась на следующий день. Но лишь обжигающе алого цвета. Генерал остался недоволен, дочь привычно сияла глубоко внутри. Спорить с отцом не полагалось.

На секунду вспомнив папино лицо, Галина окунулась в зеркало. Довольная улыбка разлилась по ее пухлым губам. Густые медные волосы едва касались плеч, закрытых поплином. Контуры платья очерчивали волнующие полные бедра, аккуратную грудь и высокую тонкую талию. При строгом статичном верхе, подол казался воздушным, парящим над молочными щиколотками.

Хотелось разрыдаться. Хотелось взлететь и взорваться тысячами алых бликов. Закрывать глаза и потерять дыхание. Или закричать, чтобы эхо отозвалось у северных морей.

Наступил день, которого Галина ждала еще со школы, в который она до сих пор не могла поверить.

Нужно было собраться. В десять часов приезжал Юрий.

Они познакомились в Дрездене, где после войны служили их отцы. Привычная новая школа, уже четвертая за шесть лет, очередной новый сосед. Долгий светловолосый парень, казавшийся полым из-за нескладной худобы. Ничего примечательного.

Через год Галиного отца перевели в Баден. Юриного отца перевели туда же. Галя с Юрой вновь сели за одну парту первого сентября. Затем был Таллин. И опять Юра сидел рядом.

За это время полый белесый сосед заметно возмужал. Его гранитная треугольная спина приковывала девичьи взгляды на уроках физической



культуры. Но еще с германских времен Юра решил, что женится на рыжей соседке, которую за зелень глаз одноклассницы называли Ящерицей.

К шестнадцати годам Галина поняла, что бесконечно влюблена в своего единственного школьного друга.

Затем пришло время определяться с институтом. Юра уехал в Ленинградскую артиллерийскую академию. Зуровы отправились в Ростов, где Галина поступила на юридический факультет университета.

Бывшие вначале страстными, письма с каждым разом теряли градус. Видеться получалось один-два раза в год. Юношеские мечты, казалось, совершенно полиняли. Однако в новогодние праздники молодой лейтенант приехал, чтобы сделать предложение. Долго болевшая Галина бабушка тихо заплакала и сказала, что теперь ей будет спокойно умирать.

— Выходи за него, Галюша, не думай, — шептала она. — Такой парень — редкость.

Расписаться решили на стыке зимы с весной. Точный день зависел от Юриного командира.

Тяжелая деревянная дверь скрипнула, сухой ветер ударил по щекам. Неуклюжие кожаные туфли терли пятку. Чтобы не взлететь над скользким льдом, Галя медленно ступала по едва заметным снежным следам.

За углом скрежетал дворник. Когда девушка проходила за его спиной, плоская фигура развернулась и столкнулась с яркой краской платья, выглядывавшего из-под пальто. Белая голова закачалась над черной телогрейкой. На очередном взмахе маятник остановился, фигурка повернулась и продолжила царапать асфальт.

Пустота улиц и серость домов удивляли. Помнилось, что тот дом розовый, а соседний — бледно-зеленый. Сегодня все сливалось в обледенелую тусклую массу. «Наверное, это от волнения, — подумала Галина. — Кто-то говорил, что так бывает, когда сильно нервничаешь».

На трамвайной остановке вихрился снег. Ноги в тонких чулках жгло. Вокруг не было ни души, машины тоже растворились. В доме на противоположной стороне слабо горело одинокое окно.

Через десять минут в тишину улицы беззвучно вкатился картонный коричневым трамвай. В окнах, словно страницы книги на ветру, дрожали пассажиры. Галина с трудом протиснулась в двумерный проем и встала у поручня. Двери бесшумно столкнулись, вагон понесло в сторону.

Внутри было тесно и душно, несмотря на полоски открытых форточек. Ветерок колыхал бумажных граждан, совсем не обращавших на это внимания. Двое мужчин с одинаковым черным кроликом на макушках неприятно косились на алое платье. Сидящая напротив женщина надула ноздри и захлопала губами. Через несколько остановок Галина вышла, вновь обретя объем.

Скамейка у входа на вокзал пустовала. Обычно здесь сидел бородастый дядя Коля, живший в соседнем с Галей подъезде. Потеряв на войне ногу, дядя Коля вернулся домой и захотел продолжить работу на железной дороге, которой отдал больше двадцати лет. Начальник вокзала, у которого война отняла единственного сына, отказать не мог. Дядю Колю

приняли слесарем на половину ставки. Но город знал его как гармониста, встречающего и провожающего поезда заливчатским переливом.

Зал молчал. Звон каблучков эхом ударял в высоту потолка. Девушка минуту простояла у чугунной батареи, висящей на острых крюках. Когда в пальцах перестало колоть, Галина огляделась. Во всем здании вокзала она была одна.

Что-то мерно скрипело в углу, пространство раскачивалось в ритм. Тянуло морозным воздухом, который уносил остатки сна. По плечу нервно хлопало. Открыв глаза, Юрий увидел землистое лицо проводницы. Лицо недовольно морщилось. У носа офицера оказался огромный круг часов. Стрелки показывали восемь ноль-ноль.

— Разоспался, простите, — улыбнулся. — Чаю можно?

Рука выстрелила указательным пальцем в сторону прохода.

— Спаси-бо. — Последний слог упал на пол.

Проводница растворилась.

Соседние полки пустовали, лишь на нижней проходной скамье виднелся черный сверток. Потерев веки, Юра разобрал в темноватом силуэте глаза и нос. Мальчик лет пяти в непомерной меховой шапке и ватнике, скрывающем руки, пристально глядел на молодого офицера. Офицер надул щеки, закатив глаза.

Фигура была отработанной и всегда вызывала детский смех. В этот же раз вместо привычного перезвона раздался сверлящий писк. Тут же откуда-то выскочила баба, завернутая в серый платок, и утянула малыша в соседний отсек.

— Ахиня какая-то, — пробормотал Юра.

Хотелось отвернуться к стенке и поспать еще, чтобы проснуться в другой, более дружелюбной реальности. Но времени не оставалось. Перед городом закроют туалет, в котором можно побриться. Без этого офицеру не положено. Тем более в такой день.

Китель блестел золотом скрепленных пушек. На плечах лучились погоны. Их полоски сегодня были особенно яркими, пульсируя малиновым. Казалось, что от формы идет тепло и свечение, оживляя соседние предметы. «От волнения, наверное, — подумал Юра. — Нервничаю, вот и мерещится».

Накинул китель, чтобы через минуту перевесить его на крючок в туалете. Разложил на грязном ободе раковины салфетку, сверху легли бритвенные принадлежности.

Утренняя гигиена давно стала для него точкой парения вне. Мистическим мгновением. С ранних лет Юра заметил, что стоит только ему приступить к обыденным механическим занятиям, как тело и сознание разъединяются. Пока материя повторяла привычные движения, дух касался изнанки времени. Порой его уносило в прошлое, чтобы пережить моменты гордости или пунцовые минуты конфузов. Иногда Юра взмывал над ржавыми раковинами и крышами, где его ждало хрупкое воображаемое будущее, которому не дано сбыться. Но минуты этой жизни были объемнее и ярче многих проходивших мимо лет.



В учебке часто подтрунивали над его отрешенностью при уборке снега или натирании полов. Юра усилил контроль над центром мечтательности, позволяя себе лишь небольшие кружения во время утренних процедур.

Влажные аккорды далекого фортепиано отрывали от земли. Юра подхватил юную Гаю и закружился с ней по коридору их первой школы. Проносились учебные годы. Размытая вереница одноклассников слилась в единую мутную полосу. Мелькнули седые усы директора Павлова. Слово «ящерица» ударило в потолок и отлетело назад со звонким смехом.

С каждым новым аккордом Галина хорошела, наполнялась временем. Из бледно-сиреневой она перетекла в тепло-розовый и, наконец, засияла пульсирующим рыжим.

Внизу живота жгло. Хотелось плюнуть на приличия, вспыхнуть — и тут в дверь постучали. Он очнулся. Рука доскребала остатки пены под правой ноздрей.

До города оставалось еще около получаса. Сев у окна, офицер попробовал докружить прерванное, но видение окончательно утекло. Из развлечений остался лишь мерзлый простор полей. Погрузившись в него, Юра очнулся на подъезде к вокзалу.

У выхода из вагона, впитывая свет, грудились темные силуэты. Сквозь туманные окна виднелся пустой перрон.

Когда Юра наконец-то сошел, все фигуры уже растаяли в сером воздухе, только улыбка и красный подол светились под навесом напротив. Поставив чемодан на мерзлый камень, офицер подхватил девушку и задышал в медь волос. Состав беззвучно отвалил прочь.

— Какой странный день, — прошептал Юра. — Краски словно спрятались.

— Я боялась, что твой поезд тоже растворился и ты не приедешь, — так же тихо ответила Галя.

Скрестив руки, они покинули вокзал. Трамвая ждать не пришлось. Вагон подъехал в такт к их приходу. Внутри было тихо и пусто; сквозняк похрустывал газетой, оставленной на скамейке.

Окна загса чернели, однако дверь оказалась открытой. В дальней комнате горел свет.

— Есть кто? — офицерский голос проскакал по темному коридору.

Не дождавись ответа, прошли к открытому кабинету. За широким столом сидела сухая дама с меловым, вытянутым лицом.

— Что вам угодно, товарищи? — встрепенулась она.

— Добрый день. — Юра представился. — Мы хотели бы расписаться.

— Вы предварительно записывались? — фыркнули сухие губы.

— Нет, — смутился жених, — но военным можно и без записи. В день обращения.

— Что ж, раз вам так не терпится... Заполняйте. — Дама кинула на стол какую-то форму и вышла.

Зажигать свет в большом зале она отказалась, сославшись на экономию электричества. Раздернув шторы, впустила в помещение седой свет и встала за тумбу.



— Именем Союза Советских Социалистических Республик...

Очнулась Галя на улице. На руке искрилось кольцо. Юра жадно курил.

— Какой странный день, какой странный день, — повторял он и улыбался.

От этой улыбки у Галины потеплело внутри. «Теперь — жена», — подумала она. Оставалось забежать в кондитерскую и дожидаться маму. Тогда пыль окончательно слетит и мир вновь обретет яркость.

В пустынной кондитерской пол был усеян опилками и песком. Юра пробил шоколадные конфеты. Продавщица молча перевязала блестящую коробку. «Удивительно, — думалось Гале, — оказывается, взрослая жизнь начинается с похода в магазин». Юра приобнял ее за локоть, и они зашагали к первому в их жизни дому, который нужно было оставить через день.

Мама приехала раньше и ждала в прихожей. В синей кофте она походила на завитый пирожок. Ее мягкие теплые губы разом оказались на Галиных щеках, потом прыгнули к лицу зятя.

— Здравствуйте, Полина Витальевна.

— Юронька, раздевайся, — запела мать. — Галюня, поставь чайник.

Пока Галя включала газ, они прошли в комнату. Полина Витальевна нацепила очки и собиралась вчитаться в паспорт дочери. В этот момент на кухне вскрикнули и что-то железное ударило об пол. Мать бросила книжечку на стол. На зелени страницы чернело: 5 марта 1953 года.

Вскрыв коробку, Галина не обнаружила конфетного набора. Вместо него внутри было огромное шоколадное сердце. Показалось, что оно пульсирует и переливается рубинами кремлевских звезд. Все закружилось, и Галя упала куда-то вглубь.

Вынырнув, она обнаружила себя на стуле; мать терла ей виски мокрым полотенцем. Юра распахнул заклеенное на зиму окно. В кухню влетел морозный воздух, а вместе с ним глухие звуки гармонии, на которые поначалу никто не обратил внимания.

Мелодия цвела своей жизнью. В ней сливались радость избавления и колючее горе потери. Теплые звуки вплетались в ледяные, и нельзя было различить главного настроения. Эта музыка скорбела и радовалась одновременно. Царапала, нашептывая мысль, что все живет во времени и время поглощает каждого. Но оно же и порождает всех из себя, чтобы вытянуть и наполнить вновь.

Гармонь звучала все громче, наполняя город, поднимаясь над ним. Мелодия взлетела к облакам. Достигла далеких башен столицы, зазвучала резче. Наполняла собой леса, ветреные степи. Отдавалась эхом у северного моря.

И каждый слышавший впитывал ее в себя, становился частью этой вибрации и тихо подпевал гимну времени, который играл пьяный гармонист, потерявший в атаке ногу. Выкрикивая его имя.

Виктор КОВРИЖНЫХ

**«ЗА ГОРЬКИМ ХЛЕБОМ В ХОЛОДА...»**

\* \* \*

Кто в Голливуд, кто в храм, кто на завод.  
А я иду доить свою корову!  
И жизнь всегда нормальна и здорова  
в моих пределах буден и забот!

С коровой рядом я построил дом.  
За домом — сад. Замечу вам: не Слово,  
была вначале все-таки Корова,  
а прочий мир приладился потом...

Звенят в подойник струйками века!  
Ты говоришь, трактую я неверно?  
А ты меня попробуй опровергни,  
когда попьешь парного молока!

Не бедствуя живу в своем краю.  
Считаю дни, расходы и доходы.  
Весной приходят с просьбой садоводы —  
продать навоз. И я им продаю.

**Глафира**

Вновь откроется калитка со скрипом —  
вот и она, будто вещая сила.  
Голос ее — потускневший и хриплый,  
будто осенним дождем простудила.

Старая-старая, точно скитание  
в скорбной юдоли, войной опаленной.  
Только в глазах еще брезжит сияние,  
словно заката огонь потаенный...

— Что тебе надобно, бабка Глафира? —  
тихо спрошу я незваную гостью.  
— Знаний поведать сердечного мира.  
Скоро утешусь травой на погосте...

Тускло мерцают запавшие очи,  
 брезжит ознобно природа иная.  
 — Много ты знаешь о жизни и прочем,  
 только душа твоя большее знает, —

скажет мне это и с кроткой улыбкой  
 встанет с крылечка, платочком утрется.  
 Выйдет на улицу, скрипнет калиткой,  
 вздох потаенный в листве отзовется...

Ночью однажды ужалила жалость.  
 Стало вдруг зябко, тревожно и сиро.  
 Помню, подумал: «Глафира скончалась».  
 Утром сказали: «Скончалась Глафира»...

### В деревне

На дне седого дня — газетный снег...  
 По расписанию автобусы и зимы.  
 Чтоб вычислить светил разумный бег,  
 достаточно тропы до магазина.

Предугадать высокий вещей свет  
 не мудрено в глуши и во столицах.  
 Тропе уже почти две тыщи лет,  
 и никогда не поздно возвратиться

в народ, за горьким хлебом в холода...  
 Жизнь — оттиск реформаторского неба.  
 И если Он с небес сойдет сюда,  
 то молча встанет в очередь за хлебом.

Так жизнь выросла корнями — не содрать! —  
 в текучку дней, традиции, приметы,  
 что проще землю заново создать  
 по чертежам библейского Завета...

А снег летит с газетного листа,  
 и жизнь течет по руслу объяснимо.  
 И ощущать присутствие Христа  
 полезней, чем Его увидеть зримо.

\* \* \*

Ускользя к дальнему рассвету,  
 душу мою вытянет на ветер.  
 Вот уж электричка не слышна.  
 Следом обнищает тишина...

Подберу к мелодии металла  
молодой черемухи слова.  
Вспыхнет свет заводов до Урала,  
но цветы погаснут и листва.

Ни к чему придумывать мне долю —  
загадала так природа-мать:  
нянчить свет удобно мне в ладонях  
и топор убийственный держать.

И скажу расхожую строкою,  
отправляясь в угольный забой:  
людям свет несу одной рукою,  
высыхают реки от другой.

Не молюсь расхристанному свету,  
коль во мне падение и взлет.  
Соль судьбы бросаю, как монету,  
тяжела — не каждый подберет...

\* \* \*

Непонятно мне все же, куда мы спешим,  
растворяясь в толпе обреченно?  
Над чумазой котельной скорбит черный дым,  
оттого что он — черный...

Веют жаром в лицо мне порода и шлак,  
слепнут птицы в промышленном зное.  
В спину дует тоской безысходной сквозняк  
из пустых родников и забоев.

Шорох ржавой травы, в придорожной пыли  
вянет горсть одичавшего сада.  
И присниться бредет к Сальвадору Дали  
металлический облик распада.

Соком горьким исходит полынь на песке,  
даль сгорает пред мысленным взором.  
С убыванием речи живой в языке  
вымирают леса и озера.

Зерна пепла и шлака стекают из рук,  
дым вопросом вздымается снова.  
И стенает в душе неприкаянный звук,  
как обломок начального Слова...

## Новые имена

Совет молодых литераторов — новая структура в составе Союза писателей России. Одной из главных ее задач является поиск талантливых молодых авторов (для их дальнейшего творческого развития на Всероссийских совещаниях молодых и продвижения). Однако на первых порах я ощущал, что практически все хорошие авторы, которых мы приглашали на совещания или предлагали для публикации в толстых журналах, были мне знакомы и раньше, а значит, их «открытие» не есть плоды работы выстроенной системы, а просто результат личного критического поиска.

Но сегодня мне особенно приятно представлять на страницах «Сибирских огней» писателей, которые были найдены нами именно в результате работы Совета молодых литераторов как структуры. О Юрии Фофине и Марии Стародубцевой мы узнали после их участия во Всероссийских совещаниях молодых в Ульяновске и Химках, а Ирина Иваськова была рекомендована нам Краснодарской писательской организацией, а потом обсуждалась на регулярных семинарах при СПР в Москве.

На первый взгляд, представленные рассказы объединяет то, что в центре их художественного мира — мировосприятие ребенка (или воспоминание взрослого о своем детском восприятии, как у Фофина). Однако это лишь поверхностное тематическое сходство. На самом деле у этих авторов совершенно разные художественные методы.

Рассказ «Остров преткновения» Марии Стародубцевой — реалистическое повествование о девочке с редкой болезнью кожи и ее родителях, бессильных победить недуг. Одно из главных достоинств прозы Стародубцевой — зримая описательность: вы долго еще будете помнить, как отец девочки затыкает на зиму окна ветошью или как ветер треплет в поле ковыль, такой же мягкий, как волосы матери. Восприятие девочки своей болезни и мира вокруг выписано с множеством точных психологических подробностей. Например, глядя на змею, Лика думает о том, как та сбрасывает кожу — почти так же, как делает это сама Лика во время мучительных перевязок, и девочку волнует вопрос: умирает ли змея после этого, а значит, умрет ли сама она от своей болезни? Или в другой сцене Лика с обидой смотрит на восходящее солнце, которому не нужно есть, и по этой наивной детской обиде мы понимаем, как бедно живет их семья и как часто они голодают. В рассказе нет никакого развития; сюжет вроде бы начинает двигаться после увольнения матери Лики, но потом опять тормозит, и рассказ, по сути, ничем не заканчивается. Но эта статичность не изъян повествования, а лишь органическое соответствие содержания форме: ничего не изменится в жизни этих людей, нет у них ни возможности, ни душевных сил преодолеть ситуацию. И опять Лика будет просыпаться по утрам и смотреть на стрелки остановившегося будильника, показывающего одно и то же время. Это замершее время — ключевая метафора текста.

В отличие от рассказа Стародубцевой, в произведении Юрия Фофина («Проснешься ночью...») прослеживается отчетливая динамика:

от болезненной ненависти к отцу, воплощенной в воспоминаниях об убитых им цыплятах и резком «мы — разница», к примирению, связанному с воспоминанием о пойманном щуренке и смутным образом отца, привидевшегося герою в конце рассказа; от веток клена, бьющих в стекло во время ненастья, до касания рукой листьев, теплых и мягких; от парализованной отцовской щеки, которую изредка пронзает беглая жилка, до озаренной светом улыбки во все лицо. Это не совсем реалистическое повествование, скорее лирический монолог, иногда переходящий в явный сюр (в сцене кричащих книг — далеко за гранью художественного вкуса), но именно этот отчаянный лиризм вкупе с болезненным выходом в пограничные психологические состояния и вызывают то сильнейшее художественное напряжение, на котором держится весь рассказ.

«Время красных птиц» Ирины Иваськовой по методу уже совсем не реализм: окружающий мир преломлен здесь сквозь призму «остраненного» восприятия главного героя — мальчика, а черты других героев чрезмерно акцентированы. На самом же деле это именно те черты, которые лучше всего характеризуют этих людей, и потому акцент и даже некая гипертрофированность не влекут за собой повреждения достоверности, а, скорее, позволяют наикратчайшим путем одолеть дорогу к правде, взять единственную точную ноту без излишнего обыгрывания. Марья Ивановна, сплетничающая с квакающей лягушкой по телефону; тетька Марина, обиженная любимым мужчиной и потому в разговоре с ним словно поющая жалобную песню без слов; только что увиденный в первый раз отец с синими-пресиними глазами, которому хочется открыть все тайны, но который в итоге беспечно тащит сына по своим делам, не обращая внимания на его болезнь, — всех этих людей видно ясно и явно. А метафора красной птицы, тонкая, едва уловимая и неразложимая до рационального преобразования одного смысла в другой, — признак настоящего мастера художественной прозы.

Красная птица в рассказе Иваськовой, вырастающая из простой детской игрушки до образа чего-то большого, теплого, материнского, которое обнимает мальчика, «слабенького птенца, закрывает ему лицо мягкими крыльями, шепчет, что все будет хорошо, и пахнет дождем», — это мощное гармонизирующее начало, неожиданно превращающее сумбурный, принципиально негармоничный мир из собрания квакающих звуков в стройный аккорд. Эту же роль играет в рассказе Фофина появление отца на площадке перед кафе, а у Стародубцевой — пахнущие ковылем волосы матери Лики в воспоминании о примирении родителей (хотя это легкое гармонизирующее начало здесь мгновенно перебивается ощущением безысходности заброшенного острова и болезни, которую нельзя победить).

По сути, все эти авторы, может, бессознательно, но пытаются гармонизировать сумбурную и жестокую жизнь вокруг — конечно, в рамках собственных художественных возможностей и творческих задач, стоящих перед ними. И это то, что на самом деле объединяет Марию Стародубцеву, Юрия Фофина и Ирину Иваськову и побуждает меня с нетерпением ждать их новых произведений, предчувствуя в них и дальнейшее творческое развитие.

**Андрей Тимофеев,**

председатель Совета молодых литераторов СПР

Мария СТАРОДУБЦЕВА

## ОСТРОВ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Р а с с к а з

### 1.

На острове трудно спать спокойно по ночам. Постоянным ритмом тут стал глухой, доносящийся отовсюду звук, к которому все давно привыкли. Особенно отчетливо его слышно ночью, когда другие звуки в деревне стихают. Это грохот прибоя, шум волн, бьющихся в темноте о скалы, шум, окружающий остров кольцом.

Ли́ка всегда просыпается рано. Ухватившись рукой за неровный край столешницы, она привстает и опирается на покрытую клеенкой поверхность письменного стола у изголовья кровати. Стол находится у самого окна, довольно большого окна, состоящего из трех маленьких. Так его разделили белые, крашенные известкой деревянные рамы. Окно двойное, между стеклами неширокий зазор, в котором уснули две мухи. Одна лежит лапками кверху, растопырив полупрозрачные сетчатые крылья. Раньше Ли́ка хотела достать эту муху и выпустить в окно. Но открыть окно зимой нельзя: оно заткнуто полосками грязной ветоши. Ли́ка любит смотреть на отца, когда осенью он затыкает окна. По полчаса стоит перед каждым из шести окон с мешком ветоши, рвет ее на полосы, потом втискивает тряпки в щели ножом с белой костяной ручкой. Ее он к этому занятию не допускает, разрешает только смотреть.

Остров открыт всем ветрам, но особенно Ли́ка любит восточный ветер, самый коварный и холодный, при котором легче всего простудиться. Зато именно в такую погоду лучше всего идет в невод сайра. Маленькая рыба, серебристо-серая, блестящая, узкая и жутко холодная, — главное богатство острова. От сайры здесь зависит все.

Папа работает инженером на рыбокомбинате «Рыбный остров». Это большое красно-коричневое трехэтажное здание с кучей блоков и цехов, уходящих к самой воде. У комбината свой причал и флотилия баркасов. Зимой комбинат часто простаивает и жизнь в селе замирает. А это плохо: зимой папе сокращают зарплату и на столе очень редко появляется любимая Ли́кой рыбная запеканка. Слишком дорого обходится, и это навсегда, говорит мама и уходит в свою комнату. Навсегда — это очень-очень надолго. На всю жизнь, Ли́ка точно знает.

Ее мысли возвращаются к сайре. Девочка голодна, она постоянно голодна, как и папа и мама. Вон солнцу, скрывающемуся за синими утренними облаками, все равно, оно не чувствует голода.

За окном идут рабочие, постепенно их становится все больше. В сумерках Ли́ка видит высокую фигуру отца с его вечной «студенческой» сумкой на ремне через левое плечо. Всегда через левое. Папа собрался тихо-тихо, боясь разбудить дочь, не зная, что она давно не спит.

Боясь разбудить маму, которой только к семи, выскользнул из дома и теперь крадучись бежит по снегу в свой производственно-технический отдел в корпусе № 2. А домой он приходит чаще всего за полночь, когда Лика уже спит. Лика скучает по отцу, словно он в дальней командировке. Они живут в одном доме, а видятся в лучшем случае раз в неделю, по выходным.

С бухты доносится резкий гудок. Это «Верный», корабль береговой охраны. Неподалеку от комбината, в сопках, размещена застава пограничников. Они защищают нас от японцев — так говорит папа. Япония отсюда не видна, она на юге, на другом краю моря. К ним иногда приплывают японские рыбаки, вечно с хмурыми, неприветливыми лицами. А пограничники представляются Лике большими и сильными, как сторожевые овчарки на комбинате. У них несколько кораблей: три маленьких и один большой. «Ракета» — папа говорит, что это эсминец. Лика его видела один раз в окно, издалека. Но он закрыл собой полгоризонта — она тогда чуть не упала с кровати на пол, а это никак нельзя. Нельзя — и всё тут.

Еще гудок. Лика умеет в свои восемь с половиной лет различать корабли. Это «Алиста» — сейнер с Кунашира. Он был в ночном рейсе. Гудок протяжный и совсем близкий, значит, улов хороший. Сайру ловят ночью — приманивают бортовыми прожекторами, желтым электрическим светом. Косяк подходит к судну и попадает в ловушку. Рыбу ищут на глаз, иногда проходят десятки миль и возвращаются ни с чем.

Лика не любит живую рыбу, ей жалко смотреть на тысячи трепещущих тел. Папа как-то водил ее на причал, туда, где разгружаются комбинатские баркасы. Сам он не ловит рыбу, его задача — инспектировать производство, следить за машинами на комбинате и составлять отчеты по каждому баркасу в летнюю навигацию. Каждая рыбина попадает в отчет; отца уволят, если он ошибется, — так он сам говорит.

За окном совсем рассвело. Лика слышит мамины шаги в кухне. Мама у Лики — Ксюша. Ксения Вадимовна Лебедева. Она всегда торопится в школу — учит соседских детей математике и литературе. Говорит, учителей не хватает и приходится преподавать столь разные предметы. Математику мама хорошо знает, а литературу терпеть не может, считает ее скучной. Она часто просыпает, потом бежит по дому в поисках одежды.

Мама не очень высокая, поэтому обожает каблуки. Папа из-за этого вечно ее подкалывал, мол, на каблуках по камням ходят только ведьмы. Мама краснела, а папа смеялся. Теперь он редко смеется и редко называет маму ведьмой. В последний раз — летом, когда они запускали воздушного змея на обрыве за домом. Тогда было реально здорово: змей взлетел высоко, папа его еле удерживал, тонкая бечевка разогрелась у него в пальцах и чуть не выскользнула. Мама стояла рядом, и ветер растрепал ее волосы, пушистые, как мех у кроликов с фермы дяди Коли Щеглова. Это их сосед, до его дома полкилометра по лугу, ближе домов нет. Их не очень удобно строить на камнях и изорванном рельефе, говорит папа.

Кстати, в тот раз он все-таки упустил змея. Мама подошла к нему, они разговорились, смеялись, короче, змей улетел. Лика долго смотрела



в небо, задрав голову, пока у нее не заболела шея. После они нарвали полевых цветов, лютиков, васильков, ковыля. Лика помнит, как красиво колышется мягкий, пушистый белый ковыль, когда его треплет ветер. И мамины волосы как тот ковыль, такие же мягкие. Сама Лика цветы не рвала, папа не разрешил. Ей нельзя много тревожить руки: кисти не перебинтованы, но все равно кожа ползет с них слоями.

Как это — ползет слоями? Вот на острове есть змеи динодоны, метровые, коричневые с черными пятнами. Раз папа принес домой кожу динодона — легкий прозрачный футляр, почти невесомый, на котором слабо отпечатался рисунок настоящей новой шкуры. Слезшая кожа мягкая и немного липкая, она шелушится и мнется, а когда засохнет, то легко ломается. Очень странно и противно держать в руках такой футляр от змеи. Вот и у Лики так же, как у того динодона. Интересно, когда змея сбрасывает кожу, она умирает? Наверно, нет. А она сама?

В комнату заглядывает мама и тревожно смотрит на дочь.

— Господи, Лика, опять встала ни свет ни заря.

У мамы немного усталый голос: она вчера засиделась допоздна, проверяла письменные работы учеников. Ох, как же Лика не любит это словосочетание — «письменные работы». В такие минуты к маме лучше не подходить, ее даже папа боится.

— Слезь со стола.

Дочь прыгивает на пол. Мама вздрагивает.

— Ты с ума сошла! — Ее голос окатывает Лику ушатым холодной воды. — Сколько раз я тебе говорила: нельзя так резко двигаться. Нельзя прыгать. Покажи ноги, живо!

Так, сейчас надо втянуть голову поглубже в плечи и зажмуриться, чтобы мама еще больше не разозлилась. Нет, она никогда не бьет Лику, пальцем не трогает. Только кричит, а вечером иногда плачет, уткнувшись в письменные работы. Лике жалко маму, она покорно садится на постель, ерзает на ней, стараясь издавать как можно меньше скрипа, осторожно вытягивает ноги. Мама внимательно смотрит, не появилась ли на бинтах опять кровь. Ноги у Лики от бедер до пяток перемотаны бинтами, вонючими, не сменяемыми по два-три дня бинтами, под которыми все зудит и чешется, а расчесывать нельзя. Лика раньше расчесывала бинты, только потом еще больней.

Они идут на кухню.

— Лик, сейчас мне некогда, — говорит мама, накладывая дочке овсяную кашу.

Ужасная бурда, но она укрепляет клетки кожи. Так говорит дядя Коля. Он геркулесом кормит своих кролов, и они у него здоровенные, толстые. Мама прислушивается к каждому слову дяди Коли, а папа его терпеть не может. А Лика боится.

— Я приду к трем часам и сделаю тебе перевязку. Лежи в кровати, поняла? (Лика трясет головой.) Можешь включить телевизор. (Мама привыкла командовать: в школе очень шумно, приходится постоянно кричать, и мамин голос хриплый именно из-за этого.) Еда в холодильнике, я оставила немного каши в кастрюле. Все, давай, пока.

Мама мельком смотрит на наручные часы, которые ей подарил папа на прошлое Восьмое марта, набрасывает на себя темно-вишневый длинный плащ и вылетает за дверь. Шубы и пальто у мамы нет — только этот плащ, сколько Лика себя помнит.

— Пока, мам, — одними губами говорит Лика.

## 2.

— Ксения Вадимовна, милая моя, да я что же, не человек, по-вашему?

Анна Сергеевна, завуч малокурильской средней школы, строго взирает на аккуратно сидящую на краешке стула учительницу. Лебедева бледная и озлобленная и даже не пытается скрыть раздражение.

— Анна Сергеевна! — Голос у нее противный, резкий, как металл по металлу. — Я просто не понимаю: в чем дело? — Она почти плачет. — Я работаю здесь четырнадцать лет и за все время не заслужила ни одного упрека. У меня грамоты с благодарностями, подписанные вашей рукой.

Тут ее прорывает и она начинает натужно всхлипывать. Смотреть противно; завуч украдкой морщится, глядя, как Лебедева дрожащими руками вытаскивает из объемистой черной сумки упаковку влажных салфеток, трясет ее, рвет упаковку, достает салфетку и начинает бешено тереть глаза. На жалость давит. Да, жалко ее, конечно, но, скажите на милость, зачем было являться сюда и рыдать средь бела дня? Умереть можно со стыда.

— Ксения Вадимовна, перестаньте, — жестко говорит Анна Сергеевна, ерзая на стуле и нетерпеливо сжимая и разжимая сухие тонкие пальцы. — Сюда могут войти в любой момент... Зайдите в отдел кадров, заберите все документы.

Лебедева вскидывает на Анну горящие, злые глаза с размазанной тушью.

— За что? За что, я вас спрашиваю? — тонко кричит она, почти пищит, как крыса.

Анна чувствует, как в ней закипает бешенство. Да кто она такая, эта истеричка?

— На тебя кто только не жаловался, — открытым текстом шипит завуч в ошеломленное лицо Ксении. — Сколько можно? Ты уже весь коллектив достала своими истериками. Хватит, Лебедева, надоело. Сама знаешь: в стране кризис, идет повальное сокращение штатов. Скажи еще спасибо, что хоть выходное пособие тебе даем — на дочку деньги будут. Мелочь, а приятно.

— На дочку, говорите? На дочку, значит. Выходное пособие?

Она неожиданно засмеялась завучу в лицо — та с трудом удержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска.

— Я ж вам в ноги упаду — только назад возьмите! Что ж вы за люди такие? — заголосила уже, как деревенская баба.

А зачем Анне ее проблемы? У самой двое детей, концы с концами тоже надо сводить. В бюджете села денег нет на большой штат учителей,

понимать должна. Что ж, дети останутся без математики и литературы, перейдут на дистанционное обучение.

— Уходите, Лебедева, — устало говорит завуч. — У меня урок, звонок через минуту.

Ксения вскочила со стула и, не простившись, выбежала в коридор. Даже в грохоте школьной перемены Анна услышала, как раздраженно стучат по деревянному полу ее каблучки. Модница, тоже мне.

Ксения быстро шла по подтаявшему снегу, скользя на каблучках, чуть не падая. В тонком плаще она вспотела, и ветер теперь сильно продувал ей спину.

Магазин в селе один, утонувший в покосившихся серых заборах и ржавой рабице. Название громкое — супермаркет. Назван так потому, что здесь на один прилавок вывален хлеб, мясо, рыба, тесто, гарпуны, бинты, капли в нос, виагра, рыболовная сеть, крючки, пара книжек и стопка тетрадей. Пожалуй, это весь ассортимент. Траулер с Сахалина придет только на будущей неделе, так что свежего мало. Ксения берет булку серого хлеба, молоко, восемь пачек бинтов. Бинты — главная ее цель, сорок рублей пачка.

В Малокурильском без перемен. Вечное серенькое небо поздней зимы, скользкий лед и снег под ногами, неровная дорога, на которой так легко запнуться, бродячие собаки на помойке, в полукилометре темная вода. Бухта не замерзает, обледенели только пришвартованные у берега баркасы. И темнеет вдали громада комбината, всосавшего в себя все рабочие руки на острове.

Домой идти не хочется. Там все то же самое: сырой запах в комнатах, двухвостки в туалете под половой тряпкой, затхлый запах желтого холодильника с заедающей дверцей, бормотание телевизора. Куча маленьких дел. Полить цветы, ее любимые кактусы и фиалки, приготовить обед — щи из капусты. Капусты у них много, она уродилась в этом году, чулан ею завален, она гниет и воняет на весь дом. Кажется, Ксению будет всегда преследовать это видение: полутемная прихожая и сладковато-гнилой запах капусты. И большие напуганные глаза дочери. Такие же, как у нее самой.

Ксения не может смотреть в глаза Лики, а та, завидев мать, ежится, как от удара. Маленький запуганный мышонок. Ксения не любит думать обо всем этом, ей некогда вникать в свои отношения с дочерью. Лучше оставить все как есть, и так забот полно. Надо только не смотреть дочке в глаза, не отвечать на ее вопросы. Не отвечать, почему на обед снова будут щи, а не ее любимая рыбная запеканка. Не отвечать, почему Лике нельзя иметь котенка ни с голубыми, ни с какими глазами. Сколько раз уже говорено, что болезнь обострится, пойдет раздражение и кожа полезет клочьями, как летом. Зимой немного легче: дочь сидит взаперти. Правда, без глотка свежего воздуха. Она такая худая и бледная, но что же делать?

Ксения боится возвращаться домой. Она открывает дверь ключом, значит, муж не приходил. Неслышно снимает плащ, вешает его на дверь, проходит в кухню, включает свет.



— Лика, я дома, — кричит она, стараясь, чтобы голос звучал повеселее.

Из спальни девочки раздаются шаги.

— Привет, мам.

Лика медленно выходит к столу, садится, подперев локтями голову, и смотрит на маму. Ксения делает вид, что роется в сумке, вытаскивает хлеб и молоко, потом бинты. На лице ребенка отражается ужас. Ксения знает почему. Бинты они не меняют по три дня, чтобы хоть немного успело зажить. За это время марлевая ткань врастает в ребенка, как вторая кожа, и отодрать ее безболезненно невозможно.

— Лика, успокойся, — твердым голосом говорит Ксения. — Я постараюсь быстро.

Девочка кивает и покорно протягивает руку для экзекуции. Ксения греет воду кипятильником — не очень горячо. Затем наливает воду в жестяной ковш, ставит на стол, опускает туда правую руку дочери. Ручка напрягается и дрожит — Ксения едва не плачет, но ребенку это показывать нельзя. Ребенок должен верить, что все будет хорошо — это мама твердит как мантру.

Нужно подождать, пока бинт хоть немного размокнет. Ксения засекает время на часах, три минуты. Потом осторожно начинает разматывать бинт. Лика напрягается всем телом, чувствуя, как вместе с бинтом с тонкой бледной руки ползет кожа желтоватыми пластами, почти прозрачными и липкими. Бинт отслаивается, и вода в ковше становится нежно-розовой от крови, и в ней плавают пласты тонкой кожицы, а на руке, от локтя до кисти, кожи как таковой нет, лишь тонюсенькая розовая пленка, а под ней трепещущая ткань и мясо.

Лику мутит, Ксению тоже. Дочь молчит, только смотрит на маму, ища поддержки. Ну почему мама всегда отводит глаза? Лика плачет; она чувствует слезы, но на щеки они не скатываются. Уже не скатываются. Она привыкла к боли в свои восемь с половиной лет.

Она молча ждет, когда мама развернет бинт на второй руке. Кожу на воздухе открытой оставлять нельзя, она слишком нежная. В школе маме говорили, что для размягчения и увлажнения можно мазать кожу растительным маслом. Масло хотя бы не щипет, как мыло, его вообще не чувствуешь. Лика довольна; масло мягко стекает на рубцы и на стол.

Выждав еще четыре минуты, пока масло впитается, мама начинает накладывать свежий бинт. На горящее розовое мясо, на открытые раны. Их больше с каждой перевязкой — опять нужно вести Лику к врачу и унижаться, прося направление в Южно-Сахалинск на обследование. Снова надо подавать документы на присвоение инвалидности: третий год не дают. Стоп, ребенок не должен ничего видеть. Ксения устало вздыхает.

— Давай снимем кофточку, вот так, — ласково пытается приговаривать она, однако голос слишком резок и дрожит: она еще не пришла в себя после перепалки с завучем и плохо сдерживается.

Лика чувствует нарастающее раздражение мамы и думает, что это из-за нее. Мать и дочь редко могут понять друг друга, но им все равно. Они привыкли и смирились. Лика снимает синюю кофту, расстегива-



ет пуговицы, обнажая худое тельце, обмотанное бинтами полностью, от горла до пояса. Молочно-желтые бинты, сквозь которые на плечах и спине проступает засохшая кровь. Девочка не может лежать целыми днями без движения, а на плечах и спине кожа тонкая. Где тонко, там и рвется. Мама берет губку, мочит ее в воде и начинает медленно водить по бинтам, чтобы они отмокали. Вода остыла, Лике холодно и щекотно, но она не улыбается, а настороженно ждет, когда мама станет отдиирать бинты.

Лика ощущает сладковатый запах собственного гниющего тела. Ксения старается снимать здесь бинт особенно нежно, да нечаянно дергает — рука дрожит от перенапряжения — и бинт рвется вместе с кожей, оставляя длинную кровавую полосу. Лика крепится из последних сил, кусать губы ей тоже нельзя: их придется залеплять пластырем, а это еще хуже. Теперь, когда все бинты сняты, можно увидеть тело девочки — сплошную кровоточащую рану, язву, гниющую по краям, коросты, которые зудят и щипят.

...Закончив с перевязкой, мама выливает воду в помойное ведро, выкидывает в мусорку остатки бинтов и с фальшивой улыбкой идет готовить обед. Лика хорошо понимает, что улыбка ненастоящая, хотя мама думает, что дочь ничего не замечает. В ожидании неизбежных щей девочка возвращается к телевизору, по которому иногда показывают мультики.

### 3.

Отец приходит под вечер, когда за окном холодает и в воздухе повисают густые сапфиново-синие сумерки. То, что папа пришел, Лика слышит сразу. Их окно не пластиковое, как в кино, сквозь него все-все слышно: и лай соседских собак, и скрип тяжелых шагов по снегу. Папа ходит всегда быстро, неподвижно глядя в одну точку перед собой. И зрачки глаз у него вечно расширены — он смотрит на тебя, а вроде бы и вскользь. Дверь открывается и хлопает так, что стон идет по всему дому. По полу начинает тянуть холодом: папа неплотно закрыл дверь. Он пыхтит, пока раздевается и раскладывает на кухонном столе сумку, ставит в угол под лавку ботинки — черные, запачканные желто-серой грязью.

Из дальней комнаты идет мама. Сквозь стенку Лика слышит все.

— Привет, — сухо говорит мама. — Ужинать будешь?

— Естественно, — отвечает папа, усаживаясь на диван перед телевизором.

Диван скрипит, значит, сейчас папа перегибается через его спинку в поисках пульта. Шарит под одеялом, пульт заклинивает (он перемотан изолентой). Так, телевизор включился, кажется, новости.

Мама на кухне стучит ножом, режет на разделочной доске хлеб.

— Олег, тебе щи греть или так поешь?

— Так сойдет.

Папа пробует переключать каналы; Лика слышит шипение, помехи. Он притаскивает на диван ноутбук. Единственный компьютер в семье появился три года назад. За ноутбуком Лике можно сидеть только по вы-



ходным, с вечера субботы до вечера воскресенья, потому что в это время папа лежит на диване, уткнувшись в «Вести недели».

Мама ставит тарелку с холодными щами на маленький столик перед диваном. Папа быстро ест, поглядывая на загружающийся ноутбук. Ест он без хлеба и добавляет много соли. Солит он буквально все: если не остановить, посолит даже пряник.

— Лика где? — спрашивает он в перерыве между двумя ложками.

— В комнате, — говорит мама, садясь рядом с ним. — С обеда лежит на кровати на животе, носом в подушку, и молчит. Сегодня мы делали перевязку, опять бинт в кожу врос.

— Ясно. Чай ставила?

— Всё на кухне. Можешь кофе сделать, я молока купила.

— Да ладно, обойдусь.

Отец идет на кухню, возвращается минуты через три с большой железной кружкой горячего чая. Кружку он держит двумя руками, спрятанными в рукава свитера, чтобы не обжечься. Мама сидит на диване очень прямо, сверлит глазами телевизор.

— Что случилось, почему такая мрачная?

Он отставляет кружку и шутливо трясет маму за плечо — она раздраженно отстраняется.

— Олег, меня сегодня уволили.

В глазах у нее стоят слезы. Лика чувствует это по тому, что за стеной повисает тишина. Потом отец резко встает и начинает ходить по залу. Пол поскрипывает. Папа вытаскивает из кармана джинсов пачку сигарет и зажигалку и затягивается. Обычно он курит, только когда злится. Курит он «Максим» и говорит, что эта марка — мерзость, но взять дозу никотина можно. По комнате расходится неприятный запах дыма, мама шмыгает носом.

— Она сказала, что я достала коллектив своими истериками, понимаешь? Что я запугиваю детей бесконечными контрольными и порчу ей отчетность своими больничными. Сволочь.

Все это мама говорит без эмоций, ровным, спокойным голосом. Хочет показать, что ей без разницы.

— Поделом, — мрачно отвечает папа. — Допрыгалась. Будешь впредь думать головой, а не задницей. И истерить меньше.

— Ты вообще псих? — дергается мама. — Я говорю, меня уволили! Выкинули на улицу с половинным выходным пособием и без рекомендаций. А я этой стерве сказала перед уходом все, что о ней думаю.

— Дура. Завтра пойдешь и попросишь о восстановлении.

— Даже не думай. Вот что: может, ты поговоришь, пусть меня возьмут в твой отдел на бухгалтерию?

— Ишь чего захотела. — Папа отрывисто смеется. — Бухгалтерия — золотая жила, она забита на годы вперед. Начальник лютует, партия сайры неполная. Сейнер даже трюм не наполнил, прикинь? Каждая пара рук на счету, вакансий нет... Завтра пойдешь и будешь просить.

Некоторое время все тихо. По телевизору идет «Давай поженимся». Лика терпеть не может эту программу. Папа сидит в ноутбуке, строчит

очередной отчет; мама, скрестив руки на груди, сидит на краю дивана. Ее вытянутые ноги пересекаются с отцовскими в грязных джинсах.

— Я не пойду, Олег, — тихо говорит мама. — Они вышвырнули меня сегодня, я не хочу снова их видеть. У меня тоже гордость имеется, зачем мне метать бисер перед свиньей? Думаешь, она не понимает, что мои больничные из-за Лики? Да, у меня дочь — инвалид. Так что, я в этом виновата, по-ихнему?

— Она не инвалид, — папа не отрывается от ноутбука, — она нормальный ребенок, просто немного больна.

— Надо же, вчера ты обозвал ее обузой, — саркастически усмехается мама. — Олег, нужны бинты, о которых говорила Анька на той неделе. Специальные, эластичные. Щадящие.

— Без тебя знаю. И без твоей Аньки и бабы Маньки с базара, — огрызается папа, громко щелкая мышкой.

Мама вздыхает и возвращается к просмотру передачи. О Лике опять забыли. Она лежит себе в темной комнате и пытается заснуть. Она редко ужинает с ними вместе.

Раньше у нее была детская книжка — «Рубиновая книга сказок», толстая, с картинками. Ее отдали в комиссионку, сказали, что Лика выросла. Она не плакала, конечно, станет она плакать из-за книжки. Она уже большая — папа всегда так говорит. А так хочется, чтобы мама читала сказку на ночь.

У Лики в «Рубиновой книге» была самая-самая любимая сказка — «Счастливый Принц». Ее написал писатель из Англии с трудной фамилией Уайльд, вроде так, Лика точно не помнит. В сказке рассказывается о волшебной говорящей золотой статуе, стоявшей на площади большого города. Лика никогда не видела настоящего города, но, наверно, там очень много машин и людей и надо быстро перебежать дорогу, иначе тебя собьют. Однажды в том городе наступила зима, а мимо этого Принца пролетала последняя ласточка. Он увидел умирающего от голода бедняка и попросил Ласточку содрать с него золотую пластинку и отдать нищему, чтобы тот обменял ее на хлеб.

Молодому художнику Принц отдал синий сапфир — свой глаз, а девушке — рубин из ножен своей шпаги. Что такое шпага? Папа сказал, что это шампур от шашлыка, только с ручкой. Шашлык Лике нельзя. Они его ели один раз у родственников — потом Лике пришлось вызывать «скорую» и зря беспокоить родителей. Так о чем я? Ах да, Принц остался совсем один зимой, без золотой кожи и сапфировых глаз. Он сам позволил содрать с себя кожу, чтобы согреть голодных и оборванных людей. С ним осталась только Ласточка, которая уже не могла улететь на юг. Она медленно замерзла, укрывшись от ветра на деревянных руках слепой статуи.

На этом месте Лика всегда начинает плакать. Над собственной болью плакать не хочется — привыкла, а вот этого Принца жалко до слез. Счастливый Принц с начисто содранной кожей, думает Лика. Наверно, у него она тоже лезла и шла струпьями под бинтами, так что он в конце концов не выдержал. Лика очень хочет быть похожей на Счастливого

Принца из сказки. Он такой добрый и терпеливый. И стойкий — сам дал выколоть себе глаза и содрать кожу. Наверно, он супергерой, не иначе. Она тоже так хочет. Не в смысле кожи — у нее то же самое, — а в смысле характера. Она хочет иметь железную волю, быть настоящим солдатом. Как папа, а он служил в армии. Он подводник, сержант в запасе. Он не рассказывает об армии, ему вечно некогда. Ну ладно, он же работает. Это Лика для родителей как обуза. Она, может быть, не совсем понимает слово «обуза», но чувствует его смысл. Она слышала это слово от папы. Один-единственный раз.

Лика знает, что она в семье источник проблем. Знает, однако не плачет и не жалуется. Старается только лишней раз не привлекать к себе внимания. Прячется в своей комнате и до ночи читает учебники за второй класс. Она ведь не дурочка на самом деле, она уже выучила каждый учебник, и учителя, приходящие на дом, ставят ей только четверки и пятёрки. А вот когда читает мамин ЕГЭ — расстраивается, что ничего там не понимает.

#### 4.

Как же его достали все проблемы! Куда ни ткни — одно и то же. Каждый день работа, графики, сметы, расчеты, возня, ор, вонь тухлой сайры, договоры с японцами, которым мы вынуждены продавать рыбу по дешевке, потому что Сахалин ее не покупает. А японцы сбивают закупочную цену ниже плинтуса — сегодня гнали килограмм рыбы за двадцать иен. Двадцать иен — это 12 рублей 86 копеек. Потом в городском супермаркете перемороженная, чуть тухлая сайра будет стоить 180—240 рублей за килограмм. Это именуется взаимовыгодным обменом. Под него налажено производство на комбинате — сделать все на скорую руку, все равно сам ты этой рыбы не поешь, в глаза ее не увидишь.

Как инженер-технолог, он должен следить за состоянием оборудования, консервной машины, разделочной машины, ножей и тесаков. Ручной разделкой занимаются женщины в разделочном цехе. Там всегда холод и пар и воняет рыбой, как везде на острове. Руки у толстых теток красные, поцарапанные и холодные. Холодная скользкая рыба. Пальцы скользят. Отлаженный механизм движений к вечеру сбивается: женщины устают. Но несчастных случаев на производстве мало — это его заслуга. Можно похвастаться, только кто слушает-то?

Консервные ножи тупые. Перед поступлением рыбы, утром, уборщицы протирают ножи спиртом — для обеззараживания. Больше в течение всего дня к ножам никто не прикасается. Следующим утром опять сдирают с них налипшие кусочки рыбы, блестящую липкую чешую, икру, если разделявали самок. Рыба обычно свежая; по крайней мере, они ее берут прямо с сейнера. А то, что сейнер может в море болтаться неделю, это за кадром и никого не интересует.

Когда Олег приходит домой, его всегда ждет Лика. Анжелика. Как в книжке. Ну да, он мечтатель и книголюб, имя дочке выбирал он. Ксюша еще хохотала: она часто над ним смеется, ну да ладно. Лика ред-





ко выходит из комнаты, она у него особенная. Бабочка, черт подери. Ребенку-бабочке опалили крылья — нельзя летать. Нельзя много бегать, есть нормальную еду и громко смеяться. Как она это терпит? Как они это терпят?

Он гонит такие мысли, он действительно любит дочь и не хочет считать ее обузой, но ведь так и есть. Лика — обуза, балласт семьи. Из-за нее они не могут уехать отсюда. Она очень плохо переносит дорогу. Да и билет на корабль или самолет стоит как полет на Луну. Не с его зарплатой. Теперь еще эта дура уволилась и не хочет молить свою директрису о прощении. Ее зарплата была шесть тысяч рублей — это ставка или как там она называется. Куда ни глянь, все упирается в деньги.

Иногда ему хочется, чтобы дочь умерла. Он никогда в этом не признается, даже если напьется в одиночестве у себя в сарае. Ему невыносимо смотреть в глаза ребенка. Лика верит, что папа сильный, он решит все проблемы и пойдет с ней пускать кораблики. А вот Ксюха умная, она знает, что ее муж — неудачник, годный только на то, чтобы втихаря глушить шкалик спирта в сарае. Господи, зачем она так мучается? Зачем он так мучается?

Олег предпочитает жить прошлым, он прекрасно осознает это. А каким оно было, прошлое? Ему тридцать шесть лет, и только пять из них он провел вне острова — пока учился на инженера в Южно-Сахалинске. С детства знал, кем будет работать. Просто на острове только один комбинат — все на него и шли. В городе оставаться после учебы он не захотел, испугался. Вернулся к старым родителям — поднимать дом. Родители умерли в течение года, он остался один в двадцать шесть лет. Соседи загудели, немногие друзья заняли насчет его женитьбы. Наведавшись по работе в соседнее село, он встретил невысокую девушку с большими зелеными глазами. Ксюху. Не сказать, что влюбился по уши, но она ему понравилась, да и вдвоем легче, чем в одиночку.

Он перевез ее к себе, а потом ее родителей завалило землетрясением — и она тоже осталась одна на свете. Еще до землетрясения и свадьбы устроилась учительницей. Через полтора года родилась Лика, у которой еще при рождении полезла кожа с маленького, отчаянно кричащего тельца. Думали — дерматит, позже в Южно-Сахалинске узнали настоящий диагноз. Эпидермолиз. Дитя-бабочка с опаленными крылышками. Хорошо ли было без нее и легче ли? И да и нет. Лика внесла в его жизнь смысл — стремление гнаться за деньгами.

Идиотизм — бинтовать дочь через два дня на третий жестким бинтом, от которого кожа ползет и шелушится, кормить овсянкой, чтобы она вздохнуть боялась от боли в желудке, и улыбаться при этом, и говорить, что все будет хорошо. А он не умеет, не может и не хочет притворяться! И Ксюха не умеет, оттого и срывается по любому поводу. С пьяных глаз понимаешь и жалеешь всех, особенно себя любимого. Олег зажимривается и делает еще глоток. На вечернем холоде водка просто обжигает внутренности. А она ледяная. Чудесный букет ощущений — лед на губах и огонь в животе. Он ненавидит пить, но с каждым разом его тянет сильнее.

Черт, как же хочется уехать. Бросить все и махнуть на Сахалин, в город. Развестись с женой, забыть о дочери, найти нормальную работу. Напившись, можно строить воздушные замки, не правда ли? Его все достало. Раньше, до рождения Лики и до женитьбы, ему доставляло удовольствие просто пойти на берег океана. Сидеть на камне, глядя на холодный закат, когда желтые лучи солнца тонут в мутном, глухо шумящем море, лижут мокрые серые камни, обвивают низенькие стволы елей, окрашивая их в медь. А море бросается на камни и, врезавшись в серый истертый гранит, тушует и тихо откатывает назад. И большие чайки протяжно кричат над головой, и соленый ветер треплет траву между булыжниками чуть выше по склону сопки, вздымающейся прямо от берега.

Вершина сопки голая, там постоянно дует ветер, прохватывает с ног до головы. Оттуда виден весь остров. Сопка выдается в море узким острым мысом в двадцать метров высотой. Край света. В детстве они с пацанами на спор прыгали со скалы в воду. Внизу камни и белая пена бурюнов, но можно изловчиться и попасть в крохотную бухточку между валунами. Вода там теплая, потому что неглубоко, и спокойная. Он прыгал несколько раз, однажды довольно сильно расшибся о камни. Тогда это его забавляло, в девятом классе. Осмелится ли он сейчас подойти к краю почти отвесного обрыва? Вряд ли. Он теперь всего боится. Боится смотреть в глаза жене и дочери, боится идти на работу, потому что уволить могут в любой момент. А если уволят еще и его — тогда все.

Он возвращается домой за полночь, промерзнув в сарае до костей. Ксюша спит, ужин в холодильнике. Открывает ноутбук и ищет в соцсетях свое объявление о поиске денег для дочери. Ноль подписчиков, ноль поступлений на счет. Люди видят кругом только мошенников и не замечают правды. А у Лики постепенно срастается пищевод, внутри у нее тоже рубцы на живой ткани. Кожа вокруг рта рвется неровно и, когда поджигает, стягивает ротик девочки в узкую щель, в которую еле пролезает пара ложек овсянки.

Что же делать? Черт, что делать?!

## 5.

На следующий день, вернувшись домой пораньше, Олег сразу идет в комнату дочери. Лика лежит в постели и рассеянно листает учебник.

— Ну как у тебя дела, моя принцесса? — фальшиво-бодрым тоном говорит он, подсаживаясь на край кровати. — Мама промывала тебе раны?

Девочка поворачивает к нему большие красные, опухшие от слез серо-зеленые глаза и медленно кивает. Нижняя губа у нее трясется, она вот-вот заплачет.

— Очень больно.

Он осторожно прижимает дочку к себе.

— Пап, а так будет всегда? — спрашивает она с надеждой. — Может, потом все пройдет?



— Нет, не пройдет.

Ли́ка никнет, и отец быстро поправляется.

— Но больно не будет. Мы купим тебе особые бинты: они легкие, как крылышки бабочки, ты их даже не почувствуешь. И весной снова выйдешь на улицу, пойдешь в школу, будешь опять играть. Ну давай, давай утрем наши слезки, ты же у меня сильная, да? А на выходных мы пойдем с тобой к ручью. Там уже большой поток (Ли́ка прекращает всхлипывать на груди отца и напряженно слушает), много воды, а по ней плывут щепки. Мы с тобой представим, что это река, давай? — Он весело смотрит на дочь. — Нил, например. Он такой же мутный и грязный.

— И там тоже будут крокодилы, как в Ниле?

Ли́ка наконец-то заинтересовалась, и Олег начинает говорить быстро, вздохнув, чтобы закрепить эффект, чтобы в глазах дочери хоть минуточку продержалась смешинка.

— Да, щепки будут нашими крокодилами. И еще в ручье водятся пиявки, они маленькие, кусачие, черные и длинные, у-у-у! — Он пугает ее, а сам посмеивается, и Ли́ке совсем не страшно. — Пиявки — это будут наши пираньи. Как на Амазонке, в книжке, помнишь?

— Да! — подхватывает девочка. — Они могут за пять минут съесть лошадь.

— Точно, — кивает головой Олег. — Но ведь маленькая девочка Ли́ка очень смелая и не боится каких-то там пиявок-пираний? И спокойно пойдет к ручью пускать кораблики?

— Да, пап, — Ли́ка сияет, — а когда? На выходных, вечером в субботу?

— Вечером. Я сегодня поищу во дворе какую-нибудь щепку, обстругаю ее — и будет тебе фрегат. Или подлодка? — Он делает вид, что размышляет вслух, поглядывая на Ли́ку. — Нет, лучше фрегат.

— С тремя мачтами?

Ли́ка любит море и любит читать про корабли.

— Да, с тремя мачтами.

Папа уже прикидывает, где ему взять такую деревяшку и сколько времени он с ней провозится. А, ладно, завтра все равно пятница, успеет.

— Только не утони в том ручье.

Ли́ка смеется одними губами. Смеяться в голос нельзя: может опять потечь кровь из-под бинтов.

— Пап, — шепчет она ему на ухо, — ничего, что я сегодня снова брала твои инструменты?

— Не разбросала?

— Нет, я даже все гвоздики в банку сложила и в ящик стола поставила.

— Ясно. Только отвертку мою не потеряй, как в прошлый раз.

Ли́ка сидит на коленях на кровати и нетерпеливо ерзает. Папа приходит редко, хочется полазить по нему, подергать, потрепать рукава черной кожаной куртки, пропахшей вечным соленым ветром и гниющей рыбой. Папа такой большой, просто громадный. Хочется обо всем его распро-

силь и чтобы он подольше не уходил. Надо его задержать, пока он не уткнулся опять в ноутбук.

В дверь просовывается мамина голова:

— Олег, ты уже здесь?

Ксения сверлит мужа взглядом. Лица чувствует, как папа напрягся и подался вперед всем телом. Похоже, он боится мамы. Неловко встает с кровати. Все, сказка кончилась.

— Давай, Лик, читай дальше, вечером я еще зайду.

Да нет, не зайдет, закрутится и забудет, как обычно.

— Ну что ты отрываешь меня от ребенка? — резко спрашивает Олег жену, едва захлопнув дверь детской. — Что тебе надо?

— Чего это она любит тебя больше, чем меня? — обижается Ксения. — Ее от тебя не оторвешь, все папа и папа на уме, а от меня чуть ли не в плач бросается.

— Орать надо меньше и гонять ее. Зачем она опять читает тот учебник? Она его наизусть знает. Купи ей нормальную книгу.

— А денег ты мне дашь или они с неба свалятся? — криво усмехается Ксения. — Да и не привозит траулер книг.

— Закажи по Интернету.

Олег идет на кухню, роется в кастрюле с супом. Говорить противно и стыдно. Ксения ужом вьется, лезет к нему — тошно даже.

— Слушай, Олег, может, нам Малахову написать? Говорят, они там любят такие истории, как наша.

— Совсем свихнулась на своем Малахове, — недовольно бурчит муж, закуривая. — Строишь его каждый вечер, не отлипая. Делать ему нечего — мечтай!

— Но ведь люди идут, так что не психуй!

— Это все подстава. Вранье по телику... Ты бинты заказала? Сколько стоят?

— Четыре восемьсот плюс доставка. Не меньше пяти выйдет. Там сказали, что дешевые цены на сайте устарели. Еще тысячу отдала за свет и воду за февраль. Твой компьютер жжет свет, ты слишком долго за ним просиживаешь.

— А твои вечные стирки дают кубометры воды, — сухо огрызается муж.

Ксения нервно раздувает ноздри, опять назревает ссора.

— Лице надо постоянно стирать вещи и бинты. У нее старый пуховик, я отложила деньги ей на куртку. Траулер с Сахалина придет через неделю — тогда куплю. На еду денег нет, Олег, и есть в доме нечего. Кроме твоей чертовой водки.

— Имею я право расслабиться или нет?

Олег начинает дергаться, разговор его утомляет, жену он побаивается и боится с ней связываться. Предпочитает говорить на повышенных тонах, создавая иллюзию самоуверенности.

— Да ты постоянно расслабляешься у себя в сарае. Думаешь, я не вижу?



Ксения закусила узду, ее понесло, она даже рада этому. В кои-то веки они разговаривают. Обычно живут под одной крышей как чужие люди.

— От тебя воняет перегаром за километр, тебя же уволят, ты это понимаешь?

Ксения, пошатываясь, встает и поворачивается к двери. Олег поворачивается следом, и только теперь они замечают Лику. Она стоит тихо, как мышка, прижавшись к косяку, и держит в руке свою единственную игрушку и одновременно оружие — папины плоскогубцы. Акулу из своей игры, большую одинокую акулу, друга и защитника.

— Мам, пап, — тихо говорит наконец девочка.

Говорит с трудом: кожа вокруг рта срывается, превращая рот в уродливую щель.

— Я вам как камень преткновения, да? Может...

Она всхлипывает, однако берет себя в руки. Она уже умеет это делать — скрывать свои слезы и обиды.

— Может, продадите меня или отдадите? Я тогда точно мешать не буду, честно-честно.

— Дочь... — Ксения не знает, что сказать. (Лику к ней не подходит, жметесь в углу.) — Иди ко мне, ребенок, я тебя обниму. Ты не камень преткновения, даже не смей так говорить. Хочешь, мы с папой сейчас, вот сейчас соберем вещи и увезем тебя далеко-далеко отсюда, хочешь? Только не плачь, не сердись на нас.

— Лику, иди к себе, — обрывает Олег Ксению. — Маме с папой надо поговорить, не мешай.

Контакт с дочерью порван, девочка испуганно отступает в тень, потом торопливо уходит. Олег мрачно смотрит на Ксению, но та слишком устала для продолжения ссоры.

— Я бы пошла в твой сарай и повесилась, если бы не она, — отрешенно говорит Ксения. — Отвали от меня, ты никому не нужен. И я никому не нужна. И она.

Она быстро одевается и уходит в магазин. У нее мало денег, но на хлеб и молоко должно хватить. Все равно куда идти, лишь бы сбежать из этого дома хоть на полчаса. Он достает из кармана полупустую пачку «Максима», вытаскивает сигарету и нервно затягивается несколько раз подряд, давясь дымом.

Лику играет с плоскогубцами. Ей бежать некуда: она не может выходить из дома. В окно она видит спешащую мать. Сквозь стекло льется огненно-красный мартовский закат над обледенелым, холодным морем. Лед на лужах и обледенелая грязь на дороге отливают в его свете насыщенной красной медью, и холод лезет через неплотно заткнутые окна.

## 6.

Остров похож на клетку — маленький, холодный и ужасно далекий от Большой земли. С него нельзя вырваться так просто, он обязательно возьмет свое. Каждому свое, и каждый выбирает по себе, делая свой вы-

бор на этом скалистом клочке земли на краю света. А пока волны все так же с глухим неизбежным рокотом бьются о высокие бугристые скалы, рассыпаясь и снова возрождаясь, чтобы вновь разбиться в белую пену отчаяния. И чайки носятся над баркасами и сейнерами, провонявшими рыбой до шпангоутов, и кричат в ожидании добычи.

Все село стоит на скалах, на скальных обломках, сбегających к морю. Давно, очень давно здесь был ледник. Он медленно сползал в океан с гор и тащил в себе эти камни, острые глыбы и гладкие валуны.

Ли́ка лежит в кровати и смотрит в окно. Ночью возле койки стены черные, а лампа на столе видна до мелочей на фоне серого квадрата окна, занавешенного белым тюлем. За окном растет невысокая, немного выше дома, береза, а сразу за ней обрыв. Довольно крутая тропинка сбегает вниз. А дальше будут наваленные на землю большие осколки скал и вода. Снег на берегу подходит к кромке воды, там он грязный, потому что по нему ежедневно топчутся сотни ног в ботинках и больших болотных сапогах. Белым снег бывает, только когда выпадет пороша, рано утром, пока нет людей. У самой воды берег низкий, скалы начинаются чуть выше. Камни обледенелые и очень скользкие; поднимаясь от лодок, люди теряют равновесие и едва не падают и с ненавистью оглядываются на берег, будто он виновник всех проблем на свете.

Лежать на спине больно и неудобно, постоянно нужно быть начеку. Шевелиться тоже больно, да и койка скрипит и будит родителей за стенкой. Ли́ка не хочет их тревожить и лишний раз привлекать к себе внимание. Она поворачивает голову, ищет глазами будильник. Он пузатый, круглый, с выпуклым стеклом, за которым стрелки застыли на половине пятого утра. Красная кнопка сверху корпуса вдавлена вовнутрь: будильник сломан и не звенит. Она сама нечаянно сломала его, когда ей было шесть. Теперь она просыпается всегда в половине пятого и ложится в это остановившееся время.

Ли́ка ждет рассвета. Больше всего на свете она любит смотреть, как восходит над островом солнце. Синие тучи вверху уже подернулись желтым светом... теперь красным... еще немного — и туч нет, остались серо-синие перистые облака в бледно-сероватом высоком небе. Небо здесь очень высокое и холодное, сказывается близость большой воды. Иногда, когда мама разрешает открыть окно, Ли́ка ощущает на своих щеках ветер.

...Наконец красный круг быстро поднимается из-под обрыва, из моря, которого не видно отсюда. Встает за минуту: Ли́ка точно знает, она засекала время таймером. А внизу — камни, о которые плещутся волны, и, если зажмуриться, можно ощутить на лице брызги — настолько силен прибой.



*Новые имена*

Юрий ФОФИН

**ПРОСНЕШЬСЯ НОЧЬЮ...**

Р а с с к а з

Проснешься ночью от музыки из кафе напротив. Лежишь, смотришь в окно. Окно большое, старое. Сквозь него комнату заливают слабый желтый свет фонаря. Свет рассекают ветки старого клена. Они расходятся в разные стороны, прогибаясь под своей тяжестью. Качаются. Тень от клена шатается, и кажется, что это свет скользит по комнате, выхватывая отдельные предметы: стол, кресло, стеллажи с книгами; потом бросится на пол, на миг заглянет под кровать и взмоет кверху на потолок, станцует там и тут же замрет, как на картине. Ты соскучишься посмотреть на его неподвижность, а тут музыка из кафе — развлекает тебя, плачет, рыдает, скулит...

А бывает, проснешься не от музыки, а так — сон приснился, а от него тревожное чувство осталось. Будто сон тот и не твой вовсе, а как бы всех людей на земле, всего живого, даже того, кому и не может сниться. И вот сон-то этот накрыл все-все земное: все во сне, все спит и грезит. Этот сон, как внезапно оживший предвестник, пророчит что-то еще неясное, но ужасающее. Он смотрит на тебя откуда-то из глубины. Ты хочешь понять его, осмыслить. Или хотя бы ухватиться за краешек его пророчества. Однако он ускользает от тебя и теряется глубоко в сознании. Ты еще чувствуешь его, кажется, вот-вот ухватишь: перед глазами мелькают лица, предметы, события. Перебираешь их и думаешь: «То? Нет, не то. Может, это? Нет, тоже не оно».

Так вот лежишь, маешься. И невольно представишь вчерашний день. Как целый час просидел у окна. Просто так, ничего не делая.

День солнечный, душный. Все окна и двери открыты настежь. По пустым комнатам тихонько шпионит сквозняк. Окна моей квартиры выходят на обе стороны дома, и от этого она кажется особенно просторной. И с той и с другой стороны весь двор кипит зеленью.

Доносится шум с дороги. Вот гудит машина: грузовик, наверное, несется по Воровского. Дом стоит как будто в большом саду, замкнутый тремя улицами: Воровского, Доватора и Блюхера. Я живу на третьем этаже. Надо мной огромный чердак. Это те дореволюционные дома, у которых зачем-то делали такие чердаки.

Еще в раннем детстве, поднимаясь на свой этаж, я всегда смотрел, как наверху белеет известью полуприкрытая дверь в человеческий рост, а сквозь щель пробиваются лучи солнца. Бывало, выпадет оттуда птенец. Мамаша-голубь слетит вниз, возится вокруг него, а поделаться ничего не может. Я гляжу на отца, как он тащит из подвала лестницу и поднимается на чердак, чтобы вернуть птенца на место. И мечтаю, что когда-нибудь тоже буду возвращать птенцов в гнезда...

Сейчас я смотрю через дверной проем в его комнату. За окном распустились яблони. Они разрослись настолько, что совсем не видно двора. Когда они цветут, в комнате стоит душный, приторный запах. Иногда я стою там, у окна, и вижу только кусок неба, все остальное — зелень. Ветки яблонь так близко — вот-вот лягут на подоконник. И небо над ними как бы говорит мне: «Вот видишь, все мы здесь собрались для тебя. И чего тебе еще надо?» — «Ничего, — отвечаю. — Теперь уже ничего».

Странно, столько лет прошло с его смерти, а я до сих пор называю эту комнату отцовской. Нет у меня другой памяти о нем, как только эта комната. Там и стоит все как прежде: у окна полированный стол и два старых резных стула, в дальнем углу кровать и черная тридцатидвухкилограммовая гири. Он каждое утро — а вставал он всегда в пять часов — приседал с ней, казалось, несчетное количество раз. Распахнет зимой окно настежь. В комнате темно, морозно. А с него пот течет. Через дверь слышу его тяжелое дыхание: пшш-пшш-пшш — как будто кто-то накачивает колесо автомобиля.

Мне лет шесть — свернусь клубочком под одеялом, дрожу от холода и злюсь на отца: желаю ему не то смерти, не то болезни какой-нибудь, чтобы не будил меня так рано по утрам. Я почему-то представляю, как отец неподвижно лежит на спине с закрытыми глазами, руки скрещены на груди. И вот ему становится больно, он начинает корчиться от боли, голова откидывается назад, руки в разные стороны, ноги сгибаются в коленях. Я мысленно усиливаю его боль. От этого он изгибается в пояснице и туловище его приподнимается.

Я удовлетворяюсь судорогами отца, и меня больше не раздражает его тяжелое дыхание. Закрыв глаза, представляю его лицо и беглую жилку на лице при каждом подъеме из приседа — нервный тик после автокатастрофы. Правая половина лица у него парализована. И только эта беглая жилка, как молния, иногда перехватывает неподвижную его часть...

Он всегда казался мне странным. Я стыдился его. Одевался он во что-то серое, мешковатое. На улице мог разговориться с грязным нищим или кинуться поднимать каких-нибудь пьяных женщин. Он жил своей маленькой, тихой, незаметной жизнью. По ночам работал в кафе напротив нашего дома, откуда теперь доносится приятная музыка, — мыл там посуду и пол. А днем изготавливал странные картины: вырезал из цветных пластиковых обложек (для учебников) фигурки, на ткани выкладывал композицию из них и через фольгу проглаживал раскаленным утюгом — фигурки таяли, сливаясь в единое целое.

Глупо сейчас вспоминать все это. Однако я помню, как часто в детстве злился на него до иступления. Иногда это было настолько сильно,



что, глядя ему в лицо, я несколько секунд не мог узнать его. Я пугался этого странного ощущения, но оно скоро проходило, а вместе с ним и ненависть к отцу.

Матери я совсем не помню. Да отец и не говорил о ней никогда. Мы жили вдвоем. И я почему-то был в обиде на него за это. Как будто это он был виноват в том, что у меня нет матери.

Лет в десять я переболел ангиной. Заболел назло ему — напился ледяной воды. Отец поил меня талой водой. Он всегда подогревал ее, а я ненавидел теплую воду. Он ставил кастрюльку в морозильник и через несколько часов доставал ее. В кастрюльке посередине оставалось с полстакана незамерзшей воды. Он говорил, что лед выталкивает всю грязь. И она собирается в незамерзшей воде. Выливал грязную воду, а лед растапливал на паровой бане.

Я же в тот раз все сделал по-другому.

Стояла жара. Мы были в парке отдыха. Отец повел меня на аттракционы. Оказалось, что денег у него хватает только на один аттракцион. Я выбрал американские горки. Он согласился, но велел мне хорошо держаться, иначе упаду. Я послушался и крепко вцепился в поручень, а чтобы не закружилась голова, смотрел в одну точку — себе под ноги, на решетчатую железную подножку. Минуты через две вагончик остановился. Я даже ничего не успел понять. А ведь я столько ждал этого! И вот что получил...

Разгневанный, я молча плелся за отцом и опять представлял себе, как он лежит на спине, руки скрещены на груди. Ему опять становится больно, он корчится. Вскоре мне наскучивает это, и я думаю, как отомстить ему по-настоящему. Я сладострастно разрабатываю план мести.

Дома я тайком достал из морозильника кастрюльку с водой (она еще не успела замерзнуть, только подернулась льдом) и вдоволь напился ледяной, обжигающей горло, плотной, как мед, воды.

Я долго лежал в больнице. По ночам представлял себе маму и мечтал, чтобы она забрала меня оттуда. А отца ненавидел.

Хотя нет, настоящая ненависть к нему родилась немного позже.

Через месяц меня выписали. И когда я пришел домой, в свою комнату, увидел цыплят в картонной коробке. Отец купил их на рынке. Пушистые ярко-желтые комочки на растопыренных неуклюжих лапках дрожали, засыпая на ходу. Отец смотрел на них и улыбался на левую щеку, правую — часто была беглая жилка. Он бросил горсть проса в коробку, но птенцы даже не пошевелились.

На следующий день отец огородил половину своей комнаты толстой пленкой и поставил туда два корытца — с водой и кормом. Сколотил большой деревянный ящик вроде курятника. Прошло время, птенцы оперились и окрасились в молочно-белый; перо было редким — видимо, от жизни в квартире.

Однажды я заметил, как один птенец запрыгнул на ящик, присел и вдруг обмяк. Сквозь редкие перья завиднелась его розовато-синяя кожа. Я испугался: в детском представлении я счел, что он умер и тут же разложился. Легонько ткнул его пальцем — он был горячий — и побежал на



кухню звать отца на помощь. Когда мы вернулись, дышленка на ящике уже не было.

Через несколько дней птенец все же умер. Сначала он, закрыв глаза, силно дышал и чуть заметно покачивался вперед-назад. А потом мы нашли его мертвым между ящиком и стеной. Я подумал тогда, что, наверное, ему было стыдно умирать и поэтому он решил скрыться ото всех.

Я не сразу заметил, что птенцов становилось все меньше и меньше. А когда спросил об этом отца, он сказал, что отдает их другим детям — поиграть.

Лишь позже я понял, из чего был тот вкусный суп, который мы ели.

Тогда-то я и возненавидел отца всем сердцем. И затаил на него какую-то особую злобу. Я понял, что не хочу быть таким, как он. И решил для себя, что мы чужие. Мы — *разница*.

Как-то мы ехали в электричке не помню куда, но, как всегда, без билета. Мне тогда уже было пятнадцать. В тамбуре показался контроль. Мы встали и пошли на выход. На остановке вышли и побежали в вагон, который контролеры должны были уже пройти. Однако один из них остался и ждал нас на входе: он знал этот трюк. Это был сухой старик с бледным лицом и тяжелым взглядом. Он не пускал нас. Отец кричал, что работает, только ему не платят зарплату. Тот отвечал, что ему плевать, что он тоже работает... Каким-то чудом мы поднялись в тамбур. Отец зашел в вагон, а я задержался, чтобы поговорить со стариком. Разговор был недолгим, контролер оставил нас в покое.

Тогда я понял, что умею договариваться с людьми, в отличие от отца. И окончательно решил, что мы чужие. Мы — *разница!*

Так, ничем не похожий на отца, я все делал по-другому.

Я считал, что нищими должно заниматься государство, а пьяными женщинами — медвытрезвитель; что в первую очередь надо развиваться самому, каждый день становиться лучше, сильнее. Дисциплина должна быть полная, говорил я себе, составляя план на день: вставать до восхода солнца, принимать контрастный душ, завтракать свежими фруктами, орехами и читать, читать, читать! Я придумал себе «катехизис революционера» из трех пунктов: требовательное отношение к себе, требовательное отношение к товарищу и требовательное отношение к обществу. Я устал вариться в этой серости, безликости — рабской идеологии, из которой невозможно прорасти и стать чем-то большим, выдающимся. Но я думал не только о себе. Я мечтал о светлом будущем всего человечества.

Я начал собирать библиотеку. Выписывал фразы из книг: «Человек осужден быть свободным!», «Нужна реформация. Нужен новый человек!», «Раскрепощение личности. Утверждение высокого достоинства человека как свободного творца земного счастья!». Пьянея от этих лозунгов, я даже бормотал их себе под нос. Я хотел доказать отцу, что человек не тварь и не раб, а полноценная, самодостаточная личность. Не-ет! *В начале было дело!*

Хлопнула дверь в подъезде. Но шагов не слышно. Сквозняк, наверное. Кажется, погода портится. Я мысленно возвращаюсь сюда, в темную

комнату: из кафе доносится музыка, на стене желтый свет фонаря, шатается тень от клена.

Я закрыл глаза и погрузился в странное состояние — не чувствую опоры, точно плыву в невесомости. Музыка из кафе затихает, и я оказываюсь в полной темноте и тишине. Слышно только, как стучит пульс в голове, бежит по трубам вода, где-то в подъезде отдаленно скрипит соседская дверь. Донесутся до уха едва заметные звуки вокзала — скрежет колес о рельсы. Этот звук напоминает плохо настроенную скрипку — какой-то замедленный свист, внезапно обрывающийся громовыми раскатами целого оркестра: это соединяются между собой вагоны.

Я все пытаюсь вспомнить сон, от которого проснулся. Опять вертится что-то в голове. Ночное кафе? Отец? Нет, не помню. Я уже давно плохо сплю по ночам — все маюсь, маюсь. Смотрю в окно, на свет фонаря, на потолок, стеллажи с книгами. Я знаю свой сон, чувствую его, но не могу вспомнить, воссоздать образ в памяти. И сладко и мучительно это чувство. Такое чувство всегда приходит ко мне в лесу.

После смерти отца я стал ходить в пригородный лес — сосновый бор на краю города. Как-то я шел знакомой просекой и наткнулся на огромный выгоревший кусок леса. Вокруг все было черно. От запаха гари до боли першило в горле. Птиц не слышно. Все как будто затаило дыхание при виде меня. Кажется, слышен только шепот неба и земли. Еще тихо шумит дорога — шоссе, идущее вдоль леса. Станным кажется здесь этот звук. Словно это гудит земная ось. Лучи низкого солнца пробиваются сквозь тонкие обугленные стволы и ложатся на черную выгоревшую траву. Эта тишина и этот странный звук пугают. У меня щемит в груди и давит в горле. И не верится, что уже через год от пожара не останется и следа. Все зарастет зеленью.

Я сижу на пепелище. На двух обгоревших соснах, лежащих друг на друге крестом. Повсюду раскиданы камни. Здесь жгли костер (кругом бутылки, мусор), жарили мясо и пили вино. Мне тревожно. Однако я привык к такому состоянию. Эту тревогу я испытываю многие годы. Не понимаю, откуда она.

Кружится голова. Тысячи воспоминаний оживают во мне: звучит музыка (из кафе, наверное), вот чьи-то знакомые глаза, волосы, руки. Образы в голове путаются, громоздятся, мешают друг другу.

Я в темной комнате. На улице поднялся сильный ветер. Будет дождь. Ветки клена бросаются на стекло, царапают, стучат.

Тут-то я и вспомнил свой сон.

Мне казалось, я проснулся от музыки из кафе. Но ее не было слышно; за окном точно так же завывал ветер и ветки били в стекло. Гремел гром. И вдруг, словно поддавшись силе ветра, запрыгали, заплясали оконные рамы, точно взбесились, и заскрипели, и завизжали, будто призывая кого-то в помощь. Движение передалось стеллажам с книгами. Они закачались в разные стороны, застучали по стене, встряхивая книги, словно требуя: «Проснитесь! Пора идти в бой!» Перекрикивая друг друга, загалдели книги — каждая о том, что в ней написано. По отдельным



словам я понимал, что громче других кричат две верхние полки: с эпохой Возрождения и с двадцатым веком. «Уничтожьте подлюю! Раздавите гадину!» — слышен был чей-то голос. Потом несколько раз пробубнили: «Идут мужики, несут топоры. Что-то страшное будет. Идут мужики, несут топоры. Что-то страшное будет». Между тем я почувствовал, что мне как будто целуют руки. Достал их из-под одеяла. По ним ползал маленький, как мышь, голый осклизлый человечек. Он поднял голову, произнес: «Дыр, бул, щыл. Фьюить...» — и развел руками.

Затем стеллажи объединили свои силы и двинулись разом в одном направлении — уже в каком-то ансамбле: похоже, они пели «Интернационал». Этого не выдержала стена и поехала вместе с ними в мою сторону. Во всем этом был какой-то общий порядок.

Вдруг что-то черное и тяжелое свалилось с верхних стеллажей. Это оказался молодой человек в пальто. Он встал и поднял с пола высокую, заломившуюся на сторону изношенную шляпу. Высокий, худощавый, с тонкими чертами лица, он был в раздражительном и напряженном состоянии. Надел шляпу и, указав на меня пальцем, крикнул: «Сжег, да? Теперь и сам попаришься!» Я не мог понять смысл его слов.

На кухне что-то вспыхнуло. В дверной проем мне было видно, как там полыхает огонь. И я понял, что это не кухня, а огромная печь. Человек схватился за край моей кровати и сдвинул ее к проему. Я уперся руками в косяк, чтобы удержать кровать на месте. Вроде бы у меня получилось, но кровать все равно продолжала смеяться.

И вот я в огне! Я задыхаюсь и глохну. Темнота охватила меня, а пространство исчезло. Чувствую, что лежу в гробу — ничего не вижу и не слышу, мне нечем дышать. Я ни думать больше не могу, ни чувствовать. Знаю только одно: я умер и лежу в гробу. Сколько уже лежу, не знаю. Возможно, очень долго, может быть, целую вечность. И что странно, вижу свой гроб со стороны. Гроб в двух шагах от меня. Сквозь доски крышки торчит что-то вроде корня дерева. И такое чувство, что он все это время ждал чего-то. И теперь корень этот вдруг ожил и начал расти. Он вытягивается, становится длиннее и толще. Доски гроба не выдерживают нагрузки, трещат и ломаются. А за корнем появляется моя рука и я сам.

Что было дальше? Не помню.

Кажется, я вскакивал с кровати во сне и ходил по комнате. Ну и дурень! Надо же, а как реально полыхала кухня! Так я сгорел, что ли, во сне? Вот так новость. И что это за мужик был? Что он там кричал? «Сжег... теперь и сам сгоришь...» Что он имел в виду? Отца, что ли? То, что я не похоронил отца, а сдал его в крематорий? Не может быть. Просто не может такого быть, чтобы я сам все это себе сочинил во сне.

Я помню смерть отца. Был пасмурный, промозглый день. Помню, как он лежал в гробу в крематории, неподвижно, как все мертвецы. В один момент мне почудилось, что у него дернулась эта его беглая жилка на лице. Я присмотрелся внимательнее, но больше она не дергалась.

Мне выдали урну, в ней был полиэтиленовый пакет с прахом отца. Дома поставил ее на книжный стеллаж и сел в кресло напротив. Меня одолевала слабость. Я стал представлять, что было с отцом, когда он го-

рел. Наверное, он покрылся пузырями. Надо будет в Интернете узнать, как это происходит. Хотя нет, не то. Сейчас же пойду в библиотеку и посмотрю, что пишут об этом в книгах. Голова только очень кружится, не упасть бы по дороге.

В библиотеке нашел статью о крематориях России.

«Акт опытного сжигания состоялся в ночь с 13 на 14 декабря 1920 года в присутствии административных лиц. Произведено первое опытное сожжение трупа красноармейца Камнева, 19 лет, в кремационной печи в здании 1-го Государственного крематория...

В момент задвигания трупа в камеру вспыхивает одежда и волосы. Лопаются глаза. Труп начинает шевелиться, вследствие сокращения мышц от высокой температуры. Голова откидывается назад, руки, скрещенные на груди, раскидываются в разные стороны, образуя прямую линию, ноги сгибаются в коленях. Тело изгибается в пояснице, вследствие чего туловище приподнимается...»

От прочитанного меня бросило в пот, зарябило в глазах. Чтобы привести себя в чувство, я растер руками виски, уши и щеки. И продолжил читать.

«Наблюдается кипение крови через глазные, ушные и носовые отверстия и через рот. Швы черепной коробки расходятся. Голова отделяется от туловища. Череп разваливается и обнаруживается мозг, горящий зеленоватым пламенем... Костяк и внутренности постепенно догорают, кроме мозга, легких, желудка, почек и печени, которые сгорают последними и в последовательном, как перечислено, порядке».

Дочитав статью до конца, я потерял сознание.

Очнулся только в машине «скорой помощи». Меня привезли в больницу и направили на обследование. Поставили диагноз «острая сердечная недостаточность», сказали, что нужна госпитализация, и послали домой за вещами.

Я вышел из кабинета врача и спустился в фойе. У гардероба краем глаза заметил сутулую фигуру. Это был странного вида парень. Запрокинув голову, он водил ею из стороны в сторону. Его взгляд будто скользил по плоскости окружающего мира, ни на чем не задерживаясь. Он ходил взад-вперед, осторожно ступая, точно не по бетону, а по тонкому льду. Одет был во все новое (словно его специально для чего-то одели). И вот что странно: вся одежда была в черных или серых тонах и только варежки — розовые. Тут-то мне и пришло в голову объяснение всему: это душевнобольной человек.

Я поспешил одеться и, когда уже подходил к выходу, услышал, что кто-то окликнул меня по имени. Я очень удивился: кто бы это мог быть? Но звали не меня, а странного парня. Какая-то женщина с худым лицом и большими глазами. На улице я внезапно ощутил сильный страх. Остановился возле клумбы, будто бы надеть перчатки, а сам ждал их. Они не спеша вышли и тихо двинулись в сторону дороги. Женщина оживленно что-то говорила парню, указывая рукой в небо. А он, опустив голову, робко жался к ней плечом и судорожно искал другую ее руку, стараясь крепче вцепиться в нее. Так они и удалились от меня, а я остался у клумбы. Я вспоминал отца.

Мы часто ходили с ним на озеро — городское водохранилище. Но не на пляж. Рядом с пляжем расположена плотина, а за ней вдоль берега тянется дамба. Вверху — бетонный бортик с метр высотой, за ним — шоссе. Я всегда звал отца на пляж. А он ходил только сюда, на дамбу. Из-за этого мы ссорились. На дамбу ходили одни рыбаки. Мы тоже брали удочки, хотя у нас никогда не клевало. А в тот день произошло нечто необычное.

Закинув удочки, мы с отцом, как всегда, сели играть в карты. Не успев их раздать, я увидел, как моя леска натянулась, и бросился тащить удочку. Что-то сильное схватило мою наживку там, на глубине, и потянуло на дно. Я нервно тащил удочку на себя. Настолько растерялся — даже забыл, что там, под водой, должна быть рыба: мне казалось, я борюсь с каким-то подводным чудовищем.

Отец зашел в воду, чтобы помочь мне. Когда я увидел рыбину в воде, зачем-то изо всех сил дернул леску, так что она лопнула. Рыба осталась в воде. Отец пытался поймать ее руками за оборванный кусок лески с поплавком. Бросив удочку, я присоединился к нему. Стоя по пояс в воде, мы хватали добычу несколько раз, однако она выскальзывала из рук.

В конце концов рыбу вытащил отец. Это был щуренок, но мне он показался огромным. Счастью моему не было предела: я поймал целую щуку!

Вспоминая все это, я еще долго стоял у клумбы. Мне некуда было идти.

Ветер за окном стих. Стало светать. Едва слышно зашумел мелкий дождь.

Так вот что этот, в шляпе, имел в виду, когда сказал: «Сжег — теперь и сам сгоришь!» И что же, меня *это* мучило все время? Но что это? Угрызения совести? Нет. Тут что-то другое. Зачем я его сжег? Теперь даже пойти некуда попросить прощения. Дурак!

Я встал и открыл окно. Дождик кончился. Поток свежего воздуха, запах дождя и раннего утра окутали меня. Ночное небо показалось ближе, чем обычно. Редкие звезды и бледный свет луны — все молчало, словно затаило дыхание в ожидании чего-то. Я протянул руку и коснулся ветки клена — листья теплые и мягкие. Сквозь ветки видно кафе, пустую танцевальную площадку, освещенную фонарями. Играет музыка. Но никого нет. Для кого все это?

И вдруг вижу, что кто-то стоит на площадке, смутно еще, как будто в тумане. Скоро по силуэту понимаю, что это отец. Странно, он метрах в ста от меня, а кажется, протяни руку — и коснешься. Я даже различаю черты его лица. Он смотрит на меня и улыбается на левую сторону. Справа щеку бьет беглая жилка. Я цепенею от этого видения и не знаю, что делать.

Свет фонарей заливает всю площадку. Я вижу, как отец медленно проводит рукой по правой щеке. Он стоит, озаренный светом, и улыбается. И теперь уже во все лицо.

*Новые имена*

Ирина ИВАСЬКОВА

**ВРЕМЯ КРАСНЫХ ПТИЦ**

Р а с с к а з

— А ребенка-то знаешь как зовут? Сядь, если стоишь. Мирон! Вот и я говорю, идиотизм какой-то. Так я не поленилась, поискала, что имечко это значит. Ну-ну... Да ты что? А она?

Неведомый собеседник перебивает Марью Ивановну своей историей — из трубки доносится поквакивание и дребезжание. А вдруг Марья Ивановна и вправду говорит с большой лягушкой? А ну как лягушка прискачет сюда? Усядется рядом с кроватью, сама холодная, как зеленый лед, и вся блестит. Мироша терпеть не может лягушек и змей. Вот птицы — другое дело. Они в пушистых перьях и умеют летать, ловко подбрав остренькие лапки.

— Кошмар... Кошмар! — возмущается Марья Ивановна чем-то услышанным и гнет свое: — Так я ж тебе говорю, я не поленилась и узнала, что этот самый Мирон означает. Ляг, если сидишь. Бла-го-у-хан-ный! Представляешь?! Ну-ну... А ты что?

Мироше не спится. День на дворе в самом разгаре, но ровно в три часа Марья Ивановна задергивает плотные занавески и велит уснуть. Мироша знает, что ей просто очень хочется поговорить, а в ее толстеньком кнопочном телефоне прячутся самые разные голоса. Кто квакает, кто присвистывает. Голоса всё знают про Мирошу: и про имя, и про маму, и про высокую температуру.

— Да какой там отец, я тебя умоляю, бросил ее давно, — говорит Марья Ивановна в трубку. — Я соседка, вроде чужой человек, так и то чаще ребенка вижу. Жалею мальчишку: простыл, теперь дома сидит. А матери на работу надо, не дают ей больничный, уволить грозятся. Ну да, я тут не бесплатно, не бесплатно. Пенсии нынче сама знаешь какие.

Марья Ивановна принимается рассказывать, что видела сегодня в магазине, и куда ездила позавчера, и куда поедет завтра.

— Куры свежие, а вот сметану разбавляют! — твердит она квакающему голосу и слушает в ответ далекие бульканья и переливы.



Мироше становится так скучно, что он и в самом деле засыпает — легко, на самой верхушке сна и, кажется, всего на несколько минут. А когда просыпается, занавески уже раздвинуты, окно из солнечного стало серым и ни следа Марьи Ивановны в комнате не осталось.

Он отбрасывает душное одеяло — вот так тебе, ногами тебя в комок! — несется по скользкому полу на кухню, втыкается лохматой головой прямо в мамин живот и хохочет: нет никаких лягушек, и скуки нет, потому что мама дома!

— Мирошкин, ну не плачь, — утешает его мама полчаса спустя. — Всего два дня осталось! Сегодня Марью Ивановну вытерпел? Вытерпел. Завтра тетя Марина придет. А послезавтра... — мама подмигивает, — сюрприз будет! А потом выходные, и я буду дома, с тобой, никуда вообще не уйду ни на минутку! Ну, Мирошкин, ну два дня же! Потерпишь?

От мамы пахнет горьковатой прохладой: этот дождевой, свежий запах каким-то чудом втиснут в пузатый флакон, стоящий в коридоре у зеркала. Мироша думает, что, если станет совсем неспособен, можно будет этот флакон понюхать. А тетя Марина куда лучше Марьи Ивановны. А потом вообще — сюрприз.

— Ладно, — говорит он, — я потерплю.

\* \* \*

Тетя Марина хоть и хорошая, но играть совсем не умеет, и Мироше уже в третий раз приходится объяснять, почему никак нельзя, чтобы красную птицу поколотила синяя.

— Красная — самая сильная, понимаешь? А синяя — слабенькая, она птенец еще. И вообще они дружат. У них домик вот здесь, под картонкой.

Тетя Марина берет красную птицу и делает вид, будто та идет по дивану, переваливаясь с лапы на лапу.

— Я самая сильная и красная! — сердито басит она, и Мироша смеется, потому что красная птица никогда не злится и уж тем более не ходит как пингвин.

— Не так! Дай покажу!

Он тянется за игрушкой, но тут у тети Марины звенит телефон.

— Да! Алло! — кричит она, вскакивает и опять садится. — Ты где?

Телефон у тети Марины широкий и плоский, как тоненькая книжка. Лягушек, похоже, в нем не водится, а сидит кто-то суровый, не говорящий, а гудящий в тетя-Марино ухо. Мама говорила, что у тети Марины есть муж и он странный. Наверное, это он и гудит на тетю Марину так, что даже Мироше не по себе.

Тетя Марина долго слушает, закрыв глаза и поджав губы, а потом начинает стрекотать быстро, как заводная машинка.

— Нельзя так, ты понимаешь, нельзя так со мной! Я ни в чем перед тобой не виновата, зачем ты меня мучаешь? Я звонила-звонила, а ты два





дня недоступен, вдруг с тобой что-нибудь случилось? Я ведь спать не могла, волновалась! Да не слежу я за тобой, не слежу! Я же люблю тебя!

Голос гудит в ответ — что-то обидное, потому что тетя Марина плачет. Мироша удивляется: как можно так плакать, когда глаза закрыты, а лицо совсем спокойное, будто она и не расстроилась? Если Мироша ревет — то всем телом и рот открывает пошире, ведь так же куда удобнее.

Тетя Марина снова вскакивает и убегает в соседнюю комнату, плечом прижимая телефон к щеке. Через стенку Мироша слышит, как она говорит, но не слышит что — и это похоже на жалобную песню без слов.

Красная птица лежит на диване, а синяя так и прячется под картонкой. Мироша вздыхает и принимается за дело один: птицам нужно слетать за добычей, пообедать, а после навести порядок в своем домике. К маминому возвращению нужно все успеть. А завтра будет сюрприз.

\* \* \*

— Так польнью и поливаешься? Зачем тебе эта горечь? Женщина должна пахнуть сладким, съедобным чем-нибудь, а не тоской зеленой.

Мама смотрела на говорившего недоверчиво и как-то обреченно, но тут возмутилась:

— Без тебя разберусь, понял?

— Тогда я пошел?

Улыбаясь, мужчина сделал шаг назад.

— Да стой. Хоть перед собственным сыном не придуривайся, ладно? Решил исправляться, так исправляйся. А я, вообще, опаздываю. Температура у него небольшая, хотя горло еще побаливает. Лекарства на столе, если что — сразу звони.

Мужчина ничего не ответил, потому что увидел Мирошу: тот стоял в дверном проеме и смотрел на маму сонно и вопросительно.

— Мирошкин, доброе утро! — как-то слишком обрадовалась мама. — А вот и сюрприз! Папа твой приехал. Помнишь, я говорила тебе, что он отправился далеко-далеко в чужую страну, никто оттуда не может ни доплыть, ни долететь? А он смог — и доплыл, и долетел! И вам пора познакомиться и подружиться.

— Здорово, парень!

Мужчина шагнул к Мироше, подхватил его под мышки и закружил так быстро, что все перед глазами смешалось: и мама, и зеркало, и вешалка, и розовый утренний свет, падающий из открытой кухонной двери...

— Ну, брат, рассказывай!

Мама уже ушла, а папа уселся в кресло, вытянув ноги почти до середины комнаты.

— Как живешь? Чем занят?

Мироше очень хочется побежать вслед за мамой: может быть, она разрешит пойти с ней на работу? Или позвать Марию Ивановну. Или



пусть плакучая тетя Марина придет. Откуда он взялся — папа? И что, теперь прямо сразу его так можно называть? Мироша пробует произнести новое слово про себя. Папы всегда были у других, а чтобы вот так, собственный появился — это еще привыкнуть надо... Однако мужчина глядит на него так весело и открыто синими-пресиними глазами, что от этого взгляда, и улыбки, и особенного, никогда не виданного Мирошей сочетания яркой черной бороды и белого свитера внутри становится светло и счастливо и хочется рассказать сразу все: и про красную птицу, и про царапающие горло коготки простуды, и про кудрявую девочку Олю из старшей группы, и про то, что на самом деле пахнет от мамы замечательно — чистой холодной водой.

— Я... — начинает Мироша, но папа вдруг перестает улыбаться и хлопает себя по карманам брюк.

— Черт, — сквозь зубы бормочет он, — телефон опять потерял. Черт! Так, парень, быстренько собирайся, смотаемся в одно место и вернемся. Где там твоя одежда, показывай.

Он очень торопится, и Мироша не успевает ничего объяснить: ни того, что куртку обычно не надевают на пижаму, ни что желтая шапка куда теплее синей и что перчатки прячутся в нижнем ящике комода под мохнатым маминым шарфом.

\* \* \*

В просторном зале тихо, холодно и темно. Мягкие кресла поджали сиденья, словно боясь пустоты вокруг. Свет горит лишь на высокой сцене, а в самой ее середине, прямо на досках сидит лысый старичок и крутит в руках длинные железные палки.

— Опа, — говорит он, увидев Мирошу, — и кто это у нас такой?

Папа легонько подталкивает Мирошу к ведущим вверх ступенькам.

— А это у нас сын. Мирон называется.

— Ух ты! — удивляется старичок. — Ну, здравствуй, здравствуй. Слушай, а стойки-то менять придется.

Папа пожимает плечами — наверное, ему все равно — бродит по сцене туда-сюда и бормочет что-то ругательное, но не злое, а потом с ликованием хватается блестящий телефонный прямоугольник, валяющийся у складчатого занавеса.

— Нашел! — кричит он. — Фу-у-ух... Вечно из кармана все валится. Вот, брат, погляди, где у тебя родитель работает. Это тебе не просто так, а театр! — На этом слове папа поднимает вверх брови и указательный палец.

— Храм искусства, — серьезно кивает старичок. — Ты к завхозу, кстати, зайди, он тебя еще вчера искал.

Папа опять чертыхается, берет Мирошу на руки, выбегает из полутьмы зала в узкий, ярко освещенный коридор — не прямой, как в дет-

ском саду или у мамы на работе, а похожий на лабиринт, ведущий то в стороны, то вниз.

Добравшись до центра лабиринта и толкнув толстую дверь, папа, так и не отпуская Мирошу с рук, долго кричит усатому дядьке что-то непонятное, тот кричит на него в ответ, потом они хохочут и спешат в соседнюю комнатку, где пахнет пылью, а в разноцветных ворохах ткани возятся три женщины с огромными ножницами. Мирошу усаживают в угол на толстый рулон марли, суют печенье, шоколадку и сморщенное старое яблоко.

Он грызет угощение не глядя — так много всего интересного кругом, только вот холодно очень. Высоко по стенам на длинных крюках развешаны чьи-то наряды: самые обыкновенные рубашки и пиджаки покачиваются рядом с бархатными плащами, стальными кольчугами, ковбойскими шляпами, звериными масками и пышно взбитыми, облачными платьями. В комнатку заходят и заходят люди, и непонятно, как это они помещаются на крохотном, заставленном тряпичными колоннами пяточке. И каждый, кто заходит, видит Мирошу и спрашивает, кто это у нас такой, а после удивляется и здоровается.

Затем включают музыку, и она то льется, то прыгает между полом и потолком, не оставляя ни единого пустого местечка в этом чудном и донельзя переполненном мирке. У Мироши кружится и немножко болит голова, но отвлекаться никак нельзя, нужно во все глаза смотреть, как папа смеется, и слушать, как он говорит. Если бы еще мама была здесь, если бы она пришла... И то душное одеяло с собой прихватила...

— Родитель, а родитель, — спохватывается одна из женщин с ножницами, — ребенок-то у тебя не хворает? Гляди, кукуется как.

Папа хлопает себя по лбу, снова хватается Мирошу на руки и бежит куда-то, но Мироша уже не видит куда, только чувствует движение воздуха вокруг себя на лабиринтовых поворотах коридора — то ли падение, то ли полет. Он пытается устроиться поудобнее, свернуться в калачик и согреться, и вскоре ему кажется, что на макушке у него сидит красная птица с перьями легкими и пушистыми, обнимает его, своего слабенького птенца, закрывает ему лицо мягкими крыльями, шепчет, что все будет хорошо, и пахнет дождем — тем самым, что прячется в мамином флаконе у зеркала.



## **«Я ПАТРИОТ ПРИДУМАННЫХ МИРОВ...»**

*13—16 августа прошло Второе региональное совещание сибирских авторов, организованное нашим журналом и Министерством культуры Новосибирской области. Представляем стихи некоторых его участников, приехавших к нам из разных уголков Сибири.*

**Михаил РАНТОВИЧ**

*г. Березовский, Кемеровская область*

\* \* \*

Июньского зноя невольно глотнешь —  
покажется город нагретой жаровней,  
а след самолета сверкает, как нож.  
Становишься немногословней.

Потом на закате — остывший желток  
и ломтиком туча над ним золотая.  
Начистишь картофель на ужин, в мешок  
глазастые шкурки срезая.

Усеется влажными звездами ширь —  
покажется: лед на крупицы наколот.  
И лунного мятного пряника холод.  
И вечера горький чифирь.

\* \* \*

Отчего голубеет тоска?  
Отчего так она мне близка?  
Это я переполнен любовью.  
Это жизнь, поводящая бровью.

Заалел заболевший закат,  
и звезда укрупнилась стократ.  
Полюблю и тебя, и любую,  
как наполненность эту пустую.

\* \* \*

Пейзаж — но как он желт и сух!  
А луч, пронзивший тучу, узок.  
Безмолвствует, как камень, дух.  
Ни звуков нет, ни слов, ни музык.

Вот наконец и свет померк.  
Упав, секунда стала годом.  
Сорвался лист, понесся вверх,  
сверкая в воздухе исподом.

\* \* \*

В морозный день сквозь радугу ресниц  
смотри на свиристелей — нет заботы.  
Внимательно послушай этих птиц,  
молчи, не спрашивай, зачем и кто ты.

Согласье полное — об этом звук.  
Как ты наивен со своим вопросом,  
когда стоишь, пространства бедный друг,  
под чудным облаком светловолосым.

Сияет луч, и мягок и колюч,  
на ледяных фигурах — желто, гладко.  
Все чище и светлее дня загадка,  
но, к счастью, от нее потерян ключ.

\* \* \*

Прекрасны и отчетливы слова,  
но в целом непонятен человеческий  
язык, и, вязкий мрак его едва  
рассеивая, тускло светят свечи.  
Голубовато-желто пламя — дух,  
дрожащий и всегда молчащий вслух.

## Никита НОЯНОВ

г. Братск, Иркутская область

\* \* \*

Душат воспоминания —  
Низкие потолки.  
В час моего молчания  
Ты не подашь руки,

Слова не скажешь нежного,  
Не обратишься в явь.

Стеклышком боли режу я —  
Оставь!

\* \* \*

Разбухли ватные сугробы,  
в них неизбежный зреет март.  
И небо, превращаясь в нёбо,  
Прижав к себе язык-закат,

молчит. И вдруг чужая мука  
тебе протягивает руку...

\* \* \*

Так вязнет стих в сознание сонном,  
Как мотылек в зефирной мгле —  
Не бойся тени законной —  
Еще побудешь на земле,

Трахею не разрежет выдох,  
Как слово разрезает рот —  
Успеешь ты еще на выход,  
Успеешь, а сейчас пройдет...

# Ирина ЧЕТВЕРГОВА

г. Омск

\* \* \*

Я поднялась тогда на колокольню в ночь,  
когда звезда цвела над горизонтом темным,  
и, пусть всего на миг, зло потеряло мощь,  
и снегом стало все и звоном колокольным.

В стране, где Новый год важнее Рождества,  
где от беды людской цветы подорожали,  
народ судьбы другой заслуживал едва,  
народ судьбы другой и ожидал едва ли.

Цвети, свети в ночи, январская звезда,  
единственным цветком,  
что не продашь, не купишь,  
и доброту носи в другие города,  
понятную во тьме звезде или цветку лишь.  
Цвети, свети, свети...

\* \* \*

Я не боюсь «последнего» стиха,  
поскольку жизнь — поэзия по сути:  
коряга, камень — знак на перепутье,  
пчелы жужжанье в чашечке цветка...  
Пока со мною небо и земля,  
и колыханье трав, и звезд свеченье,  
поэзия — прощанье и прощенье  
тому, что больше не исправлю я;  
что, может быть, сопутствует беде,  
но выдохнешь беду и вдохом новым  
простишь меня с моим неровным словом  
и словом злым не помянешь нигде.

## Павел КУРАВСКИЙ

*г. Новосибирск*

### Форель на Чу

Я видел дикую реку —  
Орущий скальный поток.  
Над ней — рассвета прореху,  
Небесный кровоподтек.

Реторты бурлят и колбы,  
Форель будто током бьет,  
И если вдруг лед здесь лег бы —  
Форель разбивала б лед!

Потом река выпрямлялась,  
Минуя тиски теснин,  
Меня лазорь и алость  
На ржавую взвесь равнин.

Река превращалась в лужу,  
В текущий песчаный яд,  
Совсем становясь ненужной  
Для глаза и для питья.

И я понимал форелей,  
Живущих век в колотьбе:  
Ты жив, пока на дуэли  
Ты бьешься, с волной в борьбе.

И все про себя я вызнал,  
Дыща кондёром машин,  
Спускаясь с лазурных высей  
На рыжую пыль долин.

## Олеся ШМАКОВИЧ

*г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область*

\* \* \*

Я роняю пепел на колени.  
Видно, от него в душе черно.  
Скорбных мыслей сумрачные тени  
мечутся, как тучи за окном.



Там в кипящих лужах тает лето.  
Дождь, устало выдохнув, затих.  
А любовь горчит, как сигарета.  
Мы ее курили на троих.  
Это очень вредная привычка:  
ждать годами так, как я ждала.  
Но надежда, хрупкая как спичка,  
не могла никак сгореть дотла.  
И покрылось ровным слоем пепла  
сердце — темно-серое пятно.  
Я любовь свою бросаю в пекло  
и курить бросаю заодно.

### **Белая ворона. Монолог**

Быть белой в черной стае — это страшно,  
Ведь множество сильнее единицы.  
Мне никогда не слиться с черной пашней  
и с черной стаей никогда не слиться...  
Соломенный солдат стоит на страже  
и бережет крестьянские посевы.  
Но даже если вывалиться в сажу,  
мне никогда не стать такой, как все вы.  
И потому на север улетаю.  
Мне не страшны морозы и пурга.  
Быть может, где-то там гнездится стая  
Ворон, таких же белых, как снега.

### **Эмигрантское**

Я патриот придуманных миров,  
Я эмигрант, чья родина мертва.  
По скользкой грязи чуждых мне дворов  
я ухажу в мир, полный волшебства.  
И вырастают замки среди берез,  
маяк на берегу, как часовой.  
А цоканье копыт и стук колес  
бульжники дробят на мостовой...  
И вымысел скрепляет, как зажим,  
воспоминаний рваные края.  
Вот так, сплетаясь с городом чужим,  
вновь оживает родина моя.

Кристина ГОРТМАН

## УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ

*Пьеса\**

### Действующие лица:

А н н а, скульптор, 29 лет.

Н а т а л ь я, мать Анны, бухгалтер, 57 лет.

В и к а, дочь Анны, школьница, 12 лет.

С о с е д, инвалид, бывший шахтер, сосед Анны, неопределенного возраста.

В е р а П е т р о в н а, соседка Анны, одинокая пенсионерка, 65 лет.

М а р и н а, соседка Анны, 40 лет.

В о л о д я, юрист, любовник Марины, 25 лет.

С о ф и я, скульптор, подруга Анны, 30 лет.

В о в а, муж Марины, бизнесмен, 45 лет.

В а н я, друг Вики, 14 лет.

Ю р и й, В а л е н т и н а, заказчики.

П е р в ы й п о л и ц е й с к и й.

В т о р о й п о л и ц е й с к и й.

У ч а с т к о в ы й.

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а.

В р а ч.

П а ц а н ы с р а й о н а, л а м п о в щ и ц ы, ш а х т е р ы, г р у з - ч и к и, с о с е д и.

Действие пьесы происходит в наше время в Кузбассе.

### 1. Сосед вернулся

Квартира Натальи, в которой она живет с Анной и Викой. А н н а мнет в руках глину. С о ф и я сидит на диване и уплетает сладости. Входит Н а т а л ь я с огромными пакетами, сбрасывает их на пол, тяжело дыша.

Н а т а л ь я. Соседа-то выпустили, похоже.

С о ф и я. Откуда?

---

\* Пьеса получила первую премию в одной из номинаций на Международном конкурсе драматургии «Баденвайлер» (2018).

Н а т а л ь я. Сонечка! Здравствуй! Давно ты не приезжала...

Наталья с Софией обнимаются. Анна бросается к окну, смотрит во двор.

А н н а. Он же и месяца там не пробыл! Нету вроде. Ты уверена?

Н а т а л ь я. У магазина ошивался. Точно он. В куртке своей с орлом на спине.

А н н а. Я надеюсь, ты не догадалась с ним поздороваться?

Н а т а л ь я. Нет, ты же меня учила: с ним, как с цыганами, — глазами не встречаться.

Анна, кивнув, продолжает мять глину,  
 Наталья уносит пакеты в кухню, возвращается.

С о ф и я. Ну и вот, короче. Разговор идет о том, чтобы делать барельеф. Сумма пока не называется, но, говорят, не обидят.

А н н а. Ага. Мам! А он один был или с кем-то?

Н а т а л ь я. Не знаю, один вроде.

А н н а. Трезвый?

Н а т а л ь я. Пока да.

А н н а. Ладно.

Пауза. Анна лепит из глины макет надгробной плиты.  
 София ест сладости.

С о ф и я. Только надо глянуть, как он хоть выглядел, этот космонавт. И еще либо скафандр надо, либо ракету там в барельеф этот воткнуть, не определились еще. В бронзе просят.

А н н а. В бронзе... Мам! Я тут подумала, может, дверь ему гипсом замазать, а? Я могу. Или крошку гранитную в замок настрогать.

С о ф и я. Тебя этому в академии научили?

А н н а. Да я думала, его там нормально полечат, полгода хотя бы, год!

Н а т а л ь я. Нужен он там кому-то, держать его. Ты его в секунду по «скорой» уложила, а диспансер один на весь город. Люди в очередь встают, ждут месяцами, взятки дают, чтобы попасть.

А н н а. Ты о чем, какие взятки?

Н а т а л ь я. Большие! К хорошему врачу еще попади. У нас в государстве знаешь какой дефицит психиатров? На тысячу дураков один врач, я по телевизору смотрела. И то средний возраст доктора — шестьдесят лет. Никто не идет работать, потому что не платят им за психов, а платят там, где титьки наращивают. Страна с ума сходит, а лечить некому, зато все с титьками.

С о ф и я (хихикая). Да чего ты его так боишься? Это у вас один диспансер, а у нас в городе их вообще три, и все переполненные. В больших городах потому что уровень сумасшествия выше.

Н а т а л ь я. А еще говорят, что нет здоровых, есть недообследованные.

А н н а. Только не все они мать свою убивали.

Пауза.

Н а т а л ь я. Ты, если боишься его, пачку перца черного рассыпного в карман положи.

А н н а. Себе?

Н а т а л ь я. Ну. Или красного жгучего, этот еще лучше.

А н н а. Точно, чтоб рассыпался в кармане.

Н а т а л ь я. Он только шаг в твою сторону — ты ему перца в глаза. На всю жизнь запомнит. Я так в молодости на танцы ходила, верный способ.

С о ф и я (смеясь). Слушай, Анька, мама плохому не научит!

Н а т а л ь я. Конечно не научит. И вы тоже детей своих полезному учите. Например, ужин готовить к приходу матери с работы.

А н н а. Начинается...

Н а т а л ь я. И грязь снова повсюду. Ань! Нравится тебе в свинарнике жить?

А н н а. Это не грязь, мама, это угольная пыль.

Н а т а л ь я. Тем не менее ее надо убирать.

А н н а. Какой смысл ее убирать, если к вечеру она снова слоem ляжет?

Н а т а л ь я. Но ее будет меньше.

А н н а. Не будет ее меньше, она бесконечная. Мы умрем, а она будет всегда.

Н а т а л ь я. Если не убирать, конечно, будет. Вон у Веры Петровны всегда дома чистота.

А н н а. Это от безделья.

Н а т а л ь я. Ты тоже дома сидишь. Я, наверное, Веру Петровну к нам приглашу. Пусть полюбуется, какая у меня Анька хозяйка выросла.

А н н а. Пусть тряпку захватит, я ей дело найду.

Н а т а л ь я. Ты лучше себе работу найди.

А н н а. Я работаю, а эта угольная пыль даже в глину въедается, не говоря уже о гипсе. У меня все работы в крапинку. Их поэтому никто и не покупает.

С о ф и я. Их не покупают, потому что шахтерам не нужны твои гипсовые женщины.

Пауза. Анна очищает руки от глины, набрасывает на плечи куртку.

А н н а. Вику встречу из школы.

С о ф и я. Ну и я тогда поеду. А то трассу ремонтируют, объезжать придется, это на час дольше. Рада была вас увидеть, тетя Наташ!

Н а т а л ь я. И я тебя, Сонечка. Ты такая умничка, я тебя всегда Аньке в пример ставлю, какая Соня молодец, крутится-вертится, такие заказы хватает уже. Молодец! (Анне.) Вика сама не дойдет?

А н н а. С этим встретится, не дай бог...  
 Н а т а л ь я. Перец тогда возьми.  
 А н н а. Лучше сама закройся. А то распахнешься вечно...

## 2. Ангелочки

А н н а и В и к а идут по улице мимо серых домов и грязных деревьев, покрытых угольной пылью. В мусорном баке роются бомжи, а у ларька сидят на корточках п а ц а н ы с р а й о н а. Рядом с ними — старенькая «девятка», двери в ней открыты и громко играет музыка.

В и к а. А Матвей Суржиков вообще... Мы, прикинь, по биологии лабу делаем, а он прям внаглую у меня скатывает. Я говорю — офигел вообще, сам думай, придурок. А он мне — че жопишься, у меня матику списывала — ниче, а сама... Я училке сказала, а ей вообще пофигу.

А н н а. Не училке, а учительнице.

Вика закатывает глаза.

А н н а. Двоек не нахватала?

Вика мнется.

А н н а. По русскому опять?

В и к а. Да блин, я не понимаю ее задание! «Установите связь между частями текста». Я написала: эти части текста стоят в тексте рядом, поэтому связь у них очень тесная. А она мне двойку поставила. Дура.

А н н а. Вика!

В и к а. А Ванька Перекаатов мне сегодня знаешь че? Он мне на велике дал покататься на переменке, представь? Он такой классный, мам, вообще!

А н н а. Велик?

В и к а. Ванька, мам, какой велик! У него вообще такие волосы чистые, и он мне сказал, что я красивая.

А н н а. Мне твой папаша то же самое говорил. Только волос у него не было.

В и к а. Не, без волос не прикольно, голова как яйцо. Ой, мам, там Верка вышла, я с ней!

Вика бросает Анне рюкзак и намеревается убежать к подружке.

А н н а. Нет.

Вика останавливается.

В и к а. Мам, ну исправлю я эту двойку.

А н н а. Домой. Бабушке поможешь.

В и к а. Ну ма-а-ам...

А н н а. Не-е-ет.

В и к а. Что там помочь ей?



А н н а. У меня тоже дома дела, пойдем.

В и к а. Ну так ты иди и помоги ей, я-то че? Что ты вообще решила со мной пойти? Завтра снег пойдет, точно. Мама меня встретила из школы.

А н н а. Все, без разговоров.

В и к а. Капе-е-ец.

Анна берет Вику за руку, ведет домой. К ним подбегает М а р и н а.

М а р и н а. Анюточка! Ой как хорошо, что ты здесь! У меня к тебе дело ну просто на миллион!

В и к а. Ну я пошла, ага?

А н н а (*вздыхая, Вике*). Иди гуляй...

В и к а. Ура!

А н н а. Только чтоб я видела!

Вика убегает. Марина трижды целует Анну в щеки; Анна озирается.

А н н а. Давай быстро.

М а р и н а. Короче! У нас с Володькой через месяц двадцать лет совместной жизни.

А н н а. Вы еще вместе?

М а р и н а. Конечно! Он просто все время в разъездах, сама понимаешь: должность. Вот и не видно его. Так вот! Слепи нам каких-нибудь ангелочков, м?

А н н а. Ангелочков?

М а р и н а. Ну да, таких, как на машины свадебные лепят, влюбленных.

А н н а. Гипсовых? Гранитных? Деревянных?

М а р и н а. Ну каких-нибудь милых, да.

А н н а. Размер?

М а р и н а (*смущенно хихикая*). Ну, размер, как известно, не главное.

А н н а. Нет, размер как раз главное. Двухметровые ангелочки стоят дороже.

М а р и н а. Ну... Чтобы он мог их с собой носить.

А н н а. С собой? Носить?

М а р и н а. Да! Как напоминание о моей любви.

А н н а. То есть их плоскими сделать. Чтобы в карман помещались.

М а р и н а. Ну нет, не плоскими, наверное. Если плоские, он засунет куда-нибудь — и все, и забудет.

А н н а. О твоей любви?

М а р и н а. Об ангелочках! Сделай, чтобы в машину вместо вонючки к зеркалу подвесил, во! Пузатеньких таких. А, и еще, самое главное! Аня! Сделай, чтобы у них лица были наши.

А н н а. Что?

М а р и н а. Ты ко мне забеги как-нибудь, я тебе наши фотки дам, чтобы тебе проще было. И пузатеньких таких обязательно, чтобы сюси-

пусечки. Ангелы же! Особенно Володька. Анютка, я знаю, ты талантище, сделаешь все круто. Заплачу сколько скажешь.

Во двор дома тихо, как тень, заходит с о с е д.  
Он садится на скамейку и смотрит на играющих детей.

М а р и н а. А, да, и еще...

А н н а. Я зайду к тебе, и ты мне все расскажешь, ага?

М а р и н а. Да там...

Анна спешно забирает Вику и тащит домой.

В и к а. Капец, мам, мне уже не пять лет! Я способна сама гулять! Че случилось-то? Вообще-е-е... Мам! Ну там Верка... Мам!

### 3. Рецепты молодости

Н а т а л ь я и В е р а П е т р о в н а пьют чай в кухне. Анна с Викой шумно заваливаются домой, захлопывают дверь. В и к а вбегает в кухню, с разбега обнимает Наталью.

В и к а. Представь, баб, я седня на велике Ваньки Перекатова ката-лась, круто, да?!

Входит А н н а.

А н н а. Вера Петровна! Какими судьбами?

В е р а П е т р о в н а. У вас в доме не только свинарник, но еще и орут все, как в лесу.

А н н а (*Наталье*). Так ты уже пожаловалась? Ну значит, Вера Петровна, вы все знаете, ничто для вас не будет новостью, и я могу пойти еще немножечко попинать балду.

В е р а П е т р о в н а. Для начала здравствуйте.

А н н а. Здрасьте.

В и к а. Здрасьте!

А н н а и В и к а уходят. Вера Петровна с укором смотрит на Наталью.

Н а т а л ь я (*вздыхая*). Тридцать лет девке! Сидит себе там, лепит свои куличики. Я все думаю, может, перебесится, а? Я тут по телевизору смотрела, говорили, мол, существует кризис тридцати лет.

В е р а П е т р о в н а. Я в ее годы на шахте пахала в ламповой, а муж мой на разрезе, детей поднимали, садик, школа — никаких кризисов у нас не было. На пенсии сижусь с сахарным диабетом, мужа похоронила — и никакого кризиса. А у них кризис.

Н а т а л ь я. Не знаю... Он говорил, мол, тридцать лет — это такая черта, к которой обычно люди уже подходят с каким-то багажом. Ну, якобы у человека к тридцати должна быть семья, дети, жилье, работа. И если чего-то нет, то человек переживать начинает, вот и кризис отсюда.

В е р а П е т р о в н а. Ахинея какая-то, бред полоумного. А кто говорил?

Н а т а л ь я. Геннадий Малахов.

В е р а П е т р о в н а. А, ну он-то ерунду говорить не будет.

Н а т а л ь я. Вот и я говорю.

В е р а П е т р о в н а. Нет, он не мог такое говорить. Может, ты его с Мальшевой путаешь?

Н а т а л ь я. Может, с Мальшевой путаю. Кстати, тут Мальшева такое чудесное средство от изжоги рассказала в программе, я попробовала — как рукой снимает!

В е р а П е т р о в н а. Ну-ка!

Н а т а л ь я. В общем, смешиваешь двадцать грамм бобровой струи с чайной ложкой медвежьей желчи.

В е р а П е т р о в н а. Погоди. Дай ручку, что ли, какую с листочком, запишу... А то изжога тоже мучает, не могу. Особенно как манты поем. Ну?

Н а т а л ь я. Двадцать грамм бобровой струи, желчи буквально чайную ложечку, завариваешь иван-чай полстакана, все перемешиваешь — и туда столовую ложку меда.

В е р а П е т р о в н а (*записывает*). Мё-ё-ёда...

Н а т а л ь я. Принимаешь каждое утро по чайной ложке натошак. Желудок — ну просто как у двадцатилетней становится!

В е р а П е т р о в н а (*записывает*). На-то-шак... Слушай, ну Мальшева не могла такого сказать. Может, ты ее с Малаховым путаешь?

Н а т а л ь я. Может, путаю. Но средство прекрасное! Изжоги как не бывало. Правда, волосы стали выпадать почему-то. Но я это не связываю.

В е р а П е т р о в н а. Да нет, конечно, какая связь-то.

Входит А н н а, мнет в руках глину.

А н н а. Mam, разогрей Вике чего-нибудь поесть.

В е р а П е т р о в н а. Анна, пока дочери нет, скажу. Ты со своими глиняными статуэтками завязывай давай. Баловство какое-то.

А н н а. Ну, значит, я пять лет училась баловаться.

В е р а П е т р о в н а. А знаешь, у нас в ламповой с каким только образованием женщины ни работали. Даже одна писательница была, да. Танька. В стенгазету о нас стихи писала. Такие смешные, умора! А платят там стабильно, и работа не пыльная, не грязная.

А н н а. Mam, разогрей, а?

А н н а выходит. Наталья ставит на плиту кастрюлю.

В е р а П е т р о в н а. Не понимаю я тебя, Наташка. Девка в тридцать лет работать должна пять дней в неделю, с девяти до шести, с отпуском, соцпакетом, премией, льготами. Или хотя бы посменно, два через два можно, очень удобный график. Чтобы трудовая лежала, чтобы стаж



шел, отчисления в пенсионный. У нас восемь шахт — выбирай не хочу. Все так работают, а она особенная, что ли? Значит, так, давай я Вальке позвоню, она ламповщицей работает. Устроим твою Аньку, пусть работает идет, не позорится.

Н а т а л ь я. Борщ будешь?

В е р а П е т р о в н а. Нет, изжога.

Н а т а л ь я. Струю с желчью смешаю.

В е р а П е т р о в н а. Смешаю.

Вбегает В и к а.

В и к а. Раз, два, мы не ели! Три, четыре, есть хотим! Открывайте шире двери, а то повара съедим! (*Плюхается за стол.*)

В е р а П е т р о в н а. Иерихонская труба. Перед едой руки мыть надо.

В и к а. Руки? Чистые! Лицо? Умыто! Всем-всем приятного аппетита!

В е р а П е т р о в н а. А то все вот говорят, у нас тут угольная пыль, угольная пыль. А в ней, в этой угольной пыли, между прочим, с удовольствием живут и микробы, и бактерии, и яйца глистов.

Н а т а л ь я. Приятного (*ставит перед Викой тарелку супа*) аппетита...

#### 4. Беспокойная ночь

Квартира Марины. Приглушенный свет. М а р и н а лежит в постели.

М а р и н а. Вов, ну ты долго там еще?

Из ванной выходит В о л о д я с полотенцем на бедрах. Ложится к Марине, целует ее.

М а р и н а. Здорово, что вас зовут одинаково, да?

В о л о д я. С Володей?

М а р и н а. Ну! Путать не приходится. А то, знаешь, за двадцать лет всякое бывало.

В о л о д я. А вы что, все еще вместе?

М а р и н а. Ну я же говорила тебе, у него сейчас не очень простое время. Закончатся эти его переговоры, сразу же... Не нуди, Вов, знаешь же, терпеть не могу. Так вот. Сбил меня, блин. А! В телефоне у меня под одним именем два номера забито — твой и мужа. Так что никто в жизни не догадается. Звонишь ты — высвечивается «Володя», можно спокойно сказать: «Да, милый!», и ты доволен, и никто ничего не понял. Здорово придумала, а?

В о л о д я. А если Вова увидит?

М а р и н а. А ты не звони, когда Вова рядом.

Марина и Володя целуются. В это же время этажом выше, в квартире Анны горит ночник. В и к а лежит в кровати, А н н а читает ей книгу.

А н н а. «...Нет ни одной силы, которая могла бы остановить меня, я спасу тебя, Елизавета! — закричал Арнольд. Он спрыгнул с коня и стал собирать все ветки, бревна и палки в округе, чтобы выстроить лестницу до небес. Вмиг он построил лестницу, а затем взобрался по ней до окна темницы, в которой томилаcь принцесса, вырвал толстые прутья и вынес Елизавету на руках».

В и к а. Наши пацаны никогда так не смогут.

А н н а. Что не смогут?

В и к а. Прутья вырвать, например.

А н н а. Ну, они еще маленькие, наверное, у них силы мало.

В и к а. Ванька уже взрослый, он на два класса старше меня. И сильный. Я вот все думаю, мам, с кем мне лучше дружить? С Ванькой или с Матвеем Суржиковым? Матвей, конечно, у меня лабу скатывал без спросу, но он мне и матику, и русский всегда дает списать. А Ванька такой клевый, я прям не могу...

А н н а. Я думаю, что в твоём возрасте нужно думать не про это.

В и к а. А когда мне можно будет начать думать про это?

В квартире снизу раздаётся грохот. Стены трясутся, ночник шатается и валится набок.

В и к а. Мам, это опять он? Он дом разгромит?

А н н а. Надеюсь, что нет.

Анна ставит ночник, идет в комнату к Наталье.

А н н а. Там старая песня опять началась.

Н а т а л ь я. Слышу. Я думала, он в прошлый раз все в доме перебил.

А н н а. Орет что-то.

Слышен мужской крик. Володя садится на кровати рядом с Мариной.

М а р и н а. Это сосед, не обращай внимания.

Марина притягивает Володю к себе, целуются. Снова раздаётся грохот. Володя хватает стакан, приставляет к стене, прижимается к нему ухом, слушает. С о с е д что-то швыряет в стену, Володя отскакивает, держась за ухо.

В о л о д я. Придурок!

М а р и н а. Мне холодно.

В о л о д я. Да погоди!

С о с е д (*кричит за стеной*). Выход «Бэ» завален, не пройти, а я пленками вашими на Таймыре хвостик мыл!

Снова раздаётся грохот. Вика прижимается к Анне. Наталья зевает.

А н н а. На Таймыре хвостик мыл. Это что-то новенькое.

Н а т а л ь я. Ладно, давайте спать. Мне завтра на работу рано.

А н н а. Ты можешь спокойно спать?

Н а т а л ь я. Ну вызови полицию.

А н н а. Я ему уже «скорую» вызывала, пусть другие в полицию звонят.

Н а т а л ь я. Мне он не мешает. Тебе мешает — ты звони. Спокойной ночи.

Грохот. Н а т а л ь я уходит. Вика ложится в кровать.

В и к а. Страшно, короче...

А н н а. Не бойся, он скоро угомонится.

Грохот.

В и к а. ...непонятно, чего от мужчин ждать.

А н н а. Да такие сами от себя не знают чего ждать.

В и к а. Что у них на уме... А вдруг обманут? Вон Верка целовалась с пацаном целую неделю, а он потом пропал, а когда нашли, сказал, что вообще ее не знает.

А н н а. Ты опять про это.

В и к а. Вот как им верить, мам, когда вокруг сплошной обман? А ведь чем шире объятия, тем легче тебя распять. И шрамы от прежних предательств не дадут полюбить вновь так же чисто и открыто. Разбитая ваза не может хранить холодную воду для жажды, разбитое сердце не может любить, увидев измену однажды.

Грохот. Володя, вскочив с кровати, натягивает штаны. Марина хватается телефон.

М а р и н а. Вовочка, ну подожди, ну я сейчас все улажу. Я этого придурка своими руками придушу, если его не заберут.

В о л о д я. Круто придумала. Придут, а ты с голой жопой.

М а р и н а. Оденусь. Ты только тоже тихо сиди. А то ты хоть и Вова, да другой.

В о л о д я. Да всем пофигу, какой тут Вова.

М а р и н а. Вове не пофигу. Оденься. Только не уходи. Сейчас все уладим. Алло. Здравствуйте! У нас сосед буянит, никому спать не дает. Да.

Грохот. Вика засыпает. Сосед выбрасывает с балкона разные вещи. Все предметы разбиваются об асфальт. Анна осторожно выглядывает с балкона.

С о с е д. Всё! В забой больше не спускаться! Мест нет! Выработка тупиковая! Там постирать надо, так не оставляйте, плесенью порастет, и не отмоешь.

Сосед заходит в квартиру и сразу направляется в подъезд. Анна бежит к входной двери, проверяет замки. Сосед поднимается на этаж к квартире Анны.

С о с е д. Концентрация метана превышена! Так, сто-двести-триста-восемь-девять-десять. Ну-ка? Кто ответит, сколько их всего, процентов сколько, а? Надо готовиться, а вы сидите, штаны протираете. Угроза, чрезвычайное положение, всех соседей надо спасать. А он газоанализатор снимает. Снимает и в ватник заворачивает, ты смотри. Смотри, он его на землю кладет, собака!

Анна стоит у двери, припав к ней ухом, не двигается. В подъезд входят  
 п о л и ц е й с к и е.

П е р в ы й п о л и ц е й с к и й. Уважаемый, на вас жалоба поступила. Шумим?

С о с е д. Здравия желаю! Разрешите доложить. Категория третья! Курить точно не получится. А вообще, уходить надо, уходить! С такими шутки плохи, он его с крюка снял.

Полицейские смеются.

В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Ты где живешь, чудило?

С о с е д. А я не знаю ничего, это не я. Это он его в ватник завернул, я сам видел!

В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Вот народ непуганый пошел. Знают же, что в соседнем доме участок, придем за две минуты, нет, все равно чуют. Где живешь, спрашиваю?

Анна по-прежнему слушает у двери. Из своей квартиры выходит Марина.

М а р и н а. Да вон этажом ниже он живет.

П е р в ы й п о л и ц е й с к и й. Это вы вызывали?

М а р и н а. Я. Достал всех уже. Заберите его, пожалуйста.

С о с е д. А я не трогал никого, никого не трогал.

П е р в ы й п о л и ц е й с к и й. Пойдемте составим протокольчик, а этого товарища...

В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Разберемся.

Первый полицейский уходит с Мариной в ее квартиру. Второй полицейский ведет соседа домой, но дверь заперта. Второй полицейский стучит.

В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Откройте, полиция!

С о с е д. Никак? Выход завалило, не отгребем. Не отгребем, ребята...

В е р а П е т р о в н а (*выглядывая из-за своей двери*). Да нет там никого, один он живет, дверь захлопнул, да и все! (*Скрывается за дверью.*)

П е р в ы й п о л и ц е й с к и й (*выходя из квартиры Марины*). Ну что, забираем? Говорят, буйный, по уголовке лечился.

В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Тебе скучно живется?

П е р в ы й п о л и ц е й с к и й. А че?

В т о р о й п о л и ц е й с к и й (соседу). Ты орать еще будешь?  
 С о с е д. Нет, нет, тут тишина нужна, в свисток только дуй, чтобы откопали. Чтобы знали, что живые есть. А так тишина нужна.

В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Вот и все. Молодец. На улицу выведем, проветрится, успокоится. Свежий воздух полезен.

Полицейские уводят соседа на улицу, уезжают. Во дворе темно и пусто, сосед садится на лавочку на детской площадке. Марина у себя в спальне снимает одежду с Володи.

В о л о д я. Увезли?

М а р и н а. Слышишь? Тихо. Увезли, значит. Давай!

Володя срывает с Марины одежду, они падают на кровать, ритмично двигаются, Володя сопит, Марина стонет. Внезапно из открытого окна раздается голос.

С о с е д. А где вся документация? А ну показывай! Где сертификат искробезопасности? Во-о-от. А технику безопасности у нас кто соблюдает? Правильно, ни-кто.

М а р и н а. Твою мать...

Во дворе появляются п а ц а н ы с р а й о н а. Их трое или четверо, а может, даже шестеро. Они видят соседа на скамейке, подходят.

П а ц а н ы с р а й о н а. Э, слышь, закурить не будет?

С о с е д. Подкрепление подоспело, это радует. У нас, ребята, похоже, даже в капитальной выработке газ, надо торопиться. Чего стоите, как телки? Непонятно объясняю?

П а ц а н ы с р а й о н а. Ты дерзкий, что ли, я не понял?

С о с е д. У нас большие потери, нам нельзя терять времени, кончаем базар.

Пацаны с района ржут.

П а ц а н ы с р а й о н а. Ты дурачок, что ли? Отвечаю! Реально псих.

С о с е д. Не-е-е, это кто-кто сказал, а уж не эти. Кто бы говорил, так я скажу.

Пацаны с района валят соседа на землю, он не сопротивляется, они пинают его, поднимают, бьют по лицу, другие ощупывают карманы.

П а ц а н ы с р а й о н а. На тебе! На, сука! Слышь, реально дурак, его бьешь, а он улыбается. Сука, таких идиотов поищи. Ржака, сука, отвечаю.

Один из парней снимает на телефон. Все ржут, пинают соседа. В доме один за другим загораются окна. Анна, В е р а П е т р о в н а, Володя и Марина, прочие соседи выглядывают, наблюдают за дракой. Марина курит.

В о л о д я. Он всегда такой был?

М а р и н а. Он из тех пятерых, которых живыми из-под завалов вытащили на Ручейной.

В о л о д я. Это в десятом году?

М а р и н а. Вот уж не помню.

В о л о д я. Ну когда три взрыва метана подряд были. Их двое суток вытаскивали. Триста погибших.

М а р и н а. Слежу я за взрывами этими, что ли? Этот метан у них постоянно взрывается, вечно этих шахтеров сотнями из-под земли выносят, чтобы через три дня опять в землю закопать. А они все равно лезут в эти шахты, как будто медом им там помазано.

В о л о д я. Такая работа.

М а р и н а. Есть масса других профессий.

Володя вздыхает, отходит от окна, одевается.

Марина наблюдает за дракой.

М а р и н а. Убейте его уже наконец.

В о л о д я. Ты за языком следи.

М а р и н а. Первый раз в жизни этого хочу, веришь, нет?

Подъезжает полицейский уазик, сотрудники хватают п а ц а н о в с р а й о н а. С о с е д вскакивает и бежит из двора со всех ног. Полицейские ему свистят, но его уже и след простыл. Полицейские увозят пацанов. В окнах гаснет свет. Соседи отходят от окон. Марина гасит сигарету.

В о л о д я. Знаешь, я поеду, наверное.

М а р и н а. Чего?! Скотина ты, Вова. И трус.

## 5. Афинас

Квартира Марины. А н н а и М а р и н а рассматривают фотоальбомом.

М а р и н а. Тут вот сильно мелкие лица будут для ангелочков, наверное... А это вот мы в Грецию ездили. Вовчик меня там пытался маслинами накормить. Они там знаешь какие? Вот видишь, с кулак мой. А я же маслины просто терпеть не могу! Даже маленькие, которые у нас в баночках продаются. А Вовка мне: мы же в Греции! Ешь маслины! Ты, говорит, больше нигде не попробуешь такие. Ой замучил меня там.

А н н а. А в Акрополе были?

М а р и н а. Не, а что, хорошее место?

А н н а. Ну...

М а р и н а. Мы вообще всегда в Верандасе останавливаемся. Там окна прямо на море выходят, и завтрак включен, и вай-фай бесплатный, все для людей, короче. А море, Анька, какое там море! Никакие наши курорты Краснодарского края не сравнятся, это я тебе точно говорю.



А н н а. Съездите в Акрополь. Никакой твой Верандас не сравнится.  
М а р и н а. Окей, я загулю.

А н н а. Правда, там скульптуры, которые остались под открытым небом, заменены копиями, но это ничего. Вообще, там раньше было три храма богини Афины, и вот самая знаменитая статуя, Афина Парфенос, внутри Парфенона находилась. В высоту она была где-то примерно метров двенадцать, выполнена из слоновой кости на деревянном каркасе, а одежда из чистого золота.

М а р и н а. Слоновая кость — это круто.

А н н а. Ну, вообще, акролитная техника очень характерна для того периода, конечно. Сейчас так уже никто не делает, сейчас много других материалов.

М а р и н а. Ань, смотри, я думаю, эта фотка пойдет для ангелов. Видно же лица нормально?

А н н а. Знаешь, я когда-нибудь обязательно в Афины поеду. Вика сейчас вот подрастет, и поеду.

М а р и н а. Конечно, поедешь. Или нет, вот эта фотка лучше.

А н н а. Не получалось никак пока, то вот денег не было, потом развод, приехали сюда, тут ни работы, ничего, один уголь. Но дочь вырастет, заработаю, обязательно, и поеду.

М а р и н а. А че ждать-то...

Анна усмехается.

М а р и н а. Смотри, план такой. Вот ты сейчас делаешь ангелочков, я дарю их Вовке и потом тихой сапой начинаю его пилить. Ну, периодически нашептывать, типа, гляди, какая Анька молодец, какой талант прозябает у нас тут и бла-бла-бла. Ну я умею, короче. Я так много чего выпросила. Он же там какие-то деньги на благотворительность перечисляет, вот пусть и тебе выделит. Ему че, жалко, что ли?! Может, дело свое какое-нибудь откроешь или в этот Афинас свой, или как его там, съездишь.

А н н а. Акрополь.

М а р и н а. А то смотрю на тебя, и сердце кровью обливается.

А н н а. Ладно, давай фотку, буду делать.

М а р и н а. А ты из слоновой кости сделаешь?

А н н а. Нет, ты что, ее же не найдешь сейчас, запрещенный материал. Я из дерева вырежу.

М а р и н а. Из дерева? Блин, ну это как-то дешево.

А н н а. Закрашу под слоновую кость, хочешь? Вы же их на зеркало повесите, они болтаться будут. Фарфор, глина, гипс разобьются, гранит, медь, бронза, стекло, лобовое разобьют. А дерево легкое.

М а р и н а. Только точно закрась. Чтобы а-ля натурель. А то не даст денег.

А н н а. Натурель, конечно. Я пойду, у меня еще заказ на два надгробия, к пятнице надо доделать.

Анна берет фотографию.

М а р и н а. Мужика тебе надо, Ань. У меня вот Вовка. Двадцать лет уже, хоть бы слова упрека, хоть бы на какую другую юбку посмотрел — нет! Все мне покупает, по миру возит. Ну и я смолчу где надо, конечно. Счастье семейное, Ань, ничем не заменишь.

А н н а, кивнув, выходит. В подъезде сталкивается с с о с е д о м, который, остановившись, долго провожает ее взглядом, бормочет себе под нос что-то невнятное, а затем тихо уходит на улицу.

## 6. Уроки йоги

Квартира Натальи. У батареи сохнут два надгробия. В центре комнаты стоит пластмассовый тазик. Включен телевизор.

Т е л е в е д у щ и й. Мы начинаем нашу передачу «Йога для пенсионеров». Пожалуйста, сядьте на коврик, закройте глаза, дышите.

Н а т а л ь я садится, закрывает глаза, дышит.

Т е л е в е д у щ и й. Поднимите руки. Не забывайте о правильном дыхании. Держите спину прямо. Все мышцы расслаблены. Вы наполняетесь энергией.

Наталья поднимает руки.

Т е л е в е д у щ и й. Глаза по-прежнему закрыты, вы представляете альпийские луга, заполненные лавандой, высокие горы с заснеженными вершинами, огромный океан. Дышим по-прежнему спокойно, размеренно. Все мышцы расслаблены. Плавно опустите руки, поставьте их сзади и поднимите таз настолько высоко, насколько сможете.

Наталья опускает руки, нащупывает сзади тазик, поднимает. Дышит.  
Вбегает А н н а.

А н н а. Где Вика, твою мать?!

Наталья от неожиданности вздрагивает, тазик падает ей на голову.

Н а т а л ь я. Ты с ума уже сошла со своей Викой! Гуляет, где!  
А н н а. Я же просила!

Н а т а л ь я. А я просила этих Ивана Иваныча и Авдотью Петровну в моей комнате не сушить!

Анна выбегает во двор, но там никого нет, кроме с о с е д а. Он сидит на лавочке, смотрит на Анну и улыбается. Анна бежит дальше, она обегает всю округу, Вики будто след простыл.



## 7. Первая любовь

Детская площадка во дворе школы. В и к а и В а н я П е р е к а т о в катаются на велосипеде.

В а н я. Ты красивая такая.

В и к а. Мне все говорят.

В а н я. Давай будем дружить?

В и к а. Давай. У меня дома два надгробия есть.

В а н я. Круто.

В и к а. А еще под нами псих живет. Он ночью орет и стены рушит.

В а н я. Круто. А у меня есть сникерс, пойдем к тебе чай пить?

В и к а. Давай завтра. Мама на родительское собрание уйдет, а баба на работе будет.

В а н я. Давай. А папы нет у тебя?

В и к а. Нет.

В а н я. Круто.

Пауза.

В а н я. А ты целоваться умеешь?

В и к а. Да че там уметь...

В а н я. Круто.

В и к а. А ты целовался когда-нибудь?

В а н я. Ха, че за вопросы вообще?

В и к а. Целовался, да?

В а н я. Да тыщу раз. Хочешь, покажу?

Прибегает А н н а, хватает Вику и отвечает ей тумака.

А н н а. Вот она где! Я тебе сейчас! Я весь район обежала! Места себе не нахожу! Думаю, дочь пропала! А она тут на велосипеде! Спокойно! Катается!

В и к а. Отпусти!

В а н я. Не трогайте ее. Я свидетель, я в полицию позвоню.

А н н а. Марш домой.

В и к а. Отстань от меня!

А н н а. Что?

В а н я. Мы дружим теперь.

В и к а. Да.

В а н я. И я ее ото всех буду защищать.

А н н а. Тебе сколько лет, защитник?

В а н я. Четырнадцать.

А н н а. Ты ее от самого себя защити.

В и к а. Да пошла ты!

А н н а. Что сказала?! А ну марш домой!

В а н я. До завтра, Вик.



А н н а. Никаких «до завтра», ясно?

В и к а. Прощай, Ванечка.

Вика подмигивает Ване, Ваня улыбается. Анна толкает Вику в плечо, подгоняя.

## 8. Йога не для всех

Квартира Веры Петровны. Н а т а л ь я и В е р а П е т р о в н а сидят за столом.

В е р а П е т р о в н а (*протягивает Наталье клочок бумаги*). Вот! Номер телефона, не потеряй. Это Валька, ламповщицей работает на «Южной». Сказала, устроит твою Аньку. И чтобы никаких отговорок, это не шутки. У нее дочь растет, кормить надо. И ты не вечная.

Н а т а л ь я. Анька тут заказ взяла, говорит, перспективный. Говорит, после него дело пойдет.

В е р а П е т р о в н а. Какое дело! Будет у нее то пусто, то густо, как всегда. Детский сад. Вот — нормальная стабильная работа. Не профукай. Желающих много.

Н а т а л ь я. Ладно.

Наталья кладет листочек в карман. Вера Петровна кашляет.

Н а т а л ь я. Простыла?

В е р а П е т р о в н а. Да. Нет. Вроде. Не знаю...

Н а т а л ь я. Я тут такую передачу для себя открыла. Ну-ка тащи тазик давай и какой-нибудь коврик. Сейчас весь твой кашель вылечим.

В е р а П е т р о в н а. Самолечение — вещь опасная. Я лучше к доктору.

Н а т а л ь я. Давай тащи, сказала. Еще деньги тратить на докторов...

Вера Петровна приносит тазик и коврик.

В е р а П е т р о в н а. Надеюсь, это не от Малышевой и не от Малахова. А то я от прошлого твоего рецепта чуть не сдохла.

Н а т а л ь я. Сначала исполним позу трупа. Она дает мгновенное...

В е р а П е т р о в н а. Э, нет, давай про живых.

Н а т а л ь я. Ну садись на коврик тогда по-турецки.

В е р а П е т р о в н а. Как?

Наталья садится на пол, скрестив ноги.

Н а т а л ь я. Вот так.

В е р а П е т р о в н а. Ох, боже мой, я так не смогу.

Н а т а л ь я. Представь, что ты лотос, молодой и цветущий.

Вера Петровна садится, пытается скрестить ноги, но у нее не получается.

Н а т а л ь я. Ладно. Просто протяни ноги.  
 В е р а П е т р о в н а. Что за темы у тебя все время, я не пойму?  
 Н а т а л ь я. Господи, да сядь уже как-нибудь!

Вера Петровна усаживается.

Н а т а л ь я. Закрой глаза.

Обе закрывают глаза.

Н а т а л ь я. Делай длинный глубокий вдох и резкий выдох в два раза короче вдоха.

В е р а П е т р о в н а. Чего?

Н а т а л ь я. Я считаю — ты вдыхай. Давай. Глаза закрой. Раз, два, три, четыре, пять...

Вера Петровна закашливается, не может остановиться — кашляет, хватается руками за воздух.

Н а т а л ь я. Это все хорошо, все правильно. Шлаки выходят, замечательно. Давай еще раз!

В е р а П е т р о в н а. Иди нахер, Наташа! *(Кашляет.)*

Н а т а л ь я. Давай похлопаю, что ли. Господи, как подавилась...

Наташа хлопает Веру Петровну по спине, Вера Петровна падает, хрипит.

Н а т а л ь я. Вер, ты чего? Вер!

В е р а П е т р о в н а. «Скорую»!

Н а т а л ь я *(хватает телефон)*. Алло! Алло! «Скорая»? Тут женщине плохо! Шестьдесят пять! Кашляет, не может остановиться! Да! Адрес? Так, адрес...

В е р а П е т р о в н а *(перестав кашлять)*. Все, уже не надо.

Н а т а л ь я. Как?

В е р а П е т р о в н а. Отбой, говорю. Отпустило.

Н а т а л ь я. Все, уже не надо... Нет, живая. Ага. *(Кладет трубку.)*

В е р а П е т р о в н а *(вытирая пот со лба)*. Выброси свой телевизор нахер, Наташа. Пока сама не убилась и нас не поубивала. Телефон ламповщицы не забудь.

## 9. Знакомство

Квартира Марины. М а р и н а в колготках и бюстгальтере, торопливо красится. На столе — букет роз и плюшевая игрушка. Звонок. Марина распахивает дверь. На пороге — А н н а.

М а р и н а. Ой, это ты...

Марина убегает в комнату, набрасывает халат. Анна проходит в коридор, прикрывая за собой дверь.

А н н а. А ты кого ждала? Володька, что ли, приедет?

М а р и н а. Да-да, Володька. Тебе чего?

А н н а. Да вот фотографию тебе вернуть. Я ангелочков уже вырезала, сейчас дерево подсохнет, я краску нанесу и...

Марина забирает фотографию.

А н н а. А фотка, не дай бог, потеряется. Я вот на родительское собрание пошла, думаю, захвачу, занесу тебе по пути. А то Вика у меня такая...

М а р и н а. Спасибо!

А н н а. В принципе они получились очень даже похоже, я сама не ожидала. Ну, ангелочки...

М а р и н а. Прекрасно. Звякни, как готовы будут.

А н н а. Да я занесу тебе, рядом же живем.

Дверь открывается, входит В о л о д я.

А н н а. Здравствуйте.

В о л о д я. Добрый вечер. (Марине.) Готова?

А н н а (протягивая руку для пожатия). Аня.

В о л о д я. Володя. Это же вы местный гениальный скульптор?!

А н н а. Забавно, у Марины мужа тоже зовут Володя.

М а р и н а. Аня вообще торопилась на родительское собрание.

В о л о д я (Марине). Я в машине жду.

М а р и н а. Пять минут.

Анна и Володя выходят на улицу, останавливаются.

В о л о д я. А у вас можно телефончик взять? Вдруг мне скульптурка понадобится или еще чего.

А н н а. В таком случае возьмете номер у Марины.

В о л о д я. Хорошо. Тогда возьмите. (Протягивает Анне визитку.) Возьмите, возьмите. Я могу подвезти на машине, шкафы двигать умею, ну и вообще со мной весело.

А н н а (читает визитку). Здесь написано — юрист.

В о л о д я. Ну, в этом смысле, я надеюсь, вам не понадобится.

А н н а. Хорошего вечера.

Володя садится в автомобиль и смотрит вслед уходящей Анне.

## 10. Крутые ангелы

В а н я у В и к и в гостях. Стоят у надгробий.

В а н я. Иван Иванович симпатичный.

В и к а. Мама старалась.  
 В а н я. А Авдотья эта на ведьму похожа.  
 В и к а. Мама тоже так сказала.  
 В а н я. Мама у тебя крутая.  
 В и к а. Она еще ангелочков вырезает, красивущих, пузатеньких. Из  
 дерева. Во какие! (*Показывает.*)  
 В а н я. Крутые ангелы. На тебя похожи.  
 В и к а. Я не пузатая.  
 В а н я. Но ты ангел.

Ваня целует Вику.

В а н я. Чай сделай.

Вика тянется губами к Ване.

В а н я. Давай подсуетись, потом целоваться будем.  
 В и к а. Сникерс давай, порежу.  
 В а н я. Так сникерс вчера был. Сегодня уже нет. Давай-давай, на-  
 ливай, с таким попьем. Камон, вперед.

Вика уходит на кухню. Ваня берет ангелочков, секунду разглядывает их и сует в карман. Идет в кухню к Вике, целует ее.

В а н я. Я еще не видел таких красивых, как ты. У тебя все крутое. И глаза, и нос, и щеки.

В и к а. Сейчас чай готов будет.

В а н я. Я перехотел. Пошли гулять.

В и к а. Мне мама не разрешает.

В а н я. Да забей ты! Пошла она, еще бьет тебя, офигела.

В и к а. Ну, она вообще в последнее время с катушек съехала.

В а н я. Мамки, они вечно такие, все им не так, пошли.

Ваня с Викой убегают на улицу. Выбегая из подъезда, сталкиваются с соседом, хохочут, бегут дальше. Сосед провожает их взглядом, идет за ними.

## 11. Ведьма

А н н а входит в свою квартиру, вслед за ней —  
 Ю р и й и В а л е н т и н а. Анна мельком заглядывает в комнату.

А н н а. Вика! Вик! (*Пауза.*) Проходите сюда, пожалуйста.

Все трое проходят к надгробиям. Смотрят.

Ю р и й. Иван Иваныч хорошо вышел, прям как на фотографии. А вот Авдотья Петровна...

В а л е н т и н а. Мама вообще на ведьму похожа!

Ю р и й. Ну не то чтобы похожа...

В а л е н т и н а. Ладно, Юра, че ты церемонишься. Надо называть вещи своими именами.

А н н а. Ну в смысле... Какая есть.

В а л е н т и н а. Чего? Сама ты ведьма! Моя мама была прекрасной женщиной! Доброй, чуткой! *(Всхлипывает, утыкается Юрию в плечо.)*

Ю р и й. И что-то тут у вас везде на белой краске точки какие-то.

А н н а. Это угольная пыль.

Ю р и й. Тогда без вопросов. Она у нас, как говорится, в крови!

А н н а. Вам завернуть или так понесете?

Ю р и й. Знаете, Анна, Авдотью Петровну, наверное, надо будет немножко переделать.

А н н а. Ее уже не переделаешь.

Юрий хихикает, Валентина отрывается от его плеча.

В а л е н т и н а. Ты издеваешься надо мной, что ли?

А н н а. Вы видели эскиз, чертеж, макет. Вам то одно не нравилось, то другое. Я десять раз переделывала. Но мать ваша везде была одинаковая, и вас она устраивала.

Валентина демонстративно отворачивается.

Ю р и й. Анна, мы вам платим не за достоверность. Пофантазируйте немного, вы же художник. Прорисуйте ее в более мягких чертах.

В а л е н т и н а. Так, все, Юра, пошли отсюда.

А н н а. Погодите, а оплата?

В а л е н т и н а. Тут платить не за что.

А н н а. Слушайте, я только что с родительского собрания. Мне надо в школе отдать за ремонт, новые шторы, и кондиционер сломался. Мы с вами все утвердили. Работа готова. Оплатите хотя бы Ивана Ивановича.

Ю р и й. Анна, вы не поняли. Переделайте Авдотью Петровну, и мы всё оплатим. По отдельности они нам не нужны. Всего хорошего.

В а л е н т и н а и Ю р и й выходят. Анна набирает номер Вики, но ее телефон звонит дома. Анна набрасывает куртку, уходит. На улице встречается с с о с е д о м, который неторопливо возвращается во двор.

С о с е д. Туда, туда пошли. Торопись, мамаша, время работает против нас.

А н н а убегает.

## 12. Филеечка

С о с е д садится на скамейку во дворе. Он достает из кармана перочинный нож и чертит им на земле карты и схемы. На углу дома останавливается автомобиль, первым из машины выходит В о л о д я и идет в подъезд, следом выходит хмельная М а р и н а, закрывает автомобиль и путаной походкой направляется к подъезду.

С о с е д. Тектонические нарушения, они говорят. Вскрытие, говорят, вот здесь было и здесь. Четыреста метров, понимаешь. Дегазация не была проведена, а почему? А потому, что тектонику не спрогнозировали. И закрыли на этом. А это чушь, понял? Он просто снял анализатор и в ватник его, в ватник, я видел все. (*Озирается по сторонам, видит Марину и бросается к ней с ножичком.*) Повесь анализатор обратно на крюк! Слышишь! Быстро, я тебе сказал!

М а р и н а. Пошел от меня, придурок!

Марина со всех ног бросается к подъезду, сосед — за ней. Прочие соседи стоят и наблюдают. Качают головами, снимают на телефон, показывают пальцами, хохочут.

С о с е д. Ты же нас всех на тот свет отправишь! Вытаскивай его из ватника, быстро!

М а р и н а. По-мо-ги-те!!!

С о с е д. Дышать нечем! Метана много! Убирай ватник, я тебе сказал, собака! Сейчас мы взлетим вместе с угольной пылью! Ты же всех ребят угробишь! Вытаскивай анализатор!!!

Марина забегает в подъезд, мчится по лестнице вверх, сосед — за ней. Внезапно открывается дверь Веры Петровны — В е р а П е т р о в н а затаскивает Марину к себе и захлопывает дверь.

С о с е д. Ух, собака. Ни пыли, ни газа. Извините, рабочий день окончен.

Марина в коридоре у Веры Петровны сползает по стеночке и истерично смеется.

В е р а П е т р о в н а. Не порезал тебя?

Марина, хохоча, отрицательно качает головой.

В е р а П е т р о в н а. И главное, ведь никто не вступился.

Марина хохочет, кивает.

В е р а П е т р о в н а. А подвозил кто тебя? Друзья?

М а р и н а. Друзья, друзья.

В е р а П е т р о в н а. Давай в полицию звонить. Друзья твои свидетели.

М а р и н а (*резко прекращая смеяться*). Нет!

В е р а П е т р о в н а. Это что за новости?

М а р и н а. Ой, Вера Петровна, их же сначала ждать три часа, потом протокол этот составлять, потом по судам таскаться, эту рожу видеть. Не порезал — и слава богу.

В е р а П е т р о в н а. Ну давай хотя бы Вове позвоним.

М а р и н а. Какому?

В е р а П е т р о в н а. Мужу твоему, какому.

М а р и н а. А, ну да. Нет! Не надо Вове! У него ночь сейчас. Да не надо никому звонить. Этот псих уже и не помнит, что бежал за мной. А будем разбираться, напомним, вот тогда точно и из ватника вытащит, и на крюк повесит.

Марина снова истерично хохочет, идет к двери. Вера Петровна кашляет.

В е р а П е т р о в н а. Маринка, это безобразие надо заканчивать! Я свидетель, ребята твои, друзья, которые подвозили, тоже все видели. Мы все подтвердим.

М а р и н а. Я сказала, не надо никуда звонить. Друзья мои ничего не видели.

В е р а П е т р о в н а. А если он на тебя кинулся, потому что ты ему полицию недавно вызывала, а?

М а р и н а. Спасибо, что спасли меня.

М а р и н а выходит. Вера Петровна нервно вытирает пыль с полок.

### 13. Первые потери

А н н а и В и к а молча заходят домой. Анна сбрасывает куртку, садится к портрету Авдотьи Петровны, шлифует с камня изображение.

А н н а. Домашний арест тебе на месяц.

В и к а. Ты достала.

А н н а. Домашнее задание сделала?

В и к а. Отвали, а...

Портрет не поддается. Анна бросает шлифовальный аппарат, резко отодвигает Авдотью Петровну.

А н н а. Где ангелочки?

В и к а. Какие?

А н н а. «Какие», которые я сделала вчера! Я уходила в школу — они были. Где они?

В и к а. Я... Я не... Я не знаю... Я не брала.

А н н а. Значит, будешь сейчас выпиливать! По памяти! Куда ты их засунула?

Анна ищет. Вика вбегает в комнату к Н а т а л ь е.

В и к а. Баб, ты не видела маминых ангелочков?

Н а т а л ь я. Да в ее бардаке черт ногу сломит.

В и к а. Баб, помоги найти. Она меня точно приберет.

В комнату вбегает Анна.

А н н а. Ты дома уже, что ли? Сидишь тут втихушку.



Н а т а л ь я. Ивана Иваныча сначала забери своего! Потом ребенка дергай.

А н н а. Ребенок, между прочим, уже с мужиками гуляет.

Н а т а л ь я. Хоть кто-то в нашем доме с мужиками гуляет... (*Указывает на надгробие Ивана Ивановича.*) Убирай.

А н н а. Да что он тебе сделал-то?

Н а т а л ь я. Сама спи с ним в одной комнате.

Анна тащит надгробие к себе в комнату.

Н а т а л ь я. Не квартира, а сарай! Хлам кругом, дышать нечем.

А н н а. Такая работа.

Н а т а л ь я. Снимай мастерскую и ее засирай.

А н н а. У меня только заказы пошли. Деньги появятся — сниму.

Н а т а л ь я. Деньги у нее появятся...

А н н а. Немножко еще потерпеть.

Н а т а л ь я. Это «немножко» уже шесть лет длится! (*Сует в руку Анне листок с телефоном ламповищицы.*) Если завтра же не позвонишь и не устроишься на нормальную работу, я вышвырну тебя вместе со всем твоим хламом, ангелами и мертвецами!

А н н а. Вот спасибо тебе, мама, низкий поклон за заботу.

Н а т а л ь я. Перед соседями стыдно. У всех дети как дети, работают, дома чисто, внуки на море ездят, эта же — свободный художник. От слова «худо»!

А н н а (*Вике*). Нашла ангелов?!

В и к а. Нет.

А н н а. Идите вы все... (*Одевается, выходит.*)

## 14. Идеальный мир

А н н а в Кемерово, в гостях у С о ф и и. Из окна виден широкий освещенный проспект и драматический театр.

С о ф и я. И я этот конкурс выиграла! На пятьсот косарей, представляешь? Барельеф космонавта — на пятьсот тыщ! Я вообще до потолка прыгала, это ж офигеть — пять сотен. Но без договора. Я говорю им — окей, без договора, но с предоплатой. Эскиз денег стоит, макет денег стоит.

А н н а. Надо было сто процентов брать.

С о ф и я. Еле-еле договорились. И началось. То им непохоже, то скафандр придумать, то ракету, ну как всегда, короче. Я говорю: хозяин — барин, вы только отстегивайте, я вам хоть Белку и Стрелку в купальниках на Юпитере слеплю. (*Смеется.*) Душу мне вынули, короче. Ну ничего, приняли. Вот вчера открывали, красная ленточка, все дела. Потом фуршет был, с мужичком познакомилась, завтра в театр меня позвал. Культур-шмультур.

А н н а. Все оплатили?

С о ф и я. Куда б они делись. А сейчас у меня кукольники нарисовались. Фасад театра. В барочном стиле хотят. Я пару эскизов сделала, посмотришь?

А н н а. Давай. *(Смотрит эскизы.)* Только фронтон, да?

С о ф и я. Да. Что скажешь?

А н н а. Я бы тут потягучее формы сделала, чтобы они сливались в единое целое, понимаешь, да? А волосы реальные можно дать куклам, и зубы, прямо не жалеёй, ногти прорисовать.

С о ф и я. А колпаки?

А н н а. Тут пышный, скажем, а концы переходят в волны с гребешками, знаешь, морские такие, штормовые, буря, стихия, динамика же нужна. А этот колпак можно в ветки перевести на концах, пусть ветки качаются от ветра, и плоды на них висят спелые, скажем, черешня. Или нет, слишком мелкая. Виноград пусть будет или яблоки, не знаю, смотри сама. А внизу пусть валяются грозди, они уже упали от ветра. Эта дама пусть за виноградом тянется, она так удачно вписана тут у тебя.

С о ф и я. Я вот не знаю, они у меня слишком реальные, иллюзии не хватает.

А н н а. Да тут что угодно, я же говорю, самое банальное — пусть конкретные фигуры у тебя в абстракцию переходят. Это самое простое. Вот у этого товарища такая борода колоритная, так и хочется из нее реку какую-нибудь сделать, а по реке пусти корабли и лодки с парусами. А на этого можно плащ надеть, плащ пусть развевается и переходит как раз в парус.

С о ф и я. Круто.

А н н а. Материал какой у тебя?

С о ф и я. Мрамор. Черный.

А н н а. С мрамором сложно. Корпишь над ним, а в конце трещина пошла — и все заново.

С о ф и я. Ну, заказчик хочет мрамор, че я сделаю.

А н н а. Нет, черный мрамор — это красиво. Это даже тебе хорошо, на нем свет здорово играет. А может, возьмешь меня, а, Сонь? Вместе сделаем.

С о ф и я. Я не знаю, это мне с заказчиком обсуждать надо.

А н н а. Спроси, а, Сонь? Я тебе классно сделаю, ты же знаешь.

С о ф и я. А у тебя есть что показать им? Работы какие-нибудь, портфолио. Сейчас ты чем занимаешься?

А н н а. Ангелочком с лицом бородатого мужика и двумя могильными плитами.

С о ф и я. Да уж, наборчик.

А н н а. Хотя и плитами уже не занята.

С о ф и я *(убирая эскизы)*. Знаешь, Ань, это их, скорее всего, вряд ли впечатлит.

А н н а. Ладно. Буду сама тогда, что теперь... Раз не впечатлит... Мне вот бородатый мужик, с которого я ангелочка делаю, обещал вроде денег дать. Получу — мастерскую сделаю, потихонечку налажу дело.

С о ф и я. «Бородатый мужик, с которого ангелочка делаю». Ха! Ха-ха-ха! Денег даст. Реально ангелочек! Во плоти! Бородатый! Ха-ха-ха! Ой, Анька!

А н н а. А в школе кондиционер сломался! И крыша. Крыша протекает в школе у Вики. Вот что. *(Пауза.)* Здание еще довоенное. Директор причитает, мол, мы стоим в очереди, а у города нет денег. Я встала посреди родительского собрания, говорю им, мы все прекрасно знаем, что деньги есть, другой вопрос, куда они направляются. Говорю, давайте, мы, родители, напишем петицию, все ее подпишем, пойдем в администрацию города, области или прямо к депутатам, у них вообще есть внебюджетные средства. Если хочется, всегда можно добиться — не здесь, так там дадут на ремонт этой злополучной крыши. Это ведь для наших детей. Деньги есть, всегда есть. Знаешь, что они мне сказали? Что мы только себя не в лучшем свете в городе выставим, а денег все равно не добьемся. Ты понимаешь? Им не дети важны, не их жизнь и здоровье, а репутация, ты понимаешь? И вот это их «денег нет», как в секте, повторяют одно и то же. Денег нет, денег нет, денег нет. Эти люди сами себе поставили потолок — и выше него не могут прыгнуть! Как те блохи в банке. «Денег нет» — и все. Потолок. Рефлекс, собака Павлова. И детей своих они так же ограничивают, учат жить в этой банке. И главное, такие все при этом счастливые. Правда, как в секте. Денег нет, тра-ля-ля!

С о ф и я. Да просто радуются тому, что есть. А не ноют. Далась тебе эта крыша.

А н н а. Она может на Вику рухнуть.

С о ф и я. Не нужно никому это донкихотство. Никогда ты на школьную крышу бабло не выбьешь ни у кого. Неважно, есть деньги или нет. Это же ясно как день. Радуйся, что она вообще есть, крыша эта, хотя бы такая. Ты застряла в каком-то придуманном мире, где все идеально. Ты выбирайся из своих фантазий уже, алё. Аня! Тебе никто, кроме меня, не скажет. Аня, ты живешь в маленьком грязном шахтерском городе. Где протекают крыши и умирают люди. Там нет театров, фронтонов и барельефов. Там только Малахов по телеку и выезды на рынок по выходным. Никто не закажет тебе скульптурную композицию и не даст денег на глобальный ремонт. Оценивай реально свою ситуацию, хватит мечтать и ныть.

Пауза.

А н н а. Так, время позднее. Засиделась я. Мне Вику еще спать укладывать. Пора ехать.

С о ф и я. Автобусы не ходят уже. Ну обидься на меня, давай.

А н н а. Не знаю, попутку поймаю. А, вот, есть у меня телефон одного водителя. *(Достает визитку Володи, набирает номер.)*

С о ф и я. Бедовая ты голова.



А н н а. Я тебе диплом делала в академии, а ты мне говоришь: оценивай себя реально.

С о ф и я. Не себя, а ситуацию.

А н н а. У меня будет мастерская, Соня, и я еще помечтаю.

С о ф и я. Конечно.

А н н а. Алло, Володя? Здравствуйте, это Анна...

## 15. Дорога домой

В о л о д я и А н н а едут в автомобиле по ночной трассе.

В о л о д я. Вам не холодно?

А н н а. Нет.

В о л о д я. А может, дует, нет?

А н н а. Нет.

В о л о д я. Наверное, с женихом поругались, что в ночь домой за-спешили?

А н н а. Нет.

В о л о д я. Тогда, наверное, домой к жениху торопитесь.

А н н а. А музыка есть у вас?

Володя включает музыку. У него звонит телефон, но он сбрасывает звонок. Телефон звонит еще и еще, Володя отключает его и бросает на заднее сиденье, достает плед, протягивает его Анне.

В о л о д я. Так уютней.

Анна укутывается в плед, закрывает глаза и просыпается только когда автомобиль подъезжает к ее дому. Свет фар выхватывает из темноты сидящего на скамейке с о с е д а, который, щурясь от яркого света, встает и медленно идет вдоль двора в темноту.

А н н а. А вообще, Володя, я передумала. Увезите меня на край света. И оставьте там.

В о л о д я (смеется). Я провожу.

А н н а. Не надо.

В о л о д я. Аня, я же не прошу к вам на чай.

А н н а. Вы меня очень выручили. И я вас больше не побеспокою.

В о л о д я. Что за город у нас... Я, как вернулся сюда, все ищу в людях чистоту, искренность, нежность какую-то... В вас, я вижу, она еще есть... Но вы ее так прячете, что и не подступиться... Похоже, нас всех здесь так уже запачкала эта угольная пыль, что не отмыться... И ни чистоты скоро не найдем, ни искренности...

А н н а выходит из машины и скрывается в подъезде. Володя включает телефон. Сосед, выскочив из темноты с палкой, замахивается на машину Володи.

## 16. Мы работаем с этим

В е р а П е т р о в н а сидит в кабинете участкового инспектора полиции.

В е р а П е т р о в н а. Он бежал за ней по двору с ножом, складной ножичек такой, бежал и кричал, чтобы она ему что-то там из ватника достала!

У ч а с т к о в ы й. От меня вы чего хотите?

В е р а П е т р о в н а. Он кричит по ночам, дом громит!

У ч а с т к о в ы й. Мы работаем с этим.

В е р а П е т р о в н а. Он вообще мать свою убил семь лет назад. Потому что она ему запрещала рассказывать, что там у них в шахте случилось. Она же как лучше хотела. А он ее — чирк, и все.

У ч а с т к о в ы й. Он прошел принудительное лечение и реабилитацию.

В е р а П е т р о в н а. Так вот оно ему не помогло. Примите меры, товарищ участковый. Я свидетель, он Мариночку чуть не зарезал. Это же среди бела дня, уму непостижимо!

У ч а с т к о в ы й. Он ее порезал?

В е р а П е т р о в н а. Нет.

У ч а с т к о в ы й. Убил?

В е р а П е т р о в н а. Нет, тьфу-тьфу-тьфу.

У ч а с т к о в ы й. Потерпевшая сама обращалась в полицию с заявлением?

В е р а П е т р о в н а. Нет, она сказала, не надо.

У ч а с т к о в ы й. И от меня вы чего хотите?

В е р а П е т р о в н а. Ну как, человек живет во дворе дома, ножом размахивает, нам страшно мимо ходить.

У ч а с т к о в ы й. Закон он не нарушает.

В е р а П е т р о в н а. То есть нам ждать, когда он кого-нибудь по настоящему зарежет?!

У ч а с т к о в ы й. Будут жертвы или потерпевшие — звоните. Составим протокол.

В е р а П е т р о в н а. Видимо, придется опять ему «скорую» вызывать.

У ч а с т к о в ы й. Без его согласия — это нарушение прав человека. Наказывается по статье 128 УК РФ.

В е р а П е т р о в н а. Его прав или прав человека?

У ч а с т к о в ы й. От меня вы чего хотите?

В е р а П е т р о в н а. Чтобы вы как-то повлияли.

У ч а с т к о в ы й. Закон ваш сосед не нарушает.

В е р а П е т р о в н а. Он наш покой нарушает!

У ч а с т к о в ы й. Мы работаем с этим.

Вера Петровна закашливается. Участковый наливает ей стакан воды.

Участковый. Вы поймите, он не единственный. У меня таких клиентов — триста человек на участок. Я делаю что могу.

## 17. Под слоновую кость

Квартира Наталья. Громко играет музыка. Анна отпивает вино из горлышка бутылки. Вырезает из куска дерева новых ангелов. Снова отпивает вино. Входят Наталья и Вика. У Вики на щеке синяк. Наталья выключает музыку и уходит к себе в комнату. Анна, увидев синяк, отбрасывает ангелочков.

Анна. Это кто тебя так? Кому задницу надрать?

Вика. Он предатель, мам! Предатель! *(Рыдая, обнимает Анну.)*

Предатель! Я так этого боялась, а он предатель!

Анна. О-о, это серьезно.

Анна идет на кухню, достает два бокала, разливает вино, протягивает один бокал Вике.

Вика. Мам, ты чего?

Анна. Дзынь! Чтоб все предатели сдохли! *(Поднимает бокал, отпивает вино.)* Ты не поддерживаешь мой гост?

Вика. Мам, я же еще... Ты же мне не разрешаешь.

Анна. Лучше ты с матерью пить научишься, чем в какой-нибудь подворотне. Пей.

Вика делает пару глотков вина, морщится.

Анна. Ну, рассказывай.

Вика. Он чай пить пришел ко мне.

Анна. Целовались?

Вика. Нет.

Анна. Да-а-а.

Вика. Пару раз, не считается. Он мне сказал, что я красивая. И что работы твои крутые.

Анна. Ну подхалим!

Вика. И все. Потом гулять пошли. А ты когда сказала, что ангелочки пропали, я сразу поняла. Седня в школу пришла, смотрю — а они у Лизки Севостьяновой, она их к рюкзаку привесила. И главное, ходит такая типа модная. Дура. Я к ней подхожу, говорю, отдай, это мое. А она говорит — отвали. Я ей сразу вмазала. Ну и вот... Прости, мамочка... *(Протягивает Анне ангелочков.)* Он мне говорил... А ей подарил... Он с ней, оказывается... Они гуляют... И даже... Чпокаются даже, вот... А я... А мне...

Анна *(обнимает Вику)*. Тебе повезло, что он не с тобой... как это ты там говоришь? Чпокается?

Вика кивает. В кухню входит Наталья.

Н а т а л ь я. Ты и ребенка уже спаиваешь.

Анна достает третий бокал, наливает вино, сует в руку Наталье. Наталья садится за стол. Молчат. Вика выпивает весь бокал залпом, морщится.

Н а т а л ь я (Вике). Получила урок? От мужиков все беды, поняла? Чем больше комплиментов, цветов, поцелуев, тем больше он, подлец, где-то провинился. Поняла?

А н н а. Ценный совет от бабули. Чем так думать, легче застрелиться.

Н а т а л ь я. Если влюбилась — сначала засунь голову под холодную воду. А уже потом иди на свои свидания.

А н н а. Холодно с мокрой головой на свидании.

Н а т а л ь я. Поэтому вывод один: влюбилась — сиди дома!

А н н а. И стакан воды тебе кот принесет. Любовь есть, Вика, это я тебе точно говорю. Я вот твоего отца любила так, что душу бы за него продала, и он меня любил.

Н а т а л ь я. Там от любви одни гормоны были, и больше ничего.

А н н а. Дело не в этом. Все ошибаются. Просто, дочь, прежде чем человеку открыться, лучше к нему присмотреться, проверить. А не нырять сразу топориком. Знаешь, любить непроверенного человека — это как в озере с крокодилами купаться. Вода теплая, как молоко, но в любой момент ты можешь погибнуть.

Н а т а л ь я. Сколько живу, не видела ни одной семьи, в которой бы жили душа в душу.

А н н а. Потому что живут не по велению сердца, мама, а по расписанию, которое кто-то за них придумал.

Н а т а л ь я. Вот как раз сказку про веление сердца и придумали, а расписание нормальное, по ГОСТу.

А н н а. А как же великие? Гала и Дали? Роден и Камила Клодель? Они пронесли любовь через всю свою жизнь!

Н а т а л ь я. Камила эта твоя Родену любовницей была, я вот как раз про нее передачу смотрела, нечего тут про любовь говорить, похоть одна. Да и вообще у нее шизофрения была, она полжизни в психушке пролежала.

Вика дремлет, опершись на руку.

А н н а. Черта с два, ее в психушку брат упек. А знаешь почему? Потому что она была гением.

Н а т а л ь я. Ну да!

А н н а. Натуральным гением, и Родена бы переплюнула, несмотря на то, что он ее всему научил. А уж брата своего — и подавно. Он вообще был средней руки, ничего особенного: работенки, которые не покупали, его имя-то и не помнит никто. А он думал, что ему Камила мешает. Все восхищались ее работами, а его не замечали, и он злился.



Н а т а л ь я. Что же Роден за свою ненаглядную не заступился?

А н н а. Жена. И еще одна фигура — мать Камиллы. Вся ситуация-то зависела от нее, а она не давала согласия на выписку. Считала, что скульптура — не женское дело. Пусть лучше дочь в дурке лежит, вот так. Ей даже врачи говорили: девушка здорова, у нее нет показаний, ее нужно выпускать, пусть работает — а мамаша наотрез отказывалась. Дочь-скульптор — позор семьи, занимается не женской работой.

Н а т а л ь я. И правильно говорила, вообще это не работа никакая, ни женская, ни мужская.

А н н а. Тем не менее я все равно тебя люблю.

Н а т а л ь я. Вот правильно по второй программе женщина вчера говорила: не верьте вы в эти слова про любовь под луной. Пусть лучше он деньги зарабатывает и в дом приносит, и кран починит, и шкаф соберет, чем портреты твои рисует и розы дарит. Пользы больше, а головной боли меньше.

А н н а. Пф-ф-ф... Какая связь между краном и чувствами?

Н а т а л ь я. Именно поэтому ты и не замужем.

Громкий стук в дверь. Вика поднимает хмельную голову. В дверь снова стучат очень настойчиво.

А н н а. Вика, быстро вспоминай, девочка, с которой ты подралась, знает, где ты живешь?

В и к а. Не знаю, нет, наверное. Ваня знает.

С о с е д (*пинает снаружи дверь*). Мы знаем, что ты там. Закрылся, твою мать! А ну открывай! Ты знал, что метан подскочил!

А н н а (*подбегает к двери*). Вы здесь не живете.

С о с е д. Ты че такая глупая, дверь открой! Я уже все приготовил! Мы его сейчас ловко!

А н н а. Вы здесь не живете! (*Наталье.*) Он же ее так вынесет, дверь-то не железная.

В и к а. А ну пшел вон отсюда! Мы счас в полицию позвоним, придурок!

А н н а (*шепотом*). Вика!

С о с е д. Ребят возвращать надо, у них дети остались! Они еще молодые совсем, им еще жить и жить.

С о с е д снова пинает дверь, разбегается, пытается высадить плечом.

С о с е д. Открывай!

В и к а. Раз-з-збеж-ж-жались! Все вы, мужики, одинаковые!

А н н а. Мам, уведи ее, а...

В и к а (*драматично заламывая руки*). Разбитая ваза не может хранить холодную воду для жажды! Разбитое сердце не может любить, увидев измену однажды!

Сосед стучит в дверь кулаком. Анна тащит надгробие  
с Авдотьей Петровной, подпирает дверь.



С о с е д. Вовчик, Серега, Толян, Виталька — их же даже не нашли! А все тебе «проходку останавливать нельзя», «план не выполним»... (Колотит в дверь.) Сворачиваемся, выходим. Открывай! (Пинает дверь.) Ну несговорчивая какая. Покрывает его. А может, он там не один. Он там не один?

Снизу по подъезду поднимается В о л о д я.

В о л о д я. Слышь, парень, к тебе уже полиция едет, ты бы шел по-хорошему.

С о с е д. Их возвращать надо, а он его в ватник завернул, ты понимаешь. Из-под кровли снял и положил пониже. А дышать нечем уже, совсем.

Сосед садится на лестницу. Появляются полицейские. Анна припадает ухом к двери.

В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Ну и чего сидим? Говорят, ты тут дверь выламываешь, опять шумишь.

В о л о д я. Вот эту дверь высаживал. Там девушка одинокая живет, нашел кого пугать.

С о с е д. Никто ему не мог сказать слово против, никто. Мы все знали, что нельзя так.

В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Домой пойдем.

С о с е д. А я не могу молчать больше, не могу, не буду. Его надо останавливать, черт с ним, с планом, с углем с этим, черт с ним, с деньгами тоже, пусть увольняют, ребятам же жить надо, дети у них. Пусть он вернет анализатор обратно, пусть выведет нас.

Полицейские ведут соседа к его квартире. Анна оттаскивает надгробие, открывает дверь.

А н н а. Спасибо вам. Это вы вызвали, да?

В о л о д я. Напугались, наверное?

Из своей квартиры выходит М а р и н а.

М а р и н а. Ну че, спас, супермен? Я готова, вперед. К другим подвигам.

А н н а. Марин, ангелы почти готовы, сохнут!

М а р и н а. Пусть сохнут!

М а р и н а и В о л о д я уходят. Полицейские этажом ниже ждут, когда сосед найдет ключи, он шарит по карманам и, наконец, находит.

С о с е д. Передайте ему, что он сам взлетит, если ватник не развернет. Коротнет, и привет. Пускай разворачивает анализатор, тревога, тревога.

П е р в ы й п о л и ц е й с к и й. Давай, боец.

Полицейские открывают дверь, выпускают соседа в квартиру. Возвращаются к Анне, заполняют протокол.

Первый полицейский. Проверьте все данные, распишитесь.

Анна. А вы его не заберете, что ли?

Второй полицейский. Подписывайте.

Анна. Слышите, вы должны его забрать! За незаконное проникновение в жилое помещение!

Первый полицейский. Мы понимаем, как он тут вас уже достал, но...

Второй полицейский. Он никуда не проник.

Анна. Ну пытался же!

Второй полицейский. Нам долго ждать?

Анна. Ни хрена не работаете, только бумажки свои пишете-пишете, пишете-пишете, пишете-пишете!

Второй полицейский. Сейчас вы договоритесь и с нами проедете.

Первый полицейский. Статья триста девятнадцать. Оскорбление представителя власти.

Второй полицейский. Еще и в состоянии алкогольного опьянения. Проверяйте и подписывайте.

Анна подписывает протокол. Полицейские уходят. Анна бросается в свою комнату и принимается за ангелочков, резкими мазками нанося на них краску.

Анна. Осталось совсем чуть-чуть. У меня будет мастерская, мама! Переедем, не будет этого соседа, этих полицейских днем и ночью, этих стуков, ора, всей этой угольной пыли, и мы заживем! Хорошо заживем — с чистыми домами, с курортами на море, и платьев тебе накоплю, и Вике велик. Где Вика?

Наталья. Уснула.

Анна. В Грецию поедем. Ты же никогда не видела Акрополь, мама? Там потрясающе, ты даже себе не представляешь. Надену на тебя тогу, а на Вику лавровый венок, и будете ходить красотками по главным улицам Афин.

Анна вскакивает и, напевая, проходит по комнате, изображая прогулку по Афинам. Хохочет, возвращается к работе.

Анна. А потом мы переедем туда, куда захотим. Понравится в Афинах — там останемся. Не понравится — дальше поедем. Сможем остановиться где угодно. Надо только под слоновою кость... Под слоновою кость... Чтобы а-ля натурель... Тогда все будет.

Наталья. Может, протрезвеешь сначала?

Анна. Пьяный скульптор лучше лепит. Ты еще будешь мной гордиться, мама. Ты еще увидишь!

## 18. Отмена

В и к а спускается по подъезду с ранцем за плечами. В квартире Марины открыта дверь, весь коридор заставлен коробками, грузчики выносят мебель.

М а р и н а (*кричит вслед грузчикам*). Зеркало сейчас упакую еще, его тоже спустить надо в этой партии!

В и к а. Здравсьте, тетя Марин!

М а р и н а. Мне некогда, Вика, иди давай.

Из глубины квартиры появляется В о в а с кучей одежды в руках.

В о в а. Кисуль, ты мои тряпки куда упаковала?

М а р и н а. Давай сюда. (*Уносит вещи.*)

В и к а. Здравсьте, дядь Вов!

В о в а. Ой, какая большая стала! Тетя Марина рассказывала, как ты вымахала.

В и к а. А вы что, еще вместе?

В о в а. Конечно, вместе, а как же. Я редко дома бываю, работа такая. Весь в разъездах, малышка. Вот и не видимся с тобой. На вот конфетку...

Вова протягивает конфету, Вика не берет. Входят грузчики, к ним выходит Марина.

М а р и н а. Это зеркало, осторожнее!

Грузчики уносят упакованное зеркало, Марина остается рядом с Вовой.

В и к а. Переезжаете, да?

В о в а. Да, в большой-большой дом. Тете Марине так захотелось.

В и к а. А Володя с вами поедет?

В о в а. Конечно, я поеду с тетей Мариной, мы же вместе живем.

В и к а. Да нет...

М а р и н а. Вова, сделай мне кофе.

В о в а уходит. Приходят грузчики, выносят коробки.

М а р и н а. Ты в школу опоздаешь.

В и к а. А мама уже ангелочков краской покрасила. Вам их уже туда, в большой дом, привезти?

М а р и н а. Передай маме, пусть оставит их себе.

В и к а. Как?

М а р и н а. Мне они уже не нужны.

В и к а. Ты их даже не видела, она старалась.

М а р и н а. Вика, ты в школу опоздаешь!

В и к а. Их даже Ванька украл, и Севостьянова отдавать не хотела, вот какие они крутые получились!

М а р и н а. Еще раз: ваши чертовы ангелочки мне больше не нужны. Я отменяю заказ, скажи маме, они у нее хреново вышли.

В и к а. Это то, что у тебя два Володи по очереди живут, вот это хреново выходит.

М а р и н а. Чтoб я тебя здесь близко не видела, шмакодявка! Иначе второй синяк поставлю на мордахе, усекла?

В и к а. Ты же маме обещала, что у нее мастерская будет, что с дядей Вовой поговоришь, что будет все.

В о в а (*кричит из глубины квартиры*). Кисуль, твой кофе готов!

М а р и н а. Пусть мать твоя у *своих* хахалей мастерскую выпрашивает. Если они у нее когда-нибудь будут. (*Вове.*) Бегу, зайчик!

Появляются грузчики. Вика путается у них под ногами, мешает — они вполголоса матерятся. В и к а плачет, убегает вниз по лестнице.

## 19. Ламповая

Л а м п о в щ и ц ы выдают шахтерам оборудование, А н н а жметя в углу.

П е р в а я л а м п о в щ и ц а. Триста двадцатый, проводку проверь сначала, расписывается он... Триста пятнадцатый, куда пошел, там помыто!

П е р в ы й ш а х т е р. Как я обойду? Тут везде помыто.

В т о р а я л а м п о в щ и ц а. Ну обойди как-нибудь, а то щас сам мыть будешь! Так, четыреста тридцать пятый, подожди, ремень забыл, забери! Вот, на. Четыреста тридцать девять, выдала. Четыреста сорок, выдала. Четыреста сорок восьмой, выдала.

В т о р о й ш а х т е р. У меня проводка не работает.

П е р в а я л а м п о в щ и ц а. Серега! Тут глянуть надо.

Слесарь проверяет проводку; шахтеры общаются, стоя в очереди.

Т р е т ь и й ш а х т е р. Как дочка-то?

Ч е т в е р т ы й ш а х т е р. Ничего, растет. Недавно в саду пацана поколотила, прикинь.

Т р е т ь и й ш а х т е р. Ну, девчонки сейчас такие пошли, себя в обиду не дадут.

Ч е т в е р т ы й ш а х т е р (*смеется*). Вся в мамку!

Т р е т ь и й ш а х т е р. Привет Светке передавай. Приезжайте в субботу к нам, баню затопим, шашлык-машлык.

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а (*Анне*). Сюда иди! (*Анна подходит.*) Значит, так. Объясняю один раз, времени тележиться нет. Ламповая по степени взрыво- и пожароопасности относится к категории А. Это значит что? Что применение открытого огня и курение здесь запрещено.

А н н а. Да я и так не...

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. При зарядке аккумуляторов выделяется водород, поэтому вентиляция и вытяжка должны работать как? Не-пре-рыв...

А н н а. ...но.

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. Дальше. Что важно. Автоматическая зарядная станция типа ЗСУ2Д. Здесь ячейки для хранения самоспасателей.

А н н а. Самоспасателей?

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. Первый раз слышишь, что ли? Вот самоспасатель, запоминай.

А н н а. Угу.

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. За каждым шахтером закреплен номер.

А н н а. А, табельный номер, знаю.

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. Не табельный номер, а просто номер. Если они тебе табельный называть будут, ты до вечера не справишься. Номер, который называет шахтер, соответствует номерной ячейке, светильнику и самоспасателю, короче — проводке. Номера эти проверяешь каждый раз, поняла?

А н н а. Да.

Ламповщицы продолжают кричать: «...Триста десятый, проводку проверь! Триста двенадцатый, выдала!» Шахтеры друг за другом забирают оборудование.

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. Зарядка аккумулятора производится через фару и кабель светильника автоматически при установке светильника на кабельный стол. Поняла?

А н н а. Э-э-э...

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. Ты на двойки училась, что ли?

А н н а. У меня красный диплом.

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. Не заметно.

А н н а. Просто я скульптор.

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. Слышь, девчонки, у нас тут скульптор! Крутяк, а? А в горном не училась, что ли?

А н н а. Нет.

П е р в а я л а м п о в щ и ц а. У нас там на входе статуя горняка стоит, может, прилепишь че к ней! Статую ламповщицы рядом поставь!

В т о р а я л а м п о в щ и ц а. С респиратором! И слесаря не забудь, пусть чинит им че-нибудь!

П е р в а я л а м п о в щ и ц а. Контакты налаживает!

Ламповщицы хохочут.

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. Ой, умные все! Ты смотри, проводку не спутай. (Анне.) Так, дальше. Светильники для работников участка буровзрывных работ...

А н н а. Каких работ?  
 В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. Ладно, это уже потом, иди выдавай.  
 Инструктаж прошла.

Анна идет на выдачу. Ламповщицы отходят, наблюдают. Подходит шахтер, протягивает жетон.

А н н а. Так... Триста сорок четыре...

Анна ищет оборудование с нужным номером. У выдачи скапливается очередь шахтеров, слышны недовольные крики.

П е р в а я л а м п о в щ и ц а. Слышь, ты долго еще искать будешь?  
 Ты так смену сорвешь.

В т о р а я л а м п о в щ и ц а. Быстрее, шевелись! Им спускаться пора! Не зевай, скульптор!

Анна находит нужную лампу и самоспасатель, выдает шахтеру. Подходит следующий, Анна снова ищет. Шахтеры галдят. Одна из ламповщиц вырывает у Анны жетон из руки.

П е р в а я л а м п о в щ и ц а. Тормоз, емана... Всех из-за тебя оштрафуют нахер. Если скульптор, так занималась бы своим делом.

В т о р а я л а м п о в щ и ц а. Прутся все сюда, думают, каждый идиот тут работать сможет.

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. Ты сама-то давно здесь так же по полчаса искала? Матом покрыть и я могу, ты знаешь.

А н н а. А почему у вас вентиляция не работает?

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. Работает.

А н н а. Но она даже не крутится.

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. Она работает.

Анна отходит подальше, садится в углу и смотрит со стороны за работой ламповщиц. Они, как на конвейере, выдают шахтерам оборудование. Иногда подходит слесарь, чинит проводку. Шахтеры идут потоком. Наконец смена заканчивается.

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. Ну как?

А н н а. Сложная у вас работа.

В а л ь к а - л а м п о в щ и ц а. Конечно, это тебе не скульптурки лепить из пластилина. Тут — ответственность.

## 20. Перец черный рассыпной

А н н а с В и к о й идут по улице мимо мусорных баков, в которых ковыряются собаки и пьяные бомжи. Грязно-зеленые листья с деревьев уже давно облетели и плавают в черных лужах. Голые деревья тычут вверх черными ветками. У Вики за плечами школьный рюкзак.

А н н а. ...А вот твоя школа уже семьдесят лет стоит. Это уникальное здание. Ее открывали с красной ленточкой, председатель облсис-

полкома приезжал. Видела, какая лепнина под крышей, на колоннах? Как будто театр, да? Пилястры у дверей такие нарядные.

В и к а. Мам, ты сильно расстроилась из-за тетки Маринки этой?

А н н а. А знаешь почему? Потому что изначально это здание задумывалось под Дом культуры. Там даже портик закладывался в проект, хотя его уже лет двести нигде не строят.

В и к а. А в ламповую ты теперь пойдешь еще или нет?

А н н а. Вот и не торопятся сейчас крышу в твоей школе чинить. Чтобы не сломать красоту. Такие здания беречь надо.

Пауза.

В и к а. Матвей этот, мам, вообще... Я уже пересела от него к Машке, а он училку подговорил, чтобы она назад меня с ним посадила. Она говорит, все девочки сидят с мальчиками, и я тоже должна быть как все. Дура. Я, может, не хочу как все, меня этот Матвей достал уже. А она мне за это двойку поставила, я, видите ли, не так предложение разобрала.

А н н а. И здорово.

В и к а. Здорово? Мам, это неуд.

А н н а. Ну вот смотри. Мне никогда двойки не ставили. Я всегда училась отлично.

В и к а. Ха, ботанша!

А н н а. И с золотой медалью школу окончила. И академию с красным дипломом. И что? Если бы я могла вернуться назад и что-нибудь в своей жизни исправить, то я попросила бы моих учителей не верить в меня. Вот так. Я бы им рот кляпом затыкала, когда они хвалили мои работы и говорили, что я их свет и надежда. И выбегала бы из мастерской, как только они начинали песню о том, как они гордятся мной. Я бы не участвовала в конкурсах и все дипломы за первые места рвала бы на кусочки. Вот что бы я исправила. И была бы сейчас счастлива. Абсолютно точно. Я жила бы одним днем, смотрела бы телевизор, ходила бы по субботам на рынок за мясом, работала за зарплату. Вышла бы замуж за какого-нибудь шахтера. Родила бы тебе братика. Ездили бы раз в год в санаторий всей семьей, и все бы у нас было здорово.

В и к а. Круто. Тогда не буду расстраиваться из-за двоек!

А н н а. Нет, двойку все-таки исправить придется.

Анна и Вика заходят во двор и видят с о с е д а, который отчаянно машет в разные стороны огромной палкой, он лупит без разбора все вокруг: кусты, качели, бьет по земле.

С о с е д. У нас большие потери! Вовчик, Серега, Толян, Виталька! Ребята! Первый не отвечает. Потеряна связь, потеряна связь! Ищите выход, ребята! *(Размахивая палкой, бежит к Анне и Вике.)* Прорубайте выход! Прикройте меня, я вижу лаз! Я вас выведу, только держитесь! Ребята, держитесь!



Анна встает как вкопанная, прячет Вику за спину. Сосед подбегает, замахивается палкой. Анна вытаскивает из кармана пачку перца и швыряет его соседу в глаза. Сосед издает нечеловеческий вопль.

В и к а. Мамочка! Мама! Что с ним? Что это, мама?

Сосед падает на землю, он кричит и держится за лицо руками. Откуда-то с верхних этажей дома раздается истеричный женский голос: «Да вы что делаете-то! Совсем озверели!» Анна стоит без движения, Вика прячется за нее. Сбегаются соседи. Сосед стонет и корчится, лежа на земле.

Соседи перешептываются.

А н н а (*Вике, шепотом*). Так, быстро домой и не выходи, пока баба не придет.

В и к а. А ты, мам? Мам!

А н н а. Я попозже приду.

В и к а убегает. Приезжает «скорая помощь».

В р а ч. Где больной?

Истеричный женский голос кричит с балкона: «Она в него что-то бросила! С ума сошла! Бедный мужик! Без глаз, поди, останется!»

В р а ч. Что вы бросили? Что вы в него бросили, женщина?

А н н а. Пе... рец...

В р а ч. Перец? Вы с перцем в кармане ходите? Во люди пошли...

В р а ч осматривает соседа. Появляются полицейские.

В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Что тут у вас?

В р а ч. Ожог сетчатки, похоже. Увозим. Вон дамочка постаралась, перца ему в глаза сыпанула.

А н н а. Я не... Он... Он бежал на меня и на мою дочь! Вон той палкой размахивал, как полоумный. Он хотел нас убить. Естественно!

П е р в ы й п о л и ц е й с к и й. Доигрался, чудик...

В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Проедемте в участок, и все там скажете.

А н н а. В какой участок? Почему я не могу здесь все рассказать?

В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Потому что вы причинили вред здоровью гражданина.

А н н а. И что? А он бы меня зашиб.

В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Ну не зашиб же...

П е р в ы й п о л и ц е й с к и й. Сто пятнадцатая или сто двенадцатая. А может, и сто одиннадцатая. Это посмотрим, что доктор скажет.

А н н а. Но я защищалась!

П е р в ы й п о л и ц е й с к и й. Мы это все запишем. Будет смягчающее.

В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Слушай, ты год уже как окончил, а все как на экзамене по билетам шпаришь.



П е р в ы й п о л и ц е й с к и й. Память хорошая.  
 В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Это хорошо, значит, косарь вернешь.  
 П е р в ы й п о л и ц е й с к и й. Конечно, как обещал, с аванса — сразу.

В р а ч поднимает соседа, уводит его в карету «скорой помощи». Сосед стонет.

С о с е д. А ребята все живы?  
 В р а ч. Все, все.  
 С о с е д. Всех вылечат?  
 В р а ч. Всех вылечат. И тебя вылечат.

С о с е д. Слава богу! Всех вывели! Успели! Вовчик, Серега, Толян, Виталька! Успели! А что в больницу — это не беда. Главное, всех вывели. Главное, что живые! Сейчас всех полечат, и все будет хорошо, и ребятишек своих вырастите. Я же говорил, вам же еще жить и жить, ребята! Еще столько угля на-гора выдадим! Успели! Успели!

С о с е д, пританцовывая, садится в «скорую». Толпа соседей возмущенно перешептывается, кивая в сторону Анны. Слышны фразы: «...больного человека!», «перец носила...», «...давно на него зуб точила!», «...в психушку же сдавала», «...не дает жить парню!».

А н н а. Давайте соседей тогда с собой возьмем, давайте возьмем! Эй, не расходитесь, подождите! Это же свидетели. Давайте возьмем!  
 В т о р о й п о л и ц е й с к и й. Девушка, вы в наручниках хотите пойти?

А н н а. Что?

П е р в ы й п о л и ц е й с к и й. Вы задержаны, гражданка. Пройдемте. Мы сами знаем, кого и когда взять.

А н н а идет к автомобилю, садится, полицейские садятся следом, уезжают.

## 21. Вторая любовь

Квартира Натальи. В е р а П е т р о в н а пьет чай и рассказывает,  
 Н а т а л ь я записывает.

В е р а П е т р о в н а. Юкку я поливаю раз в неделю, а то и реже. Лучше раз в две недели. Денежное дерево так же. Фикус можешь поливать почаще. Раз в пять дней будет хорошо.

Н а т а л ь я. Ты так надолго?

В е р а П е т р о в н а. Не знаю насколько. Вот ключи, держи. Длинный от верхнего замка, короткий — от нижнего. (*Наталья записывает.*) Пыль... Пыль можешь не вытирать.

Н а т а л ь я. Как? Ее же один раз не вытрешь — сажа будет. Ты же всегда с этой угольной пылью боролась. Мы пример с тебя брали!



В е р а П е т р о в н а. С чем боролась, на то и напоролась.

Н а т а л ь я. В смысле?

В е р а П е т р о в н а. Да, батарею еще проверь на кухне, она у меня подтекала.

Н а т а л ь я. Вера, куда ты едешь?

В е р а П е т р о в н а. Сказала же. Кашель подлечить.

Н а т а л ь я. Кашель лечат дома за неделю корнем солодки. Не ври мне, Вера.

Звонок в дверь. Наталья открывает, на пороге — С о ф и я.

Н а т а л ь я. Сонечка! А... Ани нет.

С о ф и я. А войти можно?

Н а т а л ь я. Так Ани нет.

С о ф и я. Я ей звоню, звоню, телефон выключен. Я уж думала, она совсем на меня обиделась, мы с ней так плохо расстались. *(Пауза.)* А тут такой проект ей на выданье, просто загляденье! Фронтон кукольного театра. Его вообще я должна была делать, а мне предложили другую работу, в Финляндии, ну вы понимаете, да?

Н а т а л ь я. Да.

С о ф и я. Ну вот, а кукольники мои, получается, без скульптора остаются. Кому попало я проект передать не могу, вы же понимаете. А я помню, Анька хотела эту работу. Вот я ей и думала передать фронтон из рук в руки, так сказать. А когда она будет?

Н а т а л ь я *(шепотом)*. Юрист сказал, что лишение свободы до трех лет, но сейчас все зависит от того, в каком состоянии будет этот козел.

С о ф и я. Какой козел?

Н а т а л ь я *(шепотом)*. Тссс! Сосед. Если у него зрение полностью восстановится до суда, то можно штрафом обойтись. Переделают на причинение легкого вреда. Сейчас пока средняя тяжесть. А это колония.

С о ф и я *(тихо)*. Колония?

Вера Петровна в кухне кашляет.

С о ф и я. У вас там кто-то...

Н а т а л ь я *(сдерживая слезы)*. Ну он еще говорит, мол, хорошо, что это самооборона, плюс заболевание самого потерпевшего учтут. И Анька еще Вику воспитывает одна — тоже ей в плюс. Но то, что у нее перец с собой был в кармане, — это уже умысел. Ой, Сонечка, зачем она только этот перец в карман положила...

С о ф и я. Так вы же ее сами учили. Вы же так раньше на танцы ходили.

Н а т а л ь я. Так я в карман его клала, а в глаза никому не сыпала! Вот зачем она меня слушала, а? Лучше бы она совсем меня не слушала. Пусть бы по-своему делала, тогда бы все у нее было хорошо...

С о ф и я. Она у меня оставила визитку, когда в гости приезжала. *(Протягивает Наталье визитку Володи.)* Этот парень ее до дома

подвозил. Тут написано, он юрист. Может, поможет... Вы позвоните ему.

Н а т а л ь я. Вот я всегда Аньке говорила, что такую подругу, как ты, ей бог послал. Спасибо тебе, Сонечка!

С о ф и я. Вы повлияйте на нее, пусть она все-таки мне позвонит, как все уладится. Она о такой работе мечтала. Я только ей хочу передать. Я буду ждать. Я еще месяц здесь. Пусть позвонит, ладно? *(Уходит.)*

Наталья прячет визитку в карман, возвращается к Вере Петровне.

Н а т а л ь я. Заказ Аньке крупный! Вернется из Греции, обрадую ее.  
 В е р а П е т р о в н а. Наташ, ты думаешь, мне ничего не расскажешь? Знаю я, в какой она Греции.

Пауза.

Н а т а л ь я. А она, главное, только про Вику спрашивает. Как Вика, какие оценки, с кем гуляет, что ест. Больше ничем не интересуется, только Вика, Вика, Вика.

В е р а П е т р о в н а. Так о чем ей спрашивать еще? О передачах твоих?

Н а т а л ь я *(перебивает)*. Куда едешь?

В е р а П е т р о в н а. Сказала же: кашель лечить. Вот пристала! Ладно... Рак у меня, Наташа. Бронхогенная карцинома. Романтично звучит?

Н а т а л ь я. Это... легкие?

В е р а П е т р о в н а. Легкие. Тяжелые. Послезавтра операция. А за Аньку свою не бойся. Кто чего боится, тот от того и помрет. Вот я вычищала всю жизнь эту чертову пыль из всех углов, и что? Чище не стало, да и, оказалось, с полок ее смыть легко, а из легких сложно. Ты все записала? Про батарею записала? А то забудешь, затопим еще полподъезда. Фикус, смотри, не забуди мне, я его с пеленок выращивала. Приеду — все проверю.

Н а т а л ь я. Помирать-то не собралась, я гляжу. Придется поливать.

В е р а П е т р о в н а. Не дождетесь! Мне еще батарею в кухне поменять надо...

Наталья и Вера Петровна смеются, Вера Петровна кашляет.

Н а т а л ь я. Верочка, я даже не знаю, что тебе сказать... Ты держись.

В е р а П е т р о в н а. Сама держись.

Наталья и Вера Петровна хихикают, потом начинают хохотать, хохочут до слез. Вера Петровна закашливается. Входит В и к а с букетиком цветов. Наталья вытирает слезы.

В е р а П е т р о в н а. У кого-то праздник?

В и к а *(краснея)*. Это мне Матвей Суржиков подарил.

Н а т а л ь я. Ты ему снова биологию дала списать?  
В и к а. Нет, у нас только через неделю контрольная. Мне нужна вазочка.

Н а т а л ь я. А ты ему что ответила?!

В и к а. Что я подумаю.

Вера Петровна что-то хочет сказать, но ее перебивает громкая веселая музыка, которую внезапно включает сосед. Музыка звучит на всю улицу, потому что окна у него открыты. Вера Петровна с Натальей молча обнимаются, и В е р а П е т р о в н а уходит. Наталья закрывает за ней дверь, идет в свою комнату, включает телевизор, но песня соседа все заглушает. Единственный человек, кто не слышит эту музыку, — Вика. Она занята букетом: расставляет цветы в вазе. С о с е д выходит на балкон, на его глазах повязка. Он подпевает, перекрикивая музыку. Веселая песня соседа заглушает все звуки вокруг, она заполняет весь город и, кажется, весь мир.

З а н а в е с .



Анатолий ГЛАЗОВ

## ЧАЙКИ НАД СВАЛКОЙ

*Чешские записки украинского батрака\**

\* \* \*

Может быть, около месяца на замке работала бригада чешских электриков. Стиль работы этой бригады отличался слаженностью, аккуратностью и, я бы сказал, интеллигентностью — они, например, тщательно собирали после себя мусор и относили на свалку. За других это делали украинцы.

В первые дни Петр назначал им в подсобники других заробитчан, а потом дошла очередь и до меня. Когда я проработал первый день, электрики попросили закрепить меня за ними постоянно. Петр не возражал, и наш бригадир Володя был не против. Поскольку у нас была почасовая оплата труда, электрики, понимая, что мне нужны «годины», спрашивали, не хочу ли я поработать и в выходные? Я, конечно, соглашался. Они определяли объем работы на субботу и воскресенье, оставляли необходимый инструмент и предупреждали охрану. Поскольку работать мне приходилось одному, я мог, ударно поработав в субботу, на воскресенье оставить мелочевку вроде уборки мусора, с которой быстро справлялся, и выкроить себе время на магазины и постирушку. Бригадир же отмечал мне две полноценные смены.

После того как электрики свою работу на замке закончили и уехали, меня попросил закрепить за собой другой чех — Петер, который в одиночку реконструировал винарню, находившуюся в глубине парка.

Молчаливый, могучего телосложения работяга Петер перекуров не признавал, поскольку был некурящим, праздных разговоров терпеть не мог, а потому трудился всю смену от звонка до звонка. Если ему случалось опоздать на работу на полчаса (жил он довольно далеко от замка), то заканчивал работу он ровно на полчаса позже всех. Если, работая с другим чехом, ты мог предложить ему сигарету (которая обычно с удовольствием принималась, ведь сигареты в Чехии недешевы) и спровоцировать внеплановый перекур, сопровождаемый неторопливой беседой, что давало возможность и отдохнуть, и попрактиковаться в чешском языке, и получить полезную информацию, то у Петера это не катило. Когда я, устав возить тачку с раствором, кирпичом или мусором и определив, что образовавшийся запас достаточен для бесперебойной работы Петера, объявлял, что мне нужен перекур, он молча кивал, не отрываясь от работы.

Из плюсов могу отметить, что к нам практически не заглядывало начальство, доверяя Петеру и всецело полагаясь на его профессионализм и ответствен-

---

\* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2018, № 9.

ность; кроме того, рядом был родник с хрустальной ледяной водой, питающий и ближний к нам пруд, где в жаркий день я мог наскоро искупаться, что для ребят, работающих непосредственно в замке, было весьма проблематично.

Поясню, почему я упомянул как благо редкие визиты начальства. Дело в том, что наш прораб по утрам любил пройтись по рабочим точкам с цифровым фотоаппаратом, фиксируя состояние объекта на момент начала работы. Второй обход он делал под вечер, в конце рабочего дня... Я думаю, всем все понятно: сравнивая два снимка, утренний и вечерний, прораб мог наглядно продемонстрировать нерадивому работнику законность и справедливость примененных к последнему штрафных санкций.

Мою работу с Петером прервал форс-мажор. У нашего генподрядчика Мартина кроме замка были и другие строительные объекты. И вот на одном из них — Пражском Граде (Пражском Кремле) — сложилась угрожающая ситуация и потребовалось резко увеличить скорость проведения работ, а для этого нужны были дополнительные ресурсы. Было принято решение — на замке темпы работ временно снизить, а значительную часть рабочих перебросить на Пражский Град. Из украинцев-подсобников на замке было решено оставить всего двоих. Осталась и часть чехов, в том числе и Петер. Все остальные отправились на Град.

Оказавшись на новом месте работы и немного осмотревшись, я для себя сразу установил причину кризисной ситуации, сложившейся там. Все тормозила медленная углубка подвала, которой занимались украинцы. Причина была в том, что если, например, на замке мы просто честно работали, то на Граде наши коллеги возвели свою работу в ранг искусства, то есть старательно делали вид, что работают, а сами усиленно сачковали.

Мы стали работать в паре с Толиком Н. — один кайловал и грузил грунт, другой отвозил его на поверхность и высыпал в контейнер. Время от времени менялись местами. Работали в среднем темпе.

Наш трудовой десант вскоре кардинально изменил ситуацию на Граде, а к концу недели нашему бригадиру Володе с замка позвонил бригадир Петр. Он потребовал забрать у него двух оставшихся украинцев, а вернуть ему меня и Толика, потому что, как он сказал, один (я) пашет как трактор, а другой (Толик) уже практически все понимает по-чешски.

Мы с Толиком вернулись на замок и недели две трудились вдвоем, представляя бригаду украинских рабочих-подсобников. Я не случайно выделяю этот короткий промежуток, потому что именно в это время произошли два интересных эпизода.

Однажды нам с Толиком дали задание выкопать в склепе углубление под шахту будущего лифта — это в трехэтажном-то здании! Я начал долбить первым. Профессионально «законурившись» и опустившись на некоторую глубину, я уступил место Толику. Тот быстро «зализал» все углы и дно до такой степени, что продвижение вглубь практически прекратилось. Выправлять положение опять пришлось мне. Напарник, видя положение дел, предложил углубку вести мне (естественно, не надрываясь), а он брал на себя вывоз грунта. Я не возражал. Толик, повосхищавшись моим профессионализмом и пофантазировав о том, какие деньги можно зашибать на Украине с таким талантом, вдруг вспомнил о каком-то недообследованном участке в недрах стройки на предмет наличия там цветных металлов и выскользнул из подвала. Я остался один.

И тут ко мне пожаловала высокая делегация: впереди, уверенно ступая по захлавленным ступеням, бодро шла хозяйка замка, за ней, весь в белом, с недозвольным выражением лица, брезгливо выбирая место почище, осторожно спу-

скался ее супруг, а замыкали шествие прораб и бригадир Петр, который, судя по свекольно-красному цвету лица, уже изрядно принял на грудь, но изо всех сил старался держаться со спокойным достоинством, что для него было совершенно нехарактерно. Вероятно, это была экскурсия для хозяина замка. Главным экскурсоводом была «пани-фрау», увлеченно рассказывающая мужу о проводимых на стройке работах. С супругом она говорила на немецком, к сопровождающим их чехам обращалась по-чешски. Они остановились возле моей ямы. Поздоровавшись со мной, хозяйка участливо спросила по-чешски:

— Тяжелый грунт?

— Совсем нет для профессионала, — ответил я по-немецки.

Хозяин немного удивленно посмотрел на меня.

— Кто это? — негромко спросил он жену.

Та, слегка смутившись, перевела вопрос:

— Кто этот работник, Петр?

Петр сделал шаг вперед:

— Это Рэмбо.

— Рэмбо? — было видно, что хозяин ничего не понимает.

— Йес, ано, — подтвердил бригадир по-английски и по-чешски. Затем он поднял руки, согнул в локтях и напряг мышцы. — Супер! Бомба! — убедительно добавил бравый чех.

Так как я работал в куртке и каске, то немцу оставалось только догадываться, какой супермен скрывается под одеждой. Тогда он спросил:

— Где вы учили немецкий язык?

— Сначала в школе, потом — в высшем военно-морском политическом училище и на юридическом факультете университета.

— А что вы делаете здесь?

— Работаю.

— Но почему здесь?

Вопрос интересный, но не очень понятный. Здесь — это где? В Чехии или в этой яме? Не буду же я объяснять любопытному иностранцу, что из России меня выдворили, американцы, побеседовав со мной полминуты и посмотрев мои документы, сразу безоговорочно отказали во въездной визе. Спасибо чехам — не побрезговали и поверили столь нежелательной везде персоне. Поэтому я ответил уклончиво:

— Где поставили, там и работаю.

— Вы — русский? — догадался хозяин замка.

— Да.

— Ха! Ха-ха-ха! — замахал руками догадливый банкир. — Я всегда говорил, что Россия — страна ненормальных людей!

...Вообще-то он употребил слово «Dummkopfen». Ну что ж, может быть, со стороны виднее... Но тогда уж и немцев тоже нельзя отнести к мудрой нации: сколько раз они совались к нам как незваные гости и были биты. Зато мы Берлин брали... Размахивая руками и бормоча что-то себе под нос, немец развернулся и направился к выходу из подвала.

— Wiedersehen, — улыбнулась мне пани-фрау.

— Na shledanou, — ответил я.

Уходивший последним Петр победно потряс кулаком.

Такова была реакция немца на русского разнорабочего на стройке. А вот какотреагировал на это чех, я расскажу чуть позже. Но прежде — еще об одном случае, связанном с тем же подвальным помещением.

Буквально на следующий день после визита высоких гостей у нас в подвале появились два чеха, вооруженные пистолетами со специальными металлическими метелками, и принялись с помощью этих диковинных для нас инструментов чистить сложенные из дикого камня своды склепа. Трещали эти пистолеты так, что работать можно было только в противошумных наушниках.

Во время перекура выяснилось, что эти ребята приехали из того самого городка, где мой напарник в свое время отработал восемь месяцев. Возбужденно, с непонятным для меня восторгом, Толик принялся устанавливать круг общих знакомых, вспоминать футбольные матчи местного значения и другие совершенно неинтересные для меня обстоятельства. Перекур затягивался. И тогда я решил подать голос:

— Толик, а спроси-ка у них, за какие такие грехи их так жестоко наказал Господь? Неужели за инквизицию?

— О чем это ты? — не понял Толик.

— Да все о том же: почему у них так мало красивых особей женского пола? И это при том, что симпатичных мужчин у них не меньше, чем у нас.

Толик с готовностью перевел мой вопрос. Чехи тут же схватились за свои пистолеты и принялись с треском чистить замковые камни. Но я не собирался сдаваться.

— Скажи им, что я просто так не отстану, — прокричал я Толику в ухо. — Я хочу знать правду или, по крайней мере, их версию случившегося.

В общем, вдвоем мы вынудили чехов капитулировать и все-таки прокомментировать этот печальный в чешской истории факт.

Как честные люди, парни не стали спорить с тем, что данный факт имеет место быть. Но! Все не так однозначно. Не повезло, оказывается, не всем чехам, а в первую очередь пражанам. А вот в Брно, например, красивых женщин уже значительно больше. А в Градце-Кралове — еще больше... Я, надо сказать, с большим сомнением слушал их объяснения. Мне они казались неубедительными. Хотя мои дальнейшие наблюдения показали частичную справедливость версии камнетесов.

А теперь — о том, как простой рабочий чех отреагировал на то обстоятельство, что я оказался не украинцем, а русским.

Однажды я отбивал штукатурку по отмеченному контуру, освобождая место под будущую плитку в одном из помещений первого этажа. В соседней комнате чех зэдник (каменщик) выполнял свою работу. Чех был молодой и здоровый с иссиня-черными волнистыми волосами до плеч. Он работал без подсобника и вынужден был сам возить себе раствор, причем через мою комнату, в которой пол был подготовлен к бетонированию и по всей площади выложен трубами для подогрева, то есть возить тачку по этому полу было нельзя. Чех на улице наполнял тачку раствором, подвозил к дверям моей комнаты и звал меня:

— Тонда! Потшибую помоц.

Я бросал свою работу и выходил к нему. Мы брали тачку с раствором на руки, поднимались на несколько крутых ступеней и, осторожно ступая между трубами, проносили тачку в соседнюю комнату. Раствора требовалось довольно много, и, соответственно, отвлекаться мне приходилось довольно часто.

В какой-то момент чех пригласил меня покурить на улицу. Вышли, закурили. Стали общаться.

— То е замэк? — спросил я, указывая рукой на замок.

— Ано, замэк, — согласно кивнул головой здоровяк.

— А то таки е замэк? — я ткнул пальцем во врезной замок мощной двери.



— Ано, — опять подтвердил чех.

— А по-русски то буде замок, — я указал на здание, — а то — замок. Розумиешь?

— Разумим, — и уточнил: — По-русски или по-украински?

— По-русски. Як то буде по-украински, я не вим (не знаю). Сэм е рус (я русский). Розумиешь?

— Ты рус?

— Ано, рус.

— Не украинец?

— Не украинец.

— Цо делаеш на ставбе? (Что делаешь на стройке?)

С трудом подбирая чешские слова, дублируя их украинскими и немецкими, объяснил ему, что хотя я и русский, но гражданство у меня на данный момент украинское, поэтому и приходится работать на стройке. Чех понимающе кивает головой, потом спрашивает (пишу по-русски):

— Первый раз в Праге?

— Нет. В первый раз я был здесь в 1978 году.

— В 1978-м или в 1968-м? — намекает на Пражское восстание, когда советские танки были на улицах чешской столицы.

— В семьдесят восьмом, — подтверждаю я и уточняю: — В шестьдесят восьмом я еще ходил в школу. Да и вообще, я — военный моряк, а моря у вас нет. Так что не мог я быть в Праге в шестьдесят восьмом ни на броню, ни под броней.

Не знаю, много ли он понял из моего «чешского», но головой в знак согласия кивал. Идем работать дальше. Через какое-то время слышу громкое кряхтение и возню за дверью. Выглядываю: чех пытается самостоятельно поднять тачку с раствором на ступеньки. Я быстро подхватываю ношу с другой стороны и спрашиваю:

— Почему не зовешь на помощь?

Чех молчит. Переносим груз через мою комнату и расходимся по своим рабочим местам. И до конца смены мой сосед уже не пытается надрываться в одиночку, а опять зовет меня.

Я сделал соответствующие выводы и в дальнейшем, когда меня начинали сильно прессовать, я взрывался:

— Сбавь газу, рыба! — говорил я по-русски, а потом добавлял на чешском: — Я — русский моряк! Не украинец! А как ты думаешь, почему Россия такая большая, а твоя страна такая маленькая?

Всегда срабатывало. Окружающим становился известен мой статус, а то, что к русским морякам нужно относиться с уважением, все понимали и так.

Украинцам уважительного к себе отношения приходилось добиваться другими способами. Чаще всего — ударным трудом. Вот характерный пример.

Необходимо было поднять с улицы три или четыре четырехсоткилограммовых швеллера через окно на второй этаж, а затем, стоя на шатких лесах (лежах), строго горизонтально уложить их под будущее перекрытие между вторым и третьим этажами. На улице стоял экскаватор, который мог бы помочь нам хотя бы поднять швеллера на второй этаж, но на тот момент отсутствовал машинист экскаватора. Мы не стали никого ждать и вшестером с помощью веревок, досок и известной матери сделали работу еще до возвращения машиниста. Когда подъехали Мартин с машинистом, швеллеры уже лежали в назначенных им местах, а мы занимались другими делами. Мартин, увидев эту картину, глубокомысленно произнес:

— Да, теперь я понимаю, почему эти люди Гитлера победили.

Однако не все украинцы собирались поражать воображение чехов самоотверженным трудом. О «стахановцах» с Пражского Града я уже писал. Был такой работник и в нашей бригаде на замке.

Звали его, кажется, Васей. В Чехию он приехал из Крыма и был на полтора года старше меня. Последнее обстоятельство я запомнил по двум причинам: во-первых, это был единственный случай в моей чешской эпопее, когда я был занят одной работой с человеком старше меня по возрасту, а во-вторых, именно полтора года назад, как раз в моем возрасте, ему, по его словам, вырезали паховую грыжу, чем он и объяснял низкую производительность своей работы. Если верить Васе, то оперировал его профессор в Симферопольской клинике им. Семашко, который, удалив грыжу, запретил ему физические нагрузки в течение шести месяцев, чему тот послушно и следовал. Однако и по истечении полутора лет Вася продолжал беречь себя, что для разнорабочего на стройке было непорочно, потому что иногда возникали ситуации, когда приходилось буквально рвать жилы, и любой сачкующий сразу был замечен. Молодые ребята, не стесняясь в выражениях, откровенно говорили Васе все, что о нем думают. Бригадир Володя пытался защитить последнего: «Доживите до его вику...» и т. д., но у молодежи находились веские контраргументы, от которых и без того маленький Вася жалко съеживался до еще меньших размеров...

Ко мне эта тема тоже имела самое непосредственное отношение. Дело в том, что еще в России я тоже заработал грыжу и привез ее с собой в Чехию. Оказавшись на стройке и выполняя в том числе и тяжелую работу, я имел основание опасаться за свое здоровье. Решив, что с такой болячкой работа разнорабочим на стройке явно не отвечает моим планам, я не спеша, без горячки, но упорно и настойчиво занимался поиском альтернативных вариантов. О том, как не состоялся мой переход на завод РТИ, я уже писал. Какое-то время спустя меня отозвал в сторону Толик Н.:

— Такие дела, брат: Мише, моему бывшему клиенту, нужны два надежных работника на центральный склад продовольственных товаров сети магазинов Penny Market. Присоединяйся, не пожалеешь: на складе и полегче, и почище, почасовой тариф выше — где-то 50—55 корун в час, зарплата подскочит раза в полтора-два, и Миша ее никогда не задерживает.

Это был сильный аргумент, потому что, кроме Миши, из всех клиентов, которых я знал по Чехии, такого не делал никто. Все выдавали зарплату после 20-го числа: если какой-либо работник надумает сбежать, то останется хотя бы трехнедельная зарплата беглеца. И многих «батраков» это обстоятельство удерживало у своих «хозяев».

— А если тебе понадобится съездить домой, — продолжал Толик, уже не загибая пальцы, — всегда пожалуйста, в любое время и на любой срок с полным расчетом.

Я грешным делом подумал, что для Толика не последнюю роль сыграло то обстоятельство, что работа на складе предполагала возможность кое-чем поживиться, но промолчал.

В общем, предложение показалось мне заманчивым. Миша должен был подъехать к началу обеденного перерыва уже сегодня, так что времени на размышления у меня не было, и я согласился на встречу с новым клиентом, чтобы более конкретно обсудить условия нашего сотрудничества, а также взглянуть на будущее жилье и место работы.

Миша подъехал на дорогой машине ровно в назначенное время. Мне это понравилось. Мы с Толиком забрались на заднее сидение и поехали первым делом посмотреть нашу будущую квартиру, а вернее — комнату, которая находилась приблизительно в километре от замка и на полпути от склада.

Толику жилье очень понравилось, мне — нет, потому что в одной комнате располагалось все, кроме туалета: и душ, и газовая плита, и обеденный стол, и кровати. К тому же платить за жилье должен был не клиент (как, например, у Андрея), а мы из своей зарплаты.

Беглый осмотр места будущей работы мало что дал. Миша предлагал нам оседлать возики (автопогрузчики), но мы с Толиком, посмотрев, с какой скоростью носятся по складу эти шустренькие машинки, груженные в том числе и пирамидами с дорогим французским коньяком, благоразумно отказались. И напрасно Миша убеждал нас не бояться, говорил, что весь товар застрахован и в случае небольшой аварии нам ничего не грозит, мы упорно стояли на том, что нам больше подходит работа попроще и не такая ответственная, пусть даже и потяжелее.

Миша, конечно, был клиентом более крупного калибра, нежели Андрей. Если на последнего работало тридцать-сорок человек, то у Миши количество работников было на порядок больше. Но когда я спросил, сможет ли Миша подействовать мне в получении у Андрея моей полуторамесячной зарплаты, если я перейду к нему работать, тот не пожелал ввязываться:

— Да зачем тебе эти копейки? Ты отобьешь их у меня за два месяца.

Может, это и «копейки», но не для меня. Может, я их и отобью на новом месте за два месяца, но мне, однако, не хотелось просто взять и подарить Андрею деньги, ради которых я полтора месяца вкалывал на стройке.

И все же главным фактором, повлиявшим на мой выбор, была, увы, моя грыжа. Она уже достигла размеров куриного яйца, и я засобирился домой на операцию. Показав болячку Андрею, я попросил дать полный расчет и отпустить на Украину на пару месяцев. Виза у меня была открыта еще на четыре месяца, этого было вполне достаточно, чтобы прооперироваться, восстановиться после операции, вернуться в Чехию и подать документы на продление визы. Андрей согласился со мной, пообещал выплатить все деньги, а по возвращении в Прагу продлить мне визу за счет фирмы и в дальнейшем платить мне пятьдесят корун в час.

Я, однако, не был настроен возвращаться к Андрею, и единственное, чего хотел от него, — это получить полный расчет. Переход к Мише тоже не мог состояться, поскольку ему был нужен работник прямо сейчас, а не через два месяца. Да и как пройдет операция, какие ограничения установит мне доктор — я не знал и делиться своими проблемами с новым работодателем посчитал излишним: вдруг у него уже были работники вроде крымского Васи... Поэтому я просто отказался без объяснения причин, чем сильно обидел Толика Н. Миша отнесся к этому внешне спокойно.

В конце концов мои поиски привели меня в частное юридическое агентство в старинном чешском городке Кутна-Гора, расположенном недалеко от Праги. Агентство это хотя и состояло, как я понял, из одного человека, но предоставляло довольно широкий спектр услуг. Переговорив с хозяином этой конторы, мы сошлись на том, что через два месяца я возвращаюсь из Украины, куда вынужденно отлучаюсь по семейным обстоятельствам, а пан Ярослав обеспечивает мне визовую поддержку и трудоустройство на вагоностроительный завод сварщиком, где я, пройдя месячный курс обучения, приступаю к самостоятельной работе на станках-полуавтоматах и при условии добросовестной работы буду иметь вполне европейскую зарплату. Вот теперь можно было ехать домой.



Но если бы я, описывая этот первый этап моего пребывания в Чехии, ничего не сказал о культурно-досуговой стороне своей жизни, то мой рассказ был бы похож на Карлов мост без его знаменитых скульптурных композиций. В то же время, прекрасно понимая, что вмешательство неспециалиста в такие тонкие области, как культура и искусство, редко бывает удачным или хотя бы оправданным, я постараюсь максимально осторожно и аккуратно касаться тех вопросов, в которых не чувствую себя достаточно уверенно.

В целом у чехов несколько отличное от нашего отношение к жизни, вызванное своеобразием их истории и особенностями географического положения. То, что они не являются рабами вещей, в частности одежды, это еще мягко сказано. Кого сейчас удивит появлением на улице в рваных джинсах и футболке? Но если директор твоего предприятия вылезает из белого «мерседеса» в старом, растянутом и облезлом свитере, поверх которого красуется тоже старый поясной кошелек, бывший в свое время в моде у базарных торговков на Украине, то как-то поневоле перестаешь уважать и свое родное предприятие. А когда видишь, как рыбак, выловивший в пруду карпа, тщательно замеряет его длину и, если тот не дорос пару сантиметров до установленных размеров, отпускает его в воду — погуляй еще, подрасти, рано тебе на сковородку, — это умиляет. Но когда с открытием осеннего охотничьего сезона несколько десятков вооруженных мужиков с собаками, растянувшись цепью, движутся к маленькому лесочку, по которому мечется пара обезумевших от страха зайцев, — меня охватывает ярость. Я могу понять охотников-промысловиков: охотой они зарабатывают себе на жизнь... Но эти убивают ради удовольствия.

...Знакомству с культурой, бытом и историей чехов я старался отдавать все свое свободное время. Благо рабочие смены на замке были не столь продолжительны и изнурительны, как в других местах, а длинные летние дни давали возможность вечерами и в выходные беззаботно колесить по Праге в общественном транспорте и гулять пешком, напиваясь новыми впечатлениями. Какого-либо плана знакомства с Прагой я себе не составлял и сначала путешествовал по настроению, как бог на душу положит, если, конечно, не узнавал из газет или афиш, что, например, известный автор и исполнитель А. Городницкий дает в эти дни бесплатный концерт в торгово-культурном центре «Арбат». Тогда я отменял все другие мероприятия ради такого праздника.

На стройке кто-то сказал мне: «Если хочешь попасть в Россию, поезжай в центр, там на каждом шагу звучит русская речь. Если хочешь попасть на Украину, поезжай на Колбеновский базар, там полно украинцев». И действительно, первые недели моего пребывания в чешской столице я отдал знакомству именно с центром города и его самыми известными рынками, особенно Колбеновским, рассудив, что, не изучив самые популярные места паломничества наших земляков, было бы неправильно заниматься исследованием городских окраин.

Прага не случайно притягивает к себе туристов: обилие любовно сохраняемых достопримечательностей и гостеприимный доброжелательный народ создают неповторимо комфортный климат, которого так не хватает большинству современных мегаполисов. Здесь никуда не хочется спешить...

В отличие от других европейских столиц (таких, например, как Москва или Париж), Прага никогда не подвергалась коренной перестройке, а с веками только расширялась. Раскинувшись на пяти холмах, разделенных Влтавой и соединенных одиннадцатью мостами, лишенный как небоскребов, так и дымящихся промышлен-



ных гигантов, город выглядит уютным, располагающим к размеренной жизни, занятиям наукой, искусством. Шествуя по старой Праге, можно представить, например, что ты идешь дорогой, по которой шел на проповедь в Вифлеемскую часовню магистр Ян Гус, и вдруг наткнуться на ресторан, который называется «У Пушкина»... Ну как тут не растеряться впечатлительному человеку?

Да, иногда случаются и казусы, не без этого. Стоишь, к примеру, разинув рот, перед памятником наместнику Чехии и Моравии, затем чешскому королю Карлу I, ставшему под именем Карла IV императором Священной Римской империи, и внимательно слушаешь экскурсовода. Карл изображен в виде могучего воина с гордой осанкой, а ты слышишь слова экскурсовода о том, что, вообще-то, этот наместник, король и император был... горбуном и, соответственно, при жизни выглядел несколько иначе...

Конечно, туристы по-разному воспринимают подобные метаморфозы... Что до меня, то, следуя совету Конфуция относиться ко всему снисходительно, я считаю вполне допустимыми подобные, скажем так, неточности. Ну хочется чехам видеть своего самого популярного короля именно таким — да на здоровье! В конце концов, это же их король, а не чей-нибудь! А иностранцы пусть думают что хотят... Хотя, с другой стороны, стоя теперь перед памятником другому национальному герою чехов, уже с сомнением смотришь на мужественный и аскетический образ Яна Гуса...

Чтобы знакомство со старой Прагой было максимально продуктивным, я, приехав в центр, присоединился к какой-нибудь русскоязычной группе туристов — экскурсовод рассказывал о Праге, туристы делились со мной свежими новостями из России, а я с ними — кое-какими полезными советами, касающимися пребывания в Чехии. Расставались мы вполне довольные друг другом.

Поглядывая со стороны на помпезные монументальные здания Национального музея и музея Праги, я сознательно откладывал их посещение, заранее предвкушая праздник, который ждет меня при знакомстве с безусловно уникальными экспонатами этих сокровищниц. Праздника, однако, не получилось.

Не могу сказать, что я был глубоко разочарован, но все же ожидал большего. Поэтому на вопрос коллег по замку о впечатлениях, я честно ответил, что видел музеи и побогаче. «Лучше бы ты пропил эти деньги», — задумчиво подытожил Рома. Я возразил в том смысле, что есть места, которые нужно посетить, чтобы убедиться, что их не стоило посещать.

Понятно, что музеи пыток, игрушек, коммунизма и пр. автоматически попадали в число необязательных для посещения.

Чтобы закрыть тему музеев, отмечу, что Прага считается также и музыкальным городом, о чем свидетельствует, в частности, Чешский музей музыки, расположенный в бывшем костеле св. Магдалины, и музеи В. А. Моцарта, А. Дворжака и Б. Сметаны. Свое же отношение к музыке я лучше выражу словами более авторитетных, чем я, людей. Так английский писатель А. Берджесс честно заявляет: «Музыка ничего не говорит разуму: это идеально структурированная бессмыслица». Еще более радикален Л. Н. Толстой: «Музыка приглушает ум. Лучше всех это понимают католики...» Надо ли говорить, что и музыкальные музеи меня не дождалась?

Что касается многочисленных пражских галерей, то, опасаясь, что после московской Третьяковки и Дрезденского Цвингера они вряд ли приведут меня в восторг, я решил воздержаться от их посещения.

Поскольку в искусстве лучше разбираются ценители, а не оценщики, я опять сошлюсь на авторитетных профессионалов, среди которых тоже нет единого

мнения на счет этого тонкого предмета. Лучше всех высказался французский драматург Жан Кокто: «Я знаю, что искусство совершенно необходимо, только не знаю зачем». Лично я, сопоставив множество разных точек зрения, для себя решил, что во взглядах на искусство солидарны все трезвомыслящие и психически здоровые представители всех времен и народов: от Цицерона, заявившего, что «ни один здравомыслящий человек не будет танцевать», до современных «звезд», таких как А. Ширвиндт, Л. Филатов и М. Боярский, честно признавших, что актер — это не профессия для мужчины. Сын В. Золотухина, вознамерившийся было стать режиссером, вовремя одумался и пошел в священники. Я не призываю всех современных режиссеров-новаторов последовать его примеру, я призываю их уразуметь, что искусство — это искусственно созданное грешным и ограниченным человеком, а природное — это от Бога. Я не призываю также и простых граждан заменить песни молитвами, чтобы по поводу и без повода досаждают Господу своими воплями, я призываю людей хотя бы определиться со своими кумирами и не называть «божественными» артистов с полным отсутствием морально-нравственных ограничителей...

Прошу понять меня правильно: я сам отнюдь не аскет и не монах, отказавшийся от земных радостей и проводящий время в посте и молитвах. Я люблю посмотреть хороший фильм или спектакль, посетить интересную выставку или послушать душевную песню. И если все это выполнено профессионально, ответственно и честно, то я совершенно искренне благодарю авторов и исполнителей за доставленное удовольствие. Не имея мозгов Вольтера, обвинявшего в плохом вкусе даже Шекспира и Рафаэля, я тем не менее, наблюдая, как наше общество захлестывает волна стяжательства и накопительства, все же в состоянии понять немецкого философа О. Шпенглера, говорившего еще в начале XX в., что христианство умерло, перейдя в искусство. Силу влияния искусства на формирование как отдельного человека, так и всего общества никто отрицать не будет. Но чем больше сила влияния, тем больше и ответственность. Сегодня нет необходимости спрашивать: «С кем вы, мастера искусства?» Все и так видят — с теми, кто больше платит. Бал правит религия потребления.

\* \* \*

Теперь давайте от артистов перейдем к торговцам. Колбенковский рынок — это пара гектаров особой территории, несколько необычной для центра цивилизованной Европы начала XXI в. Украинскому читателю будет легко его представить: подобные блошинные рынки на территории Украины в 1990-х возникали как прыщи на невымытом теле, но к периоду, известному как «оранжевое лихолетье», они или исчезли совсем, или более-менее окультурились.

Торговля здесь шла с земли, с газет на земле, с ящиков, со столиков, из железных контейнеров и маленьких магазинчиков. Ассортимент товаров — на любой вкус: от ржавых гитлеровских касок и поношенной одежды до предметов антиквариата и высокотехнологичной японской продукции китайского производства. Разброс цен мог впечатлить любого. Из-под полы лично я покупал только сравнительно дешевые контрабандные украинские сигареты. На территории рынка можно было выпить пива и перекусить. Станция метро «Колбеново» — в ста метрах от рынка, через дорогу. В общем, так полюбившийся представителям украинской диаспоры рынок имел массу неоспоримых достоинств.

Не спеша, передвигаясь от одной торговой точки до другой и вступая в разговоры с продавцами, я выявлял наиболее контактных, коммуникабельных и



полезных. Группки то здесь, то там стоящих и неласково поглядывающих по сторонам украинцев я обходил. А вот с занятыми торговлей украинками охотно заговаривал. Обычно это были люди уже достаточно пожившие в Чехии и имевшие свой собственный взгляд на все происходящее вокруг.

— Да, чехи охотно женятся на украинках, — делилась со мной одна из них. — А куда им деваться? Страна у них маленькая, они тут за много веков все между собой пере... роднились, и от этого у них начались проблемы со здоровьем. Ты знаешь, какой у них высокий уровень детской олигофрении? А знаешь, сколько взрослых стоит на учете у психиатра? Им нужна свежая кровь! Вот они и берут себе жен-служанок с Украины. А что? Мы и красивее этих чешек или немок, и здоровее, и более работящие, и много не требуем. Вон, моя подруга-дура выскочила за чеха. Сначала такая гордая ходила, на меня свысока поглядывала... «Ах, мой Милан! Ах, мой Милан!» А потом что-то загрузила, помрачнела. Я — к ней: «Что случилось?» А она в слезы: «Ну какая же я дура!..» И давай мне рассказывать, что этот Милан у психиатра лечится, что ему его собака дороже жены и дочки и много чего еще в том же духе... Ну уж нет! Я вот женщина свободная, но за чеха не пойду. Только за своего... или за русского.

В целом же Колбеновский рынок хоть и не стал моим любимым местом в Праге, но регулярные походы сюда не вызывали у меня никаких отрицательных эмоций, а скорее — наоборот. Я знал, что здесь я смогу максимально загрузить свою сумку, минимально разгрузив свой кошелек. А глядя на живописные развалы разного барахла, имея возможность потрогать все это своими руками и даже что-то купить, я чувствовал себя не менее довольным, чем от посещения какого-нибудь музея.

И в заключение — о своих общих впечатлениях, наиболее врезавшихся в память.

Не претендуя на звание супердержавы в военно-политическом отношении, Чехия вполне заслуженно может считаться одним из мировых лидеров пивоварения. Особый сорт хмеля, растущий в Чехии, а также качество воды позволяют производить такие всемирно известные сорта пива, как Pilsner Urquell, Gambinus, Prazdroj, Budvar, Staropramen и др. Не являясь экспертом в этой области в силу полного отказа от употребления напитков крепче кефира, пишу об этом, полагаясь на авторитетное мнение своих товарищей, отдавших изучению данной проблемы много сил, денег и времени. В чем я не мог согласиться с вышеуказанными специалистами, так это в том, что большой живот (по-чешски «пивной мозоль») — не такая уж дорогая плата за удовольствие, связанное с неумеренным потреблением пива. Многие вообще считали, что такое пузо ничуть не уродует мужчину, а только придает ему солидности, и единственное неудобство от этого — постоянно сползающие ниже условной талии трусы и брюки. Но когда у человека «зеркальная болезнь», а вместо талии — экватор, то ему хочешь не хочешь, а приходится придумывать оправдательные причины.

Свою любовь к пиву чехи реализуют в основном в господах (пивных ресторанах), однако — при обилии питейных заведений — пьяные на улицах — явление редкое, поскольку здесь иная, отличная от нашей, культура потребления. И хотя чехи признают, что по сравнению с социалистическим периодом у них происходит рост алкоголизма, а также наркомании и преступности, они считают, что обретенные ими свободы стоят того.

Чешская кухня, на мой взгляд, ничем особенным от нашей не отличается. Патриотично настроенные украинцы в этом вопросе со мной были не согласны.

Вообще, по моим наблюдениям, настоящие украинцы бывают двух видов: одни только думают, что их кухня самая лучшая в мире, а другие знают это точно. И когда я начинал им объяснять, что борщ — не украинское изобретение, на меня сразу начинали смотреть как на врага нации. На мой вопрос, почему же при таком обилии китайских ресторанов и даже при наличии ресторанов с французской и индийской кухней я не встретил в Праге ни одного украинского, ответа не было.

То, что чехи любят спорт, я думаю, знают все. Если такая маленькая, далеко не северная страна имеет такую сильную национальную сборную по хоккею и олимпийских чемпионов по лыжным гонкам, то уже только это говорит о многом. А что касается летних видов спорта, то по количеству, например, велосипедистов на душу населения Чехия, вероятно, уступит только Китаю. Я, во всяком случае, нигде раньше не видел такого количества легковых машин с закрепленными на крыше великами. Многие из моих знакомых украинских заробитчан также активно пользовались этим транспортом. Правда, не из любви к велоспорту, а в целях экономии денег и времени.

О чешском телевидении скажу только, что если бы не американские фильмы, то я бы, вероятно, смотрел только выпуски новостей, да и то больше для того, чтобы быстрее освоить чешский язык.

\* \* \*

Готовясь к отъезду на Украину, я загодя стал выяснять у заробитчан со стажем, что бы я мог здесь купить на память о Чехии, чтобы удивить своих родных и близких. На мой вопрос, что же в Чехии есть такое, чего нет на Украине, или хотя бы есть, но намного дороже, ответ у всех был один: «Да ничего». Решил ограничиться традиционным набором: «Бехеровка», несколько бутылок чешского пива и к ним пивной бокал с крышечкой, а также несколько сувениров типа настенных тарелочек с видами Праги.

Андрей отговорил меня ехать домой через Киев и убедил, что маршрут через Львов будет для меня намного удобнее и дешевле, так как до Львова меня почти бесплатно (ну, по-братски оплатим заправку) доставит на своей машине его брат Иван, который как раз тоже собирается домой. Да и назад в Чехию мне тоже будет лучше возвращаться тем же путем.

Вместе с нами третьим в машине должен был ехать один парень, сравнительно недавно прибывший в Чехию и тоже работавший у Андрея. Правда, я-то знал, что ни на какую Украину он не собирается, а хочет просто свалить от Андрея, но прежде получить полный расчет. Его новая работа, куда он собирался переметнуться, была связана то ли с лесом, то ли с садом, сейчас уж точно и не вспомню, а что он врал Андрею, убеждая того в срочной необходимости своей поездки домой, я, по-моему, вообще не знал. На мой вопрос, когда и как он собирается покинуть машину, парень ответил, что будет смотреть по обстановке.

...В назначенное время к общежитию на двух машинах подъехали Андрей и Иван. Мы погрузили свой багаж и заняли места — только тогда Андрей вручил нам наши деньги. Мы тронулись.

— Иван, будь другом, заверни к арабам, — сразу попросил парень. — Не поедем же мы на Украину с кронами.

Заехали к арабам, о которых было известно, что у них самый выгодный курс, обменяли кроны на доллары. Едем дальше. Вдруг Иван подруливает к бензозаправке. На противоположной стороне улицы — вход в метро, рядом, немного сзади от нас, — подземный переход.





— Иван, будь другом, открой багажник, — опять просит парень. — Я куртку в сумке возьму. Легко оделся, боюсь, продует.

Иван отпирает багажник и идет оплачивать заправку. Парень выбирается из машины, по ходу положив руку мне на плечо и слегка пожав его. Я легко киваю головой. Через боковое зеркало заднего вида мне видно, как парень, вытащив свою сумку, захлопывает багажник и со всех ног бросается к подземному переходу. Когда возле машины появляется Иван, его уже и след простыл.

— А где этот? — вопрос ко мне.

— Да только что здесь был, — я оборачиваюсь назад.

Иван бросается к багажнику, я выскакиваю из машины. Наши вещи на месте, сумки парня нет.

— Вот гад! — Иван выхватывает мобильник и докладывает Андрею о ЧП. Мне хорошо слышен рев нашего клиента. Иван некоторое время слушает ругань своего брата, потом машет рукой и отключает телефон.

Дальше едем без происшествий. По дороге часто, особенно в Польше, попадаются католические костелы, и каждый раз, проезжая мимо них, Иван крестится. Я искоса наблюдаю за ним, потом не выдерживаю:

— Почему «перевернутым крестом» крестишься? Глядя на тебя, сатана радуется.

— Не понял.

— Руку нужно опускать ниже, до пупка, тогда крестное знамение будет правильным. — Я показываю на себе

Иван пожимает плечами:

— У нас все так крестятся.

Уже подъезжая ко Львову, мой водитель неожиданно признается:

— Я, вообще-то, во Львове не очень хорошо ориентируюсь. Знаю, что железнодорожный вокзал недалеко от центра, но к нему подъезд такой путаный, что я никак не запомню...

— Да нет проблем. Высади меня на ближайшей стоянке такси.

...Таксист подвез меня прямо к кучке носильщиков, расположившихся вокруг фонарного столба рядом с центральным входом, и, пожав на прощание руку, отъехал. Ко мне тут же подкатил со своей коляской один из носильщиков:

— Куда?

Поскольку единственный в этот день поезд на Донецк уже ушел, я ответил:

— В камеру хранения.

В кассовом зале, проигнорировав довольно внушительные очереди, я сразу направился к окошку, от которого как раз отходил одинокий дедок. Это оказалась касса для инвалидов Великой Отечественной войны.

— А инвалидов труда обслуживаете?

Миловидная женщина в окошке молча утвердительно кивнула.

Я протянул ей свое пенсионное удостоверение.

— А почему от вас так мало поездов на Донецк?

— Потому что мало пассажиров на этом направлении, — пояснила мне кассир и, немного подумав, с легким сожалением добавила: — Не любят у нас ваших.

— Ну, в этом у нас с вами полная взаимность: а у нас — ваших, — с готовностью подхватил я.

Женщина грустно улыbnулась, а я продолжал:

— Мне, вообще-то, в Енакиево надо. Когда будет ближайший поезд в нашем направлении?

— Можете взять билет до Дебальцево на луганский поезд. Отправление в час ночи.

Купив билет, вышел покурить на привокзальную площадь. Едва я остановился возле урны, как ко мне сразу подошел «мой» носильщик:

— Проблемы с билетами?

— Нет, спасибо. Билет купил.

— Так быстро? Там ведь вроде очереди.

— А я не стал стоять, где очереди, и купил там, где их нет.

— Да вы, я вижу, парень не простой: таксист с вами за ручку прощается, билеты без очереди покупаете...

— Правильных пацанов везде уважают, — скромно сказал я.

— Хотелось бы верить. А на какой поезд билет?

— На луганский.

— Тогда хочу вас предупредить... ну, чисто как правильного пацана... Чтобы не платить двойную цену в камере хранения, багаж нужно забрать до двенадцати ночи. Я передам своему сменщику, чтобы ждал вас без десяти полночь у камеры хранения. Он же сразу посадит вас в вагон. Ждать не придется. А зовут его... — тут носильщик назвал какое-то роскошное древнее имя типа Ратибор или что-то в этом роде.

В газетном киоске русскоязычной прессы оказалось значительно больше, чем державномовной, что для такого города, как Львов, выглядело явно непатриотично. Этому обстоятельству я находил два объяснения: либо львовяне косили под англичан и хотели показать, что они «прежде всего джентльмены, а уже потом — патриоты», либо здесь действовал банальный рыночный закон: спрос рождает предложение.

Удивила меня и львовская транспортная милиция: весь вечер добросовестно гоняла бомжей с вокзала, а меня даже не побеспокоила. Нюх потеряла, что ли? С бомжей-то что возьмешь? А у меня и доллары, и кроны, и гривны.

Если львовский вокзал с поправкой на время и с привязкой к месту в целом производил довольно неплохое впечатление, то сам переезд по украинской зализнице нулевых лет меня лично изрядно измотал. Болтаться больше суток в раздолбанном, грязном вагоне, созерцая безрадостный пейзаж за окном и отбиваясь от бесчисленных торговцев, нескончаемой вереницей шествующих по всему поезду, никак не назовешь приятным занятием.

\* \* \*

Дома я прооперировался у главного городского хирурга Касьяненко, который не только удалил грыжу, но и поставил защитную сетку, а на вопрос, смогу ли я через два месяца работать сварщиком, — заверил, что через два месяца я смогу выступать на соревнованиях по тяжелой атлетике.

Выписавшись из больницы через положенное время и проходя домашний курс восстановления, я периодически созванивался с паном Ярославом из Кутна-Горы. Там все как будто обстояло нормально: завод готов был принять меня, полностью экипировать и предоставить жилье. Так, во всяком случае, обещал мне пан Ярослав, а я просто боялся поверить в свою удачу. Неужели вскоре я смогу легально жить и работать в Чехии и при этом никак не буду зависеть от своего клиента, забирающего половину моей зарплаты? У других заробитчан на это уходят годы, и то лишь немногим удается так хорошо устроиться. Кутна-Гора, конечно, не Прага, но, будучи центром по добыче серебра, в XIV в. она

была вторым по величине городом в Богемии после Праги, а сегодня это очаровательный старинный городок, один из лучших туристических центров страны.

... Два месяца дома пролетели быстро. Енакиево после Праги да и в целом Украина после Чехии, скажем помягче, не впечатляли. Унылая осенняя погода за окном действовала угнетающе, а обезьянничаящая, надувающая от важности щеки быдлоэлита со смешными плебейскими фамилиями, галдящая со всех телеканалов, просто раздражала. Нужно было менять обстановку, да и сроки поджимали.

Накануне отъезда звоню в Кутна-Гору. Обычно бодрый, деловитый и оптимистичный пан Ярослав разговаривает непривычно рассеянно и как-то отстраненно. Но тем не менее говорит:

— Да-да, конечно... Приезжайте...

Его тон мне не нравится, и, понимая, что иногда интонация бывает красноречивее слов, я пытаюсь с помощью дополнительных вопросов выяснить, насколько же мой приезд для него желателен. Поскольку Кутна-Гора расположена в шестидесяти шести километрах к востоку от Праги, но в стороне от нашей трассы, я спрашиваю, не сможет ли пан Ярослав встретить меня еще на пути в Прагу, чтобы мне не ездить туда-сюда.

— Да, наверное, так и сделаем, — не сразу отвечает мой собеседник.

— Тогда дайте какой-нибудь ориентир на трассе, где я мог бы выйти и подождать вас.

— Когда пересечете нашу границу, тогда и договоримся...

Ничего не ясно, и беспокойство не покидает меня. Но ехать надо, билеты уже куплены.

\* \* \*

Украину и Польшу проехали без происшествий. Неприятности начались в Чехии. Едва я успел договориться с паном Ярославом о нашей встрече, как у большегрузной фуры, ехавшей впереди, лопнуло переднее колесо. Фуру развернуло, она встала поперек проезжей части, упершись кабиной в отбойник. Шофер, к счастью, не пострадал, но движение было полностью заблокировано. Наш водитель среагировал вовремя и остановил автобус буквально в метре от фуры. Ну и как прикажете это понимать?

Если в мой прошлый приезд в Чехию возгорание в вагоне поезда и выразительный билборд с голой задницей означали, что вместо завода Siemens я окажусь на стройке, то о чем говорит мне это красноречивое препятствие?..

Об аварии я сразу доложил пану Ярославу и получил дополнительные инструкции. Пока полиция и дорожные службы выполнили полагающиеся в таких случаях действия и пострадавшая фура была оттащена на обочину, прошло часа полтора-два. Мы продолжили свой путь на Прагу. Я, следуя полученным указаниям, высадился у кафе «Зайчик», сделал звонок в Кутна-Гору и стал ждать.

Подъехавший через час-другой пан Ярослав был хмур, но энергичен, и, усадив меня с вещами в машину, рванул так, словно уходил от погони.

— Сейчас мы поедem на завод, — сказал он спустя некоторое время.

— На вагоностроительный? — на всякий случай уточнил я.

— На вагоностроительном нет приема.

— Но я звонил вам три дня назад...

— Три дня назад прием еще был, а сегодня — уже нет.

Влетев в крохотную лесную деревушку, мы оказались на территории маленького заводика и сразу направились в кабинет директора. Поинтересовавшись моим возрастом и профессиональными навыками, директор с сожалением покачал головой. Пан Ярослав попросил меня подождать в соседней комнате. Сквозь неплотно прикрытую дверь мне было слышно, как он энергично и напористо убеждал директора в том, что украинцы — самые трудолюбивые работники, а шахтеры вообще не знают, что такое усталость... Все было напрасно.

— Сейчас позвоню одному фермеру. Ему был нужен работник, — сказал пан Ярослав, когда мы уже сидели в машине.

— А сколько он мне будет платить? — спросил я и, услышав приблизительный размер зарплаты, взорвался. — Да я на стройке больше имел! За такие деньги я и на Украине свободно найду работу. И не нужно было срывать меня с места! Если у вас нет ничего более достойного, отвезите меня на ближайший вокзал, откуда я мог бы доехать до Праги.

Было видно, что пан смутился и чувствует свою вину.

— Да отвезу, конечно. Но неужели вам снова хочется работать на украинскую мафию?

— Если это мафия, то пусть ей занимаются ваши правоохранительные органы. А работу я себе стараюсь подбирать исходя из зарплаты, а не из личных симпатий и антипатий.

— Ну а деньги на первое время у вас хоть есть?

— Есть, не переживайте. Не первый раз на заработки едем.

Забросив меня на какой-то маленький железнодорожный вокзальчик и вытащив из багажника мою сумку, пан Ярослав протянул мне руку на прощание. Рассеянно пожав руку и поблагодарив за хлопоты, я повесил на плечо сумку и поплелся покупать билет до Праги.

Я сидел на пустом перроне в ожидании электрички. Темнело. Пора было подумать о ночлеге. Так, нужно собраться. Первый звонок я сделал Толику Н., который долго не отвечал, но потом я услышал знакомый голос:

— С приездом! Работаю на складе от Миши... Нет, насколько я знаю, у нас полный комплект... Ночлег? А водка у тебя есть? Тогда без проблем. Когда подъедешь к замку? Я отпрошусь сегодня пораньше.

Когда я подъехал к замку, Толик был уже там.

— Привет, старик! Кажется, тебе повезло: сегодня со склада уволился один украинец — дядя Изя. Вообще-то, его Володя зовут. Тот еще работник... Я по сравнению с ним — стахановец. Но он работал не от Миши, а от Пети, если Петя согласится взять тебя вместо него — будем вместе жить и работать.

Толик тут же набрал Петин номер и, коротко изложив суть дела, передал телефон мне.

— Здравствуйте. Вы к нам надолго? — услышал я в трубке.

— Как сработаемся... Я в сроках не ограничен.

— Ответ правильный, — похвалил Петя.

— Но есть одна проблема — у меня виза через полтора месяца заканчивается.

— Это как раз не проблема: заканчивается — продлим, — успокоил меня мой новый работодатель. — Завтра можете приступить к работе? Отлично. Я сейчас позвоню на склад бригадиру, а уж он позаботится, чтобы завтра с утра вас пропустили на территорию склада и показали рабочее место. Захватите с собой паспорт и фотографии. Я подъеду после обеда. До встречи.



— Ну ты везунчик! Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте! — возбужденно тараторил Толик.

— Но прежде — позвонить нужному товарищу, — подсказал я.

— Да, брат, с тебя — «поляна». Ну ладно, пошли ночевать.

Вдвоем мы подхватили мою сумку и двинулись вечерними улочками. По дороге Толик вводил меня в курс дела:

— Украинцы на складе работают от двух клиентов — Миши и Пети, а точнее — от его жены Наташи. Тут такая история: ваша фирма сначала принадлежала первому мужу Наташи, но он нашел себе помоложе и бросил Наташу и, прикинь, четверых детей! Наташа не сдалась и то ли отсудила, то ли каким другим способом заставила отдать ей большую часть этой фирмы, а потом сама нашла себе молодого мужа — Петю и уже ходит беременная пятым ребенком. Да и Петя не прогадал: денег там на всех хватит — увидишь, на каких джипах они ездят, а выглядит Наташа еще о-го-го! В общем, Миша платит нам по пятьдесят пять корун за минуту, но за жилье мы платим сами, а ваш Петя платит по пятьдесят и оплачивает жилье, так что разница в зарплате небольшая. Кстати, если ты будешь жить со мной, то проси у Пети накинуть тебе еще пять корун за оплату жилья. А жить тебе лучше здесь, потому что, во-первых, отсюда — полчаса ходу до работы, а все остальные Петины работники живут в Праге и у них много времени и денег уходит на дорогу, а во-вторых, за жилье тебе платить не придется.

— Как это?

— Да очень просто. Лично я расплачиваюсь с хозяином за жилье продуктами со склада, а те, что работают на стройке, — дешевым бухлом. А деду больше ничего и не надо: жратвой и выпивкой его обеспечивают, а на все остальное он может тратить свою пенсию.

— А продукты со склада ты воруеть?

— Зачем, брат? Украинцы на этом складе имеют дело только с просроченными продуктами, которые после сортировки идут на утилизацию. А на сортировке наши девки отбирают столько съедобных продуктов, что хватает всем и еще остается. Вот их-то мы и выносим. Все легально.

— И никто не травится?

— Я лично не слышал. Да ты сам подумай: если б такое случилось — кто бы разрешил нам свободно выносить?

— Сколько приходится работать?

— В рабочие дни — часов по семнадцать-восемнадцать, в субботу поменьше, в воскресенье еще меньше.

— А выходные?

— А выходных нет.

— А в магазин сходить?

— А зачем? Я за два последних месяца не ходил ни разу, все продукты есть на складе.

— Ну а сигареты, шмотки...

— Спецовку тебе выдадут, а на сигареты можешь дать деньги чехам водителям или Петиным «пражанам», они привезут. Да не переживай, приспособишься...

— Ну а коллектив-то хоть нормальный?

— Коллектив — говно, — спокойно ответил Толик. — Я потому и пошел на сортировку ящиков, что там я сам себе хозяин. Так меня и там пытались достать. Пришлось одного, кстати, племянника вашей мафианки Наташи, положить на

пол и слегка придушить. Вроде отстали. Со мной рядом работает Влад, капитан ракетных войск в отставке, — единственный нормальный парень.

— А бригадир почему не наведет порядок?

— А оно ему надо? Сам увидишь.

— Того же Влада нельзя сделать бригадиром?

— Нет. Во-первых, у него скоро заканчивается виза, и продлять он ее не собирается, а во-вторых, с чехами он принципиально разговаривает только по-русски, а с теми, кто его не хочет понимать, он проводит «политбеседы». Я ж говорю — нормальный парень. Кто же его бригадиром поставит?

Жилье Толик снимал в небольшом двухэтажном доме, сиротливо стоявшем среди заброшенного земельного участка, заросшего бурьяном и редким кустарником. Мы поднялись на второй этаж.

— Это — наша кухня. — Толик открыл дверь в небольшую неприбранную комнату. — Рядом живу я. Пока один, но скоро привезу сюда жену. А вот здесь будешь жить ты.

Мы вошли в комнату побольше. Из мебели там находилось пять или шесть кроватей, пара шифоньеров, сервант, стол, пара стульев и телевизор на тумбочке. Из людей — два молодых парня, которые лежали на двух ближних к работающему телевизору кроватях.

— Принимайте пополнение, — по-хозяйски обратился Толик к парням, а мне указал на свободные кровати: — Выбирай любую.

Я, быстро сориентировавшись, направился в дальний угол, где находилась почти скрытая за развернутым шифоньером кровать.

— Оттуда телевизор не видно, — предупредил меня один из парней.

— Именно поэтому я и собираюсь там спать, — сказал я.

Передав Толику пару бутылок медовухи с перцем, а парням — что-то из домашней закуски, я принялся обустроиваться на новом месте, а все остальные отправились на кухню накрывать на стол.

Когда я присоединился к ним, мне представили еще одного жильца с первого этажа. Андрей жил в этом доме уже несколько лет, работал на стройке напрямую на племянника хозяина этого дома и был родом из Закарпатья. Его жена работала горничной в одной из гостиниц в городе Мельнике и на свои выходные приезжала к мужу — или он по воскресеньям ездил к ней.

— Где же хозяин? — спросил я.

— А зачем он здесь нужен? — вопросом на вопрос ответил Толик. — Да и хозяин он чисто номинальный. Фактически домом заправляет его племянник, у которого Андрей стал почти членом семьи.

— Более близких родственников у деда нет?

— Жена с сыном давно от него ушли, живут в Праге, с дедом не общаются и, похоже, на наследство не претендуют, — объяснил Андрей. — Недавно дед сильно заболел и, если бы племянник не отвез его в больницу и не оплатил лечение, точно очурился бы. Он всего несколько дней назад вернулся из больницы и опять бухает.

— А дед уже как-то распорядился своим наследством?

— Пока никак, насколько я понял из разговоров с племянником. Но тот надеется, что дом достанется ему.

...Когда закончилась выпивка, Толик, блаженно развалившись на стуле, размечтался:

— Вот приеду домой, сразу куплю себе ящик «Немирова» и буду пить только его. Ни с чем не смешивая. А сейчас — по койкам! Нам рано вставать.

Утром по пути на работу Толик давал мне последние инструкции:

— Ты, главное, пойми, что на пасе (конвейере) старайся не старайся — успевать все равно не будешь. Бригадир в течение дня будет направлять вам в помощь освободившихся людей. А вечером все, закончившие свою работу, домой не уходят, а переходят на пас и до двенадцати ночи гуртом стараются закончить работу там, чтобы полностью очистить цех. Если не успевают, то вам с самого утра приходится включаться на полную катушку.

\* \* \*

Моим напарником на пасе был Саша — молодой, длинный и худой, но жилистый парень из Славуты. Забегая вперед, скажу, что за полтора месяца работы на складе у меня сменилось три напарника и ни один не оставил о себе приятных воспоминаний. Зато когда почти два года спустя я снова оказался на этом складе и на этом же рабочем месте, то картина поменялась на прямо противоположную. Но об этом — в свое время.

Сама по себе работа не была ни сложной, ни тяжелой и заключалась в том, что разгружаемую с фур использованную тару нужно было опрокидывать с ролак (специальных высоких поддонов на колесах) и палет (обычных поддонов) на конвейер, опущенный приблизительно на полметра ниже пола и доставляющий этот упаковочный материал под пресс, где его, соответственно, прессовали и связывали дротом (проволокой) в балики определенных размеров. Нам необходимо было следить за тем, чтобы каждый балик был строго из одного материала: либо из картона (папир), либо из деревянных ящиков (древо), либо из целлофана (фолия) — прозрачного или цветного. Поскольку тара в основном шла картонная, то деревянные ящики и фолия выхватывались из общей массы и откидывались в отдельные кучи. Когда ящиков набиралось на полноценный балик, то их сразу отправляли под пресс, а фолия собиралась в огромную кучу в течение всего дня и разбиралась вечером всем украинским коллективом, а если что-то оставалось, то утром это доделывали те, кто непосредственно работал на пасе.

И хотя все операции на прессе были автоматизированы, нужно было постоянно контролировать процессы и при необходимости переходить с автоматического на ручной режим управления.

Мой напарник, как более опытный, работал «первым номером» — его рабочее место находилось рядом с пультом управления пасом и прессом, и в случае чего он нажимал нужные кнопки. Я, как «второй номер», трудился по другую сторону паса.

Посмотрев, как я работаю, Наташин племянник спросил:

— Ты зачем так рвешь? — и предупредил: — Смотри, при таких темпах ты через два дня без рук останешься.

— Как раз наоборот, — возразил я. — Больше всего я устаю, если работаю медленно. А такой темп для меня самый оптимальный.

— Ну тогда хоть сократи себе смену.

— А разве так можно?

— А почему нет? Вот до тебя тут работал дядя Изя, так он приезжал на работу к девяти утра и работал до девяти вечера, а потом только сидел и курил. Говорил, что в его возрасте и двенадцатичасовая смена — это смертельная доза.

— Ты говоришь «сидел и курил», а почему домой не ехал?

— А домой он ехал часов в двенадцать вместе с Сашей-бригадиром на его машине, чтобы не тратиться на автобус.

— Интересный товарищ. А раньше-то, ну, в «мирное время», он кем работал?

— Говорит, что музыкантом. После Харьковского института культуры.

— А, тогда ясно. А я — шахтером-забойщиком.

Капитан в отставке Влад тоже выразил отношение к моей работе:

— Саньч, только без фанатизма! Не забывай, на кого работаешь: не на трудовой чешский народ, а на жирных акул капитала. Ты знаешь, что еще полгода назад нас, украинцев, здесь работало в два раза больше. Если все будут работать, как ты — нас еще сократят.

Проведя воспитательную работу со мной, Влад на своем электрокаре отъезжал к чехам, которые контролировали разгрузку-погрузку машин и подписывали необходимые документы. Остановившись возле их стола и строго глядя на враз насторожившихся абorigенов, Влад говорил им что-нибудь по-русски.

Те обычно отвечали ему по-чешски. И тогда Влад, медленно, четко выговаривая каждое слово и растягивая гласные на чешский манер, строго и укоризненно произносил:

— Что, русский язык забыли? Старую дружбу забыли? Уважение к русским потеряли? За НАТО спрятались? Смелыми стали? А я вот сейчас позвоню дяде Володе Путину и скажу, что вы американский радар у себя разместить собираетесь. Он вас за это бомбить не будет. Он просто прикрутит газовый вентиль, а остальное зима сделает. И все, и кирдык вам, и радар вас не спасет. У-чи-те рус-ский!

И, гордо подняв голову, Влад отъезжал от посрамленных чехов с видом недовольного маршала, инспектирующего армию.

Непосредственно за моей спиной работали две украинки на сортировке продуктов, или, как здесь говорили, «на срачке». Одну из них звали Галей, и она приходилась сестрой моему напарнику Саше и женой Владу. С ней у нас сложились нормальные отношения. Зато со второй, которую звали Ниной и которую за глаза я скоро стал звать просто «чумой», мы почти сразу начали враждовать. Узнав, что я заработал на шахте неплохую пенсию и что мои жена и дочь не только регулярно получают ее на Украине, но еще и сами работают: жена — медиком, а дочь — преподавателем в одном из вузов, она сразу воспылала ко мне плохо скрываемой ненавистью. У нее самой дома остались двое детей и муж, «досматривающий» их и, если не ошибаюсь, работающий школьным учителем. Сама она после закрытия сахарного завода лишилась даже сезонной работы и вынуждена была податься на заработки за границу. Не знаю, как дети, но муж, судя по всему, не должен был сильно печалиться по поводу отсутствия такой жены. Из-за ее склочного характера с ней не ладил никто из работающих на складе украинцев. Нина не только огрызалась, но и сама активно атаквала, вмешиваясь во все, что ее никак не касалось, нимало не задумываясь над тем, насколько это вмешательство адекватно.

Отношения, которые сложились между мной и моим напарником, тоже трудно было назвать партнерскими, но я работал на складе, радуясь, что, в отличие от стройки, работа здесь не подвержена сезонным колебаниям, что хотя она и легче, но оплачивается лучше, что нет нужды тратиться на питание... Правда, была и другая сторона медали: жизнь состояла только из работы и сна, а короткие воскресные дни — из постирушек и приборки. О прогулках по Праге пришлось забыть. Зато не давали скучать мои новые сожители по комнате.

После того как Толик Н. отбыл на побывку домой, два моих соседа совсем отбились от рук. Из тех продуктов, что я приносил со склада и, отложив часть в холодильник деда-хозяина, набивал в наш холодильник, они, не стесняясь, вы-



бирали лучшее. Работая на стройке и имея короткие рабочие смены (а иногда и вовсе пропуская их), имея два выходных в неделю, они регулярно готовили себе и первые, и вторые блюда, однако мне почему-то никогда не предлагали оценить их поварские таланты. Они даже не хотели убрать за собой стол или вынести мусорное ведро, не говоря уже о том, чтобы сделать влажную уборку в комнате или на кухне. А у меня даже не было возможности поговорить с ними: когда я приходил около двенадцати ночи с работы — они уже спали или пропадали на дискотеке или в госпде, а когда уходил в шесть утра — они еще сладко спали. Были и другие неприятные моменты.

Как-то младший спросил у меня совета, как ему избавиться от прыщей на лице и теле, я, не подумав, посоветовал ему почаще мыться под душем. Лучше бы я этого не говорил, потому что вода для душа у деда нагревалась в пятидесятилитровом водонагревательном баке... Не буду занимать ваше время и объяснять, почему после этого разговора горячий душ перед сном для меня стал редким удовольствием.

Но однажды, придя с работы, я встретил на первом этаже поджидавшего меня Андрея. У того был ко мне конкретный разговор:

— Предложить переселиться в мою комнату не могу — там одна двухспальная кровать, да и жена ко мне почти каждую неделю приезжает, но и смотреть, как ты мучаешься с этими свиньями, я не хочу. Переезжай на нашу кухню на первом этаже, там всегда корабельный порядок, тепло и просторно. Спать будешь на диване, а вещи хранить в моей комнате. Моя жена будет приезжать, нам готовить, да я и сам чего-нибудь смогу сварить...

В ту же ночь с помощью Андрея я перебрался на первый этаж, и должен сказать, что в дальнейшем ни разу не пожалел об этом. И хотя вскоре «эти свиньи» вынуждены были наскоро, похватав свои вещи, под покровом ночи навсегда покинуть наше жилище, подозреваемые в изнасиловании чешской школьницы, как нам объяснили прибывшие через полчаса полицейские, я возвращаться на освободившийся второй этаж не пожелал.

...Мое новое жилище находилось по соседству с комнатой хозяина, который заслуживает того, чтобы о нем сказать отдельно. В первое же воскресенье, придя с работы пораньше и прихватив пакет принесенных со склада фруктов, я пошел представиться. Дед, кстати, был не такой уж и древний — на семь лет старше меня, правда, выглядел значительно старше своих лет. Он, как обычно, лежал на кровати. В ногах у него на тумбочке стоял постоянно включенный телевизор, в головах на стуле — остатки выпивки и закуски. Еще два неработающих телевизора стояли прямо на полу. Напротив кровати в пределах досягаемости от стула с выпивкой стояло старое кресло, вероятно, для гостей и собутыльников или для гостей-собутыльников. В комнате не прибрано.

— Мирослав Покута! — важно и торжественно произнес дед, не отрывая головы от подушки, и протянул мне руку. Его фамилия хорошо известна каждому заробитчанину и многих из них заставляет вздрагивать, потому что переводится как «штраф».

Я представился, пожал вялую, влажную руку и опустился в кресло.

— Украинец? — подозрительно прищурился хозяин.

— Русский, — уточнил я.

— О! — Пан Мирослав неожиданно легко сел в кровати и снова протянул мне руку. — Я очень уважаю русских! Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Александр Рагулин, Валерий Харламов... — Дед старательно загибал пальцы и с явным удовольствием называл имена и фамилии своих любимцев. При этом он

с таким восторгом смотрел на меня, как будто видел перед собой этих мастеров мяча и шайбы. Это куда лучше, чем вспоминать шестьдесят восьмой год. — ... Олег Блохин, — продолжал перечислять мой собеседник.

— Блохин — украинец, — поправил я.

— Похибуи (сомневаюсь), — прищурился дед. — Я понимаю русские фамилии. Вот Шевченко — украинец.

Наш дальнейший разговор, в основном о спорте, еще больше расположил пана Мирослава ко мне, и когда я засобирался уходить, он задержал меня и, многозначительно подняв вверх указательный палец, вполголоса таинственно произнес:

— О том, что я сейчас скажу, должен знать только ты...

— Можете не сомневаться, — заверил его я, слегка заинтригованный.

— На Рождество и Новый год мы с подругой едем в Баварию. Вернемся через месяц. А когда вернемся, то будем выселять жильцов.

— Почему?

— У моей подруги в Праге — трехзвездочный отель. Она хочет и в моем доме открыть маленький отель. Для этого придется сделать кое-какой ремонт. Поэтому всех выселим, но лично ты не беспокойся: я скажу подруге, что ты — мой русский гость.

Я поблагодарил хозяина за оказанную честь и отправился заниматься своими делами.

Однажды после короткой воскресной смены Саша объявил, что завтра на работу не выйдет, потому что уезжает домой.

— А кто будет вместо тебя на пульте? — спросил я.

— Понятия не имею, — пожал плечами Саша.

Я пошел к бригадиру.

— Завтра у тебя будет другой напарник, — ответил тот.

Этот напарник попал на склад из попеляжей (сборщиков мусора) и не имел ни малейшего представления о своей новой работе. Пришлось, наскоро объяснив ему суть дела, самому становиться ближе к пульту и на ходу осваивать свои усложнившиеся обязанности. Не все шло гладко, но тем не менее работа двигалась. Где-то ближе к обеду мой напарник поинтересовался:

— И часто у вас такая запарка?

— Разве это запарка? — искренне удивился я. — Сегодня у нас разгрузочный день, а запарка будет завтра — пойдет вся тара, скопившаяся за два выходных дня.

— Так что, мне здесь сдохнуть, что ли?

— Не бойсь, не сдохнешь. Я втянулся, и ты втянешься.

— Да в гробу я видел вашу работу! И сметаны бесплатной не надо... — заявил новичок, но смену все-таки отработал.

На следующий день на работу он не вышел, и бригадир с мастером давали мне в помощь то одного, то другого работника, то сами становились к пульту, поскольку вторник действительно был самым тяжелым днем.

А в среду у меня появился еще один новый напарник. Витя приехал, как он сказал, из города Первомайска Николаевской области. У него было мужественное, как у президента Ющенко (до отравления), лицо, на котором сразу бросались в глаза щегольские, подбритые и сверху и снизу черные усики, с этим лицом никак не гармонировавшие. Но больше всего портил впечатление его взгляд, выдававший не очень умного человека, к тому же от Вити всегда густо пахло потом.



Оценив все это, я тоскливо подумал, что хотя первое впечатление и считается самым сильным, но далеко не всегда бывает справедливым, да и нужен мне отнюдь не философствующий интеллеktуал, а работяга-пахарь. Однако моя хрупкая надежда создать с Витей эффективный рабочий тандем рухнула в первый же день.

Сказать, что мой напарник не любил работать, — не сказать ничего. Создавалось впечатление, что он вообще не осознает, где находится и зачем здесь оказался. Большую часть времени Витя проводил на «срачке», общаясь с Ниной, и не спеша отбирал себе отсортированные продукты. Если я выносил со склада для себя, Андрея и деда один пакет продовольствия, то Витя каждый день шел домой, согнувшись под тяжестью вместительного рюкзака и двух увесистых пакетов. В наиболее напряженные моменты, когда цех был перегружен тарой, а на улице стояли фуры в ожидании разгрузки, мой партнер мог вообще прекратить работу и отправиться на обед или, усевшись на палету, скрытый от посторонних глаз сплошной стеной стоящих ролаков, заняться своим телефоном. На мой призыв: «Витя! Работаем! Запарка!» — он спокойно отвечал: «Зараз зробрю СМС-ку и попрацую...»

Бригадир этого то ли не замечал, то ли замечал, но заменить Витю на тот момент было некем, — не знаю...

Я же, философски рассудив, что друзей и врагов мы создаем себе сами, а напарников имеем по попущению свыше, воспринимал Витю как небесную кару за свои грехи, вольные и невольные.

Как бы там ни было, но «испытание Витей» продолжалось недолго — недели две-три от силы — и закончилось довольно неожиданно.

Однажды субботним вечером, когда мастеров на складе уже не было, я заинтересовался у бригадира, будет ли сегодня перерыв на ужин.

— Нет, — коротко ответил Саша и пояснил: — Через час дома поужинаете.

Я вернулся на сортировку фольи. Вскоре к нам стали присоединяться освобождающиеся работники с других точек. Ко мне сразу обратилась Галя, жена Влада:

— Дядя Толя, идите ужинать, а потом мы, в порядке очереди.

— Ужина сегодня не будет. Я спрашивал. Через час — по домам, — объяснил я, не отрываясь от работы.

— Да смотрите, сколько фольи! Часа на три-четыре! Кто ж нас отпустит? — не унималась Галя.

— Бригадир.

— Да не отпустит он так рано, — поддержала Нина. — Идите ужинать, а мы — за вами.

— Если хотите — идите сами, а я потерплю, — отмахнулся я.

— Нет, мы раньше вас не можем: вы самый старший и у вас самая тяжелая работа, — настаивала Галя.

— Так что, может, пойдем перекусим? — Витя, как и все остальные, уже не работал и смотрел на меня.

— Ну задолбали! Ладно, мы пошли, а вы работайте, — сдался я.

Едва мы с Витей успели разогреть в микроволновке сосиски и вскипятить чайник, как в комнату мастеров, которая служила всем нам и столовой, ворвался бригадир:

— Я же сказал, что сегодня работаем без ужина!..

— Да мне до дома два часа добираться, а в животе уже урчит, — начал объяснять мой напарник.

- А тебе сколько до дома идти? — обратился бригадир уже ко мне.
- Полчаса, — кратко прошамкал я, не переставая жевать, и не оборачиваясь.
- Ясно! — бригадир громко хлопнул дверью.

Когда мы с Витей вернулись к пасу, об ужине никто уже не вспоминал. Все дружно работали, переговариваясь между собой на отвлеченные темы, а через час бригадир отпустил всех по домам.

...В воскресенье утром машин, как обычно, было мало, и мы успели спокойно запрессовать оставшуюся со вчерашнего дня фольгу. Воспользовавшись короткой передышкой, я, взяв у мастера чайник с маслом, смазал ведущую и натяжную головки паса. Когда я возвращал мастеру чайник, тот неожиданно спросил:

- А ты знаешь, что с завтрашнего дня ты у нас уже не работаешь?
- Впервые слышу. А почему?
- Потому что вернулся из отпуска бригадир Роман. Он давно у нас работает.

— А разве наш бригадир не Саша?

— Саша просто временно исполнял бригадирские обязанности. А теперь бригадиром снова будет Роман, и работать он будет на твоём месте.

Вслух мои мысли выразил оказавшийся рядом Влад:

— Вот так новость! Саньча увольняют, а Витю оставляют! А вы ничего не напутали? — обратился он к мастеру, как всегда, по-русски.

Но тот понял и ответил:

— Нет, не напутал.

— Тот, кто работает, остается без работы, а тот, кто не работает, остается на работе, чтобы не работать и дальше. — Влад покрутил пальцем у виска.

— Возможно, мы с тобой неверно понимаем ситуацию, — неуверенно возразил я. — Может быть, все дело в том, что я умею работать, а Витя умеет не работать, и это говорит о его более глубоком понимании проблемы.

Мастер, молча слушавший наш разговор, решил добавить:

— Твоя мафианка скажет тебе, куда выходить на работу завтра.

— Да она уже две недели как на Украине. Встречает Новый год и Рождество.

Мастер пожал плечами:

— Звони на Украину.

Не могу сказать, что неожиданное увольнение меня сильно расстроило. Огорчила только внезапность, а также отсутствие Пети и Наташи. Хочу напомнить, что, еще работая у своего первого клиента Андрея, я, как и большинство других работников, твердо усвоил нехитрое правило: не повезло с работой или работодателем — ищи альтернативные варианты, ибо ты пребываешь в свободной стране. В ситуации с Петей дело обстояло несколько иначе: я отнюдь не кричал от восторга, оказавшись под очередным клиентом вместо ожидаемой свободной и самостоятельной работы на себя, но и не посыпал голову пеплом, справляя тризну по своим несбывшимся мечтам. Хотя правильней было бы сказать — не мечтам, а планам. Как клиент на данном этапе Петя меня вполне устраивал, а что будет дальше — время покажет. Я надеялся, что и у Пети ко мне не должно быть претензий, а значит, без работы я не останусь.

Влад и Галя собрали мне на прощание «тормозок» повкуснее. Вручая увесистые пакеты, бравый капитан запаса заботливо приговаривал:

— Не знаю, что ждет тебя на новом месте, но уверен: таких пайков там не предложат.



Придя с работы, я достал из сумки мобильник и принялся названивать Пете. Его реакция на мое сообщение была бурной и гневной:

— Какого хрена! Это уже ни в какие ворота не лезет! Рома проходит по Мишиной квоте, а вы — по моей. Они что, хотят меня совсем со склада выжить? Да я сам кого хочешь выживу и фамилии не спрошу! Дня через три мы возвращаемся в Чехию и все порешаем. А вы не переживайте, без работы не останетесь. А пока — отдыхайте.

...Вечером вернулся из Мельника расстроенный Андрей: когда жена во время работы падает в обморок, значит, как минимум она нуждается в отдыхе. Поскольку Чехию в эти дни накрыл обильный снегопад и проезда в удаленный от автотрасс коттеджный поселок, где трудился Андрей, не было и в ближайшее время не предвиделось, то, испросив у работодателя двухнедельный отпуск, мой товарищ засобирился в Закарпатье, чтобы отвезти жену и повидать маленькую дочь. Однако, несмотря на предотъездные хлопоты и обремененность своими проблемами, он, узнав о моем положении, принял в моей судьбе деятельное участие:

— Я могу поговорить со своим шефом, и он возьмет тебя на работу. Правда, новеньким он первое время больше семидесяти пяти корун в час не платит, а дальше — смотрит по работе. Самое главное — ты будешь работать, как я, только на себя (ну и на шефа, конечно), а не на кровососа-клиента. А то, что останемся без дармовых продуктов — невелика беда, будем покупать. А чтоб тебя не достал твой Петя, сменим хату. Нам главное — перезимовать в тепле, а по весне можно переселиться в трейлер, что стоит у нас на стройке.

Утром в понедельник, сбегав за газетами, Андрей засел за изучение объявлений о сдаче недвижимости, а затем принялся обзванивать хозяев приглянувшихся ему квартир. И вот здесь его ждало неприятное и, я бы сказал, обескураживающее открытие: украинцев в Праге не любят! А как еще прикажете понимать такое к тебе отношение, когда доброжелательный пан (или пани), обсудив с тобой условия аренды жилья, задает невинный вроде бы вопрос: «А вы сами-то откуда?» — и услышав в ответ: «Из Украины», — так же вежливо, но решительно произносит: «Извините, украинцам не сдаем!» — и кладет трубку?

Испытав гамму не самых приятных чувств: сначала — удивление, потом — искреннее непонимание и наконец (после пятого-шестого отказа) — легкий шок, Андрей обескураженно уронил мобильник себе на колени и тупо уставился перед собой...

С Андреем все было ясно: давно сбегав от своего первого клиента и прилепившись к владельцу небольшой строительной фирмочки, Андрюша на протяжении последних пяти-шести лет работал в маленькой бригаде, состоящей из нескольких украинцев, одного молдаванина и нескольких чехов. Его работодатель («шеф»), судя по всему, был человеком простым (в хорошем смысле слова), не гнушавшимся никакой работы, к Андрею относился хорошо и платил ему сто корун в час. Легко экстраполируя их личные взаимоотношения на отношения международные, Андрей пребывал в счастливой уверенности, что все чехи относятся к украинцам просто замечательно. А тут на тебе — такой сюрприз!

Андрей, прихватив газеты, поспешил к своему шефу, проживающему неподалеку. Вернувшись через пару часов, он обескураженно доложил:

— Прикинь, шеф обзвонил все адреса, но никто не хочет сдавать жилье украинцам! Он за нас и ручался, и предоплату обещал, и порядок гарантировал — ни в какую! Как ты думаешь почему?

— А почему верблюд не ест вату?

— Чего?



— Вату. Правильный ответ — потому что не хочет. Вот поэтому и чехи не сдают квартиры украинцам — не хотят.

— Это я и без тебя понял. Но почему?

— Могу только догадываться...

На следующий день я проводил Андрея с женой на родину, а еще через пару дней вечером за мной заехали Петя с Наташей. Я быстро загрузился в салон, и мы нырнули в темноту. Ехали довольно долго. Петя вел машину, а я, устроившись на заднем сидении, лениво размышлял о превратностях судьбы.

\* \* \*

— И все-таки куда ж мы едем?

— Не волнуйтесь, место хорошее, — заверил меня Петя. — Те из наших, кто там работает, держатся за него и не согласны менять ни на какое другое. А желающих попасть туда — хоть отбавляй.

— И как называется это замечательное место? — насторожился я, услышав вместо конкретного ответа расплывчатую характеристику райского уголка.

— Главная пражская свалка, — спокойно ответил Петя.

Сказать, что я испытал разочарование, — не сказать ничего. Мозг автоматически воспринял и обработал информацию, и в моем организме стали происходить независимые нейрофизиологические процессы. В нос ударил тяжелый запах гниения и разложения, а перед глазами возникла мрачная картина кладабища отвергнутых предметов материального мира...

— Да уж, — только и смог выдать я.

Петя, совершенно не обращая внимания на мой пессимизм, продолжал рисовать радужные картины моей будущей жизни и работы и уверять меня в невероятной везучести.

— Отличная общага: двух- и трехместные комнаты для жилья, кухня, душевая, сушилка. Большинство заробитчан о таких условиях даже не мечтают. Платить буду на пять корун в час больше, чем на складе. Зимой, правда, там работы не очень много. Ну да ничего — наберетесь сил перед летней страдой. Опять же при желании всегда можно найти другое прибыльное занятие. Свалка — это такое место, где есть множество самых неожиданных вещей, и при наличии мозгов и предпринимательской хватки...

— Которая у меня полностью отсутствует, — вставил я.

— Жаль, — вздохнул мой клиент. — А вот у моих земляков-закарпатцев в большом дефиците первая составляющая, и у них хватает ума только на то, чтобы воровать цветмет и тащить все, что плохо лежит.

— Зато все они такие возвышенные, чистые и благородные романтики и люди большой поэтической души!

— С чего вы взяли?

— Видел кино одного популярного на Украине режиссера.

— Слушайте, я ж не рассказываю вам, какими вас, русских, изображают голливудские режиссеры, — вспыхнул Петя. — Моим землякам и так от жизни достается по полной программе...

Как говорится, «беседа проходила в теплой, дружеской и доверительной обстановке при полном взаимопонимании сторон» и была прервана прибытием на место моих дальнейших трудовых свершений. Проводив меня по наружной лестнице на второй этаж, указав комнату для жилья и отдав необходимые рас-



поряжения находившимся там работникам, Петя быстро вскочил в машину к поджидавшей его Наташе и укатил.

...Моя комната оказалась трехместной. Вместе со мной в нее вселился Миша, прибывший на свалку накануне и занявший койку у двери, а другие две кровати, разделенные тумбочками, стояли у окна. Имелся также стол со стулом, шифоньер и раковина с трехлитровым электронагревательным бачком. Поскольку одна из кроватей, как мне сказали, числится за Володей, пребывающим в данный момент дома в Закарпатье, то мне не оставалось ничего иного, как занять свободную койку.

Я отнюдь не случайно столь подробно рассматриваю «кроватьную» тему. Дело в том, что за год моей работы на свалке через ту койку после Миши прошло не менее пяти человек — и все как на подбор были горемычными пьяницами. А когда я поинтересовался у ветеранов, кто до меня спал на моей кровати, оказалось, что раньше ее занимали абсолютные трезвенники, как и я. Не знаю, как объяснить это явление, но оставить без внимания данный феномен я считал неправильным.

Уже в первый рабочий день мне стало ясно, куда я попал. Но обо всем по порядку.

Зная, что на работу мы выходим в половине шестого, я встал в полпятого, умылся, прошел на кухню, поставил чайник и принялся собирать «тормозок». Когда я уже позавтракал, стали просыпаться остальные обитатели, и, наскоро собравшись, отправлялись на работу. Я присоединился к ним.

— Работать будешь пока с нами, — по дороге сообщила мне Марина, тридцатилетняя женщина, у которой дома на попечении бабушки осталась тринадцатилетняя дочь.

Дорога до свалки заняла полчаса. Сразу за воротами находился пункт взвешивания автомашин («вага») с постом охраны и контора. В глубине территории возвышался огромный продолговатый курган — место упокоения ненужных вещей. Мы направились в сторону двух приютившихся у подножия кургана зданий. В ангаре побольше, как мне на ходу объяснили мои попутчики, находилась «линка» — линия по переработке горючего (бумага, текстиль, пластик и т. п.) мусора в топливо вроде бы для цемзавода. Там же находился и склад этого топлива. Зимой линка не работала. Рядом с ангаром стоял вагончик мастеров.

В здании поменьше расположились «дртич» (мельница по переработке пластмассы от автомобильных кондиционеров) и гараж. Рядом под навесом разместились автомойка и бензозаправка. Отдельно стоял склад «небезопасных материалов», которым заведовал Саша. На мельнице за бригадира была Марина.

Вступив на территорию свалки, украинцы стали расходиться по своим местам. Я следовал за Мариной. На дртич мы зашли вчетвером. Марина с Эдиком тут же принялись готовить себе завтрак. Мы с Мишей уселись на перевернутые ящики. Я обратил внимание, что Эдик натошак принял приличную порцию каких-то пилюль. Как мне потом объяснили, за полтора года работы на линке он заработал туберкулез, около года лечился в стационаре за счет фирмы, а сейчас вынужден то ли продолжать лечение, то ли в целях профилактики глотать по шесть пилюль каждое утро, но уже без отрыва от работы. Его вроде бы хотели уволить со свалки от греха подальше, но он пригрозил судом и международным скандалом, и его оставили, просто переведя с линки на дртич, в более, так сказать, экологически комфортные условия. А было ему, если не ошибаюсь, двадцать девять лет.

После завтрака Эдика и Марины мы по ее команде набросали с улицы в помещение кучу кондиционеров и, вооружившись шуруповертами и молотками,

принялись за работу. Нужно было, разбирая кондиционеры, металлические части кидать в одну кучу, а пластмассовые в другую. Затем пластмасса перемалывалась, а металлические отходы убирались в отдельный контейнер и потом куда-то увозились. Электромоторчики складывались в отдельные «попельнички».

Вскоре Марина с Эдиком эту работу прекратили и занялись совсем другим делом. Достав припрятанные в укромных местах ящики с роторами электромоторов, они принялись за заготовку меди. Ловкими, доведенными до автоматизма движениями они быстро распускали обмотку, затем, так же ловко скрутив проволоку в отдельный моток, прятали его в рюкзак. При этом обсуждали динамику цен на цветные металлы в ближайших пунктах приема и прикидывали свои доходы.

Я, краем глаза наблюдая за их манипуляциями, продолжал спокойно работать. Зато не на шутку заволновался Миша. Оборвав на полуслове мурлыканье песен из репертуара Вахтанга Кикабидзе, он обеспокоенно закрутил головой. Затем, отделив от кондиционера очередной электромотор, он не стал отбрасывать его в специальную попельничку, а, разбив его на полу несколькими ударами молотка, принялся освобождать «медяшку». Но когда он, успешно закончив все положенные операции, сунул моток проволоки себе за пазуху, Марина строго спросила:

— А не рано ты взялся за это дело? Я, например, когда пришла сюда работать, первые три месяца не знала даже дороги на «копец», не говоря уже о заготовке цветмета...

Миша ничего не успел ответить: в смежном помещении захлопали входные двери. Быстро прикрыв свои «секретные» ящики какими-то тряпками, Марина с Эдиком похватала шуруповерты и приняла рабочие позы. В дверях возникла медвежья фигура мастера. Коротко и громко рявкнув, он подозрительно уставился на нас. Из-за его спины вынырнул Юра:

— Марина, директор приказал тебе выделить одного человека для расчистки снега.

Та, немного подумав, указала на меня. Вооружившись лопатами, мы с Юрой отправились в сторону ворот. Вскоре к нам присоединился Саша.

Работая под окнами конторы, понятное дело, не посачкуешь, и нам с Юрой пришлось работать без перекура, тем более что мой напарник вообще не курил. Саша оказался похитрее нас и взял себе для расчистки участок дороги с автомобильными весами («вагой»), что дало ему возможность находиться под прикрытием пункта взвешивания, работать не спеша да еще и устраивать частые перекуры. Наконец и мы с Юрой, расчистив дорожки и автостоянку возле конторы, перебрались на главную дорогу. Я решил перекурить. Свернув за угол пункта взвешивания и прислонив к стене лопату, я достал сигарету.

— На территории «складки» курить запрещено, — Саша прервал любезную беседу со стоящей на смотровом балкончике и тоже курящей чешкой и высокомерно-строго посмотрел на меня.

— Но ведь ты же куришь! — удивился я.

— Ха! Я работаю здесь уже четыре года, а ты только первый день, — делая многозначительные паузы, назидательно произнес мой неожиданный наставник.

— Зато я — русский, а ты — черный, — в том же ритме возразил я.

— А при чем здесь это?

— Правильно! Ни при чем, как и то, кто и сколько здесь отработал. Если на свалке нельзя курить — значит, нельзя курить ни-ко-му. А если кому-то можно, значит, можно всем. А если ты с этим не согласен, то я сейчас иду к директору и прошу его быть арбитром в нашем споре...



— Ты что, debil? — Саша зло отбросил окурок, схватил лопату и зашагал прочь.

— Я — моряк, Саша! — прокричал я ему вслед. — А у нас на флоте ваша армейская дедовщина не приветствовалась.

Внимательно слушавший наш разговор Юра поднял вверх большой палец...

Первый рабочий день оказался непродолжительным: как только стало смеркаться, опустела контора, а немного погодя и Марина, наскоро переговорив с мастером второй смены, дала команду — домой.

Оказавшись в общежитии и не зная, чем заняться, я решил постирать покрывало со своей кровати и шторы с окна. Включив стиральную машину и взяв у Юры маленький топорик, я принялся отбивать лед со ступенек наружной лестницы. Закончив работу и достав из машинки постиранные вещи, я отправился в сушилку, но там все веревки оказались занятыми чьим-то уже пересохшим бельем. Пошел по комнатам выяснять чьим. Поиски привели меня в комнату Саши и Марины — они сожительствоваали. На мою просьбу освободить веревки Марина принялась терпеливо объяснять мне:

— Понимаешь, это Сашины веревки...

— В каком смысле?

— Ну, это он их нашел и привязал...

— Молодец Саша, но ваше белье уже пересохло...

— Неважно. Хочешь посушить свои вещи — натяни свои веревки. Понял?

— Не очень. А если я сейчас почистил нашу лестницу, так теперь по ней никто, кроме меня, и ходить не может?

— А тебя никто и не просил чистить лестницу. Согласен?

— Нет конечно. В общем, я вижу, нужно срочно звонить Пете, чтобы он объяснил мне правила поведения и проживания, пока я еще во что-нибудь не вляпался.

Я круто развернулся и зашагал в свою комнату. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как меня обогнала стремительно рванувшая с места Марина, зло бросившая на ходу:

— Не треба звонить Пете...

Вечером, во время телефонного разговора с женой, я между прочим заметил:

— Вуди Аллен как-то сказал, что провести вечер в компании страхового агента — испытание похуже смерти. Интересно, что бы он сказал, пожив и поработав в компании закарпатцев?

Но как бы там ни было, в деревне в двадцати километрах от Праги, на работе и после нее пребывая в окружении закарпатцев, выбирать круг общения мне не приходилось, поэтому единственным достойным собеседником для меня мог быть только я сам. На этом и успокоился.

В самой деревне не было ничего примечательного: старая церковь с постоянно запертой дверью, пруд («рыбник»), небольшой магазин, почта, сельская администрация и футбольное поле. Да еще под нашей общагой располагались конюшня и «Кони-бар». Добавьте к этому два-три десятка жилых строений — и перед вами полная картина деревни Турско. Окружающие деревню поля, разделенные жиденькими перелесками и рощицами, тоже не вызывали у меня никаких возвышенных чувств. И если не считать еженедельных поездок в Прагу за продуктами, то наиболее интересным было время, проведенное на работе.

(Окончание следует.)

## «ЗЕЛЕНОЕ МОРЕ ТАЙГИ» И ЕГО ЛОЦМАНЫ

*Седых В. Таежные будни.* —  
Новосибирск, Литературный фонд  
«Сибирские огни», 2017.

Новая книга Владимира Седых «Таежные будни» вышла из печати в конце 2017 г. В чем-то она является продолжением книги «Таксаторы и бичи. Первооткрыватели сибирской тайги», изданной пятью годами ранее, но, пожалуй, отличается большей открытостью и даже исповедальностью. В своих очерках (или, если угодно, невыдуманных рассказах) автор не просто вспоминает о прожитой жизни, о многочисленных таежных приключениях — он изображает своих героев с большой душевной теплотой, и читатель невольно начинает сопереживать и восхищаться этими сильными и смелыми людьми.

Владимир Николаевич — доктор биологических наук, автор более дюжины монографий в области лесоводства, участник и руководитель научных и производственных экспедиций в Сибири и на Дальнем Востоке России, в США — на Аляске, в районе Великих озер, в горах Аппалачи. А кроме того, он фотограф с более чем полувековым стажем и замечательный рассказчик.

Предисловие к новой книге автор озаглавил «Отчаянно-романтическая эпоха таежных экспедиций» и дал в нем развернутую панораму изучения природных ресурсов восточных регионов

Советского Союза начиная с 1930-х гг. Это было время, «когда в тайгу Сибири и Дальнего Востока ежегодно отправлялись сотни экспедиций». Разведка полезных ископаемых, а также лесоустройство были главной их целью. Тысячи таксаторов, геодезистов, топографов, геологов «приводили в известность», то есть давали исчерпывающее описание и наносили на карту все природные богатства обширных территорий нашей страны от Урала до Тихого океана.

Термин «приведение в известность» стал строго научным после публикации великим русским писателем А. П. Чеховым художественно-публицистической книги «Остров Сахалин». Это выражение позже попало даже в лесоустроительную инструкцию и стало для таксаторов главным содержанием их работы.

В. Н. Седых назвал книгу «Таежные будни». Название емкое. Будни — повседневность, однообразная жизнь, работа без праздников и выходных: полевой сезон. И автор, бывалый, тертый в экспедициях человек, где он отвечал не только за производственные показатели, но и за жизнь подчиненных, не раз подчеркивает: чем монотоннее, ровнее течение экспедиционной жизни — тем, следовательно, правильнее, четче организован трудовой

процесс. Однако в таежной жизни так почти не бывает. Это мир особенный. Там все перемешано, как в русских сказках. И если приглядеться повнимательнее, то и будни там как бы состоят из череды маленьких праздников: прошел особо трудный, неприятный участок маршрута, разжег «нодью» (особой конструкции костер из бревен, сохраняющий тепло всю ночь), как в рассказе «Наедине с тайгой», выпил первую кружку «индийского чая второго сорта иркутского развеса» (одноименный рассказ), прямо в палатке устроил баню («Продолжатели дела Миклухо-Маклая»).

Что же касается тайги — то это явление планетарного масштаба. В России тайга является самой большой природной зоной. А леса Сибири с участием сибирского кедра — вообще уникальная экосистема. И вот об этих лесах автор в своей книге — как бы между прочим — рассказывает нам просто, доходчиво и по-научному точно.

Признаюсь, я не сразу приступил к чтению книги, а долгое время просто листал ее и рассматривал фотографии. Она богато иллюстрирована и вообще прекрасно оформлена. Автор никогда не уходил в тайгу без фотоаппарата, хотя лишний груз для таксатора, совершающего пеший маршрут, конечно же, вещь нежелательная. Так же поступали и многие его друзья (их снимки тоже присутствуют в книге). Эти фотографии, особенно учитывая время и место, где они сделаны, сами по себе — ценный источник информации, а для участника событий — своего рода дневник. Затем, погрузившись в текст, я понял, как мне кажется, творческий метод автора. На память пришел рассказ Александра Грина, в котором герой долгое время вглядывался в картину на стене, а потом шагнул в нее и оказался

в другом мире. Возможно, и Владимиру Седых его фотографии помогали восстанавить в памяти многие события.

Для меня было открытием, как — скупыми штрихами, вроде бы без лирики, но вместе с тем очень волнующе — автор говорит о любви («Медовая ночь на сорах», «Ловец фарта»). А описания природы, охоты, рыбалки, повадок пса самой сибирской (лайка) породы с самым сибирским же именем Угрюм — заставляют вспомнить страницы М. Пришвина, К. Паустовского, Ю. Нагибина.

Сразу впечатываются в память такие герои книги, как легендарная «матушка Женья» из одноименного рассказа или академик А. А. Трофимук (рассказ «Гость — раб хозяина»), — они запоминаются прежде всего масштабом личности, присущим именно первопроходцам, преобразователям края, а также благодаря тому, с какой любовью и уважением эти люди описаны автором.

Особой темой «Таежных будней» является Сибирь, сибиряки, сибирский характер и образ мыслей. Пожалуй, наиболее подробно об этом говорится в рассказе «Коммунизм в дебрях сибирской тайги». Автор, как мне кажется, вполне разделяет позицию его героев, поволжских немцев, сосланных в таежную глухомань, что сибиряк — это во всем особенный, вольный, справедливый человек.

Тайга — это не только уникальная экосистема, как уже говорилось выше. Это и особая «экосистема» человеческих взаимоотношений, это свои неписанные, но непреложные правила взаимодействия человека с лесом, зверем, погодой, огнем, — словом, с вечными стихиями. Полностью понимает этот мир только тот, кто в нем живет и работает. И спасибо автору за то, что он донес до нас частичку этого понимания.

*Валентин Страхов*

Александр КЛУШИН

## ИСКУССТВО ПОРТРЕТА НИКОЛАЯ СМОЛИНА

В 2018 г. Новосибирским государственным художественным музеем была организована выставка «Время и человек. Искусство портрета Николая Смолина», посвященная 130-летию со дня рождения известного сибирского мастера Николая Федоровича Смолина. Выставка, на которой демонстрируются произведения из музейного собрания, знакомит всего лишь с одной из сторон таланта художника, но эти работы во многом являются действительно высокохудожественными произведениями, способными доставить любителям искусства истинное наслаждение.

В 1944 г. в Новосибирске, в клубе имени Сталина (ныне Дом культуры им. Октябрьской революции), состоялась персональная выставка Н. Ф. Смолина. Тогда сотрудники Третьяковской галереи, присутствовавшие на вернисаже, говорили о нем как о «крупном художнике периферии». Сейчас самое время оценить по достоинству то, что произвело впечатление на москвичей и что с годами стало классикой нашего искусства.

Николай Федорович Смолин родился 29 июля (16 июля по старому стилю) 1888 г. в селе Платоновка Пермской губернии. Отец его работал на золотых приисках, мать была из рабочей семьи, занималась домашним хозяйством. Детство художник провел среди прекрасной природы Урала на берегах реки Серебрянки и в приволжских степях близ Самары. Развивавшийся у мальчика талант живописного восприятия окружающего мира отражался поначалу в копировании

репродукций картин русских художников и в первых портретных набросках товарищей по Челябинскому городскому училищу. В 1900 г. семья переехала в Томск.

В Томске будущий художник приобретает профессию слесаря, поступив в ремесленное училище. Но тяга к искусству приводит его в студию художницы Августы Степановны Капустиной-Поповой. Этому шагу способствовал учитель рисования из училища, поощрявший склонность молодого человека. Смолин постепенно входит в художественный мир Томска, посещает выставки. Особенно большое впечатление произвела на него выставка передвижников, приехавшая в Томск из Петербурга. По воспоминаниям Николая Федоровича, там были работы Репина, Сурикова, Маковского и многих других, «известных уже и мне, мальчишке (15 лет было)», художников. Посещение выставки такого высокого уровня укрепило его желание стать живописцем, и в 1906 г. молодой человек поступает в Казанское художественное училище. Он учится у Х. Н. Скорнякова, П. В. Дзюбанова и Н. И. Фешина. В сохранившихся ранних ученических работах особенно заметно влияние Николая Фешина, а в портрете художницы Бортних, написанном в 1916 г. уже в Томске, видно, что мастерство художника все еще питается хорошо усвоенными уроками блестящего и, видимо, любимого учителя.

Правда, в Томске, куда Смолин вернулся, скорее всего, в конце 1911 г., после безрезультатной попытки получить

материальную поддержку Челябинской городской управы для поступления в Академию художеств в Санкт-Петербурге, он пробует и другой стиль, более сдержанный и менее эффектный, как это видно по портрету архитектора Петра Федоровича Федоровского, написанного в 1915 г. С этого же времени он много внимания уделяет жанру автопортрета. Ярким ранним примером этого жанра является «Автопортрет с трубкой» 1916 г., на котором Смолин изобразил себя на фоне картины со сценой сенокоса. В этой работе художник подал себя как состоявшуюся личность, как творца, готового к свершениям.

На всем протяжении своей творческой жизни Смолин писал пейзажи, натюрморты и картины с актуальными сюжетами на историко-бытовые темы, однако до нашего времени из его наследия дошли в первую очередь портреты. Они несут в себе не только информацию о людях, но и являют собой зримый образ ушедшего времени, которое глаза в глаза смотрит на нас и волнует своим загадочным и не осознанным нами до конца значением.

Николай Федорович Смолин вел активную жизнь в Томске. С момента приезда в город и до 1920 г. он был членом Томского общества любителей художеств, в 1925-м организовал томский филиал Ассоциации художников революционной России и стал его председателем, а позже стоял у истоков и был руководителем томского отделения Союза советских художников (с 1933 по 1935-й, год отъезда в Новосибирск). Смолин преподавал в Томской женской прогимназии (до 1920 г.), в трудовой советской школе и на рабфаке (с 1923 по 1935 г.). Он был организатором методических курсов, членом методической коллегии комиссариата образования, членом Томского городского Совета. Одновременно Николай Федорович много и профессионально работал, участвовал в выставках; к явным удачам этого насыщенного периода относятся портреты

его близких: отца, двух талантливых сыновей, Игоря и Валентина, и жены, Софьи Никитичны, которая была не только радушной хозяйкой и хранительницей семейного очага, но и способной певицей, выступавшей иногда на любительской сцене. Эти работы полны света и тепла, они интересны по колориту, художник явно находит удовольствие в том, чтобы вводить в некоторые из них пленэрные приемы. В Томске Смолин пересмотрел свои художественные принципы, став поборником нового пролетарского искусства, что несколько снизило художественную планку его больших актуальных работ, но в портретном творчестве у него были удачи, к которым, несомненно, нужно отнести портрет В. С. Неметца, преподавателя рабфака (1932).

В 1935 г. художник переехал в Новосибирск, где прожил 27 лет и скончался 1 мая 1962 г. Благодаря его дружбе с известным новосибирским художником Абрамом Ароновичем Бертиком сохранились сведения о жизни здесь мастера. В Новосибирске Смолин отходит от активной общественной деятельности, хотя и вступает в 1940 г. в ряды ВКП(б). Эта пассивность связана, видимо, с ухудшением здоровья. Но он участвует в многочисленных выставках — от областных до республиканских. Его интересуют в первую очередь творческие задачи, он пишет много картин на историко-революционные и производственные темы, а также портреты и пейзажи. Его большие полотна нам неизвестны (судя по сохранившейся фотографии 1957 г., где художник запечатлен за работой над картиной «Скорая помощь», они не столь привлекательны, как этого можно было бы ожидать), но некоторые сохранившиеся портреты являются весьма ценными произведениями. В них Смолин умело сочетает склонность к реализму в манере художников АХРР с некоторыми не в полную меру проявленными стилистическими изысками фешинской школы.

Круг общения Смолина в Новосибирске был весьма обширен. По воспо-

минаниям А. А. Бертика, в неблагоустроенном двухэтажном деревянном доме Смолина на улице Кирова бывали «архитектор Крячков, преподаватели Сибстрина Макаров и Беляев». К ним можно добавить писателя Афанасия Коптелова, поэтов Александра Смердова и Елизавету Стюарт, чьи портреты художник нам оставил. Афанасий Коптелов написал теплые строки о Смолине для каталога его выставки 1944 г., отмечая «силу и зрелость» таланта и «психологическую углубленность» созданных им портретов. Во время Великой Отечественной войны Николай Федорович писал портреты эвакуированных артистов и музыкантов из Ленинграда: дирижеров Курта Зандерлинга, Е. А. Мравинского, выдающегося музыковеда И. И. Соллертинского, молодой и талантливой пианистки Р. В. Тамаркиной, актеров Н. К. Симонова, К. В. Скоробогатова, Н. С. Рашевской. Некоторые из этих портретов были созданы как наброски на концертах Ленинградской филармонии. Это еще одна говорящая деталь о Николае Федоровиче, который, видимо, любил музыку (недаром один из его сыновей стал скрипачом и был впоследствии первой скрипкой в оркестре Большого театра). Не все эти портреты дошли до нашего времени, но ими восхищались сотрудники Третьяковской галереи, которые тогда находились в эвакуации в Новосибирске вместе с сокровищницей русского искусства. Именно эти работы на персональной выставке 1944 г. позволили им заявить, по словам А. А. Бертика, что Смолин — «крупный художник периферии, в особенности как портретист». Возможно, это мнение ведущих столичных искусствоведов оказало влияние на решение властей улучшить быт художника и предоставить ему благоустроенную квартиру на улице Большевицской, напротив завода «Труд». Таким образом он и пространственно приблизился к своим героям — рабочим завода «Труд», которых он писал уже в 1938 г., — и продолжал ту пролетар-

скую тему, которой служил верой и правдой с момента Октябрьской революции.

В поздних портретах, проникнутых духом документализма, вниманием к деталям эпохи, в которой, казалось бы, нет места поэзии и романтике, все-таки звучат отголоски высокого искусства с его пафосом и видны утонченная в своей сдержанности палитра и артистическое движение кисти. Особенно это заметно в автопортрете 1958 г., где Смолин запечатлел себя сильным и волевым человеком, настоящим сибиряком.

При взгляде на портрет шофера А. С. Никулина, датированный октябрём 1961 г., то есть написанный за полгода до смерти автора, вполне советский по композиции и внешнему решению модели, вдруг возникает дежавю: что-то аристократическое и значительное чудится в образе простого человека, начиная от позы портретируемого и кончая нездешней элегантностью его внешности. Как будто художник пытался припасть к истокам прекрасной эпохи Серебряного века, которая его все время незримо питала, пытался вспомнить былые уроки мастерства и обрести наконец ту свободу, которой он не давал полностью реализоваться. Такое бывает в конце жизни любого человека, когда тянет к воспоминаниям молодости и появляется иллюзия, что можно что-то исправить в своей жизни. Это всегда бывает трогательно и грустно.

Часто художник находился в дружеских отношениях со своими моделями и дарил им свои произведения, как это случилось с Николаем Андреевичем Безродным, рабочим завода «Труд», в чьей семье долго хранился его портрет, исполненный Смолиным в 1956—1957 гг. В 2011 г. А. О. Куприсова, внучка Н. А. Безродного, подарила портрет своего деда Новосибирскому художественному музею. На его обороте рядом с фамилией изображенного и собственной подписью Николай Федорович Смолин трогательно добавил фразу: «Коля — золотые руки». Кажется, эти слова о золотых руках можно отнести в целом и к самому художнику.

## АВТОРЫ НОМЕРА

**Вегнер Александр Александрович** родился в 1956 г. в Новосибирской области. Окончил заочное отделение экономического факультета Новосибирского сельскохозяйственного института. Работал в опытно-производственном хозяйстве «Кочковское». Пишет рассказы и повести. Публиковался в газете «Sibirische Zeitung plus». В 2014 г. при содействии Международного Союза немецкой культуры и Новосибирской областной организации российских немцев выпустил книгу «Картины минувшего века».

**Глазов Анатолий** родился в 1953 г. в Устюжне. Служил на Черноморском флоте, работал забойщиком на шахтах Донбасса. Заочно окончил юридический факультет Ростовского государственного университета и Енакиевский политехнический техникум. Живет в Череповце.

**Гортман Кристина** родилась в 1986 г. в Ленинске-Кузнецком. Окончила факультет журналистики Новосибирского государственного университета, училась на режиссерском факультете ВГИКа. Работала сценаристом телевизионных сериалов, сценаристом и редактором документальных фильмов, ведущей эфира и редактором на сибирских радиостанциях. Драматургией занимается с 2016 г. Живет в г. Ленинске-Кузнецком.

**Иваськова Ирина Викторовна** родилась в 1981 г. в Красноярске. Окончила Красноярский государственный университет. Десять лет работала юристом. Публиковалась в журналах «Наш современник», «Север», «День и ночь» и др. Автор книги прозы. Член Союза писателей России. Живет в Анапе.

**Лаванов Евгений Сергеевич** родился в 1984 г. в Москве. Окончил Литературный институт им. Горького. Работал крэйтором, редактором, журналистом. Публиковался в журнале «Литературная учеба». Живет в Москве.

**Клушин Александр Дмитриевич** родился в 1950 г. в Новосибирске. Окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Искусствовед, главный научный сотрудник Новосибирского государственного художественного музея. Член Союза художников России. Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Новосибирске.

**Коврижных Виктор Анатольевич** родился в 1952 г. в с. Старобачаты Кемеровской области. Работает начальником караула в пожарно-спасательной части. Стихи и проза публиковались в ряде периодических изданий, в коллективных сборниках и альманахах. Автор семи книг. Лауреат нескольких литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в селе Старобачаты Кемеровской области.

**Переверзин Иван Иванович** родился в 1953 г. в пос. Жатай Якутской АССР. Окончил Хабаровский лесотехнический техникум, Российскую экономическую академию им. Плеханова, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького. Публиковался в журналах «Наш современник», «Москва», «Смена», «Юность» и др. Автор многих сборников прозы и поэзии. Книги изданы более чем в 20 странах. Возглавляет Международное сообщество писательских союзов. Живет в Москве.

**Стародубцева Мария Александровна** родилась в 1997 г. в Барнауле. Студентка юридического факультета Алтайского государственного университета. Публиковалась в журнале «Союз писателей» (Новокузнецк). Живет в с. Кытманово Алтайского края.

**Страхов Валентин Викторович** родился в 1948 г. Окончил Московский лесотехнический институт. Доктор сельскохозяйственных наук, автор 450 научных работ, в том числе 19 монографий. Живет в Москве.

**Фофин Юрий Николаевич** родился в 1981 г. в Челябинске. Окончил Челябинский государственный педагогический университет (факультет психологии) и Челябинский государственный университет (филологический факультет). Работал преподавателем литературы. Публиковался в журнале «Наш современник». Живет в Челябинске.

**Чемякин Евгений Юрьевич** родился в 1986 г. в Свердловске. Выпускник исторического факультета Уральского федерального университета, кандидат исторических наук. Музыкант. Стихи публиковались в различных литературных журналах, альманахах, сборниках. Автор двух поэтических книг. Живет в Екатеринбурге.

# СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

### ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [sibirskieogni.pf](http://sibirskieogni.pf)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 23.08.2018. Дата выхода № 10 за 2018 г. в свет 01.10.2018.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.